

В. Черняев

**МОЯ ИСПОВЕДЬ,
ИЛИ ПРОБА ПОЭЗИИ ПРОЗОЙ**



**Москва
ФОРУМ
2010**

УДК 669.018.29.004.14
ББК 30.10
Ч49

*...Там душа будет проклинать своё бессмертие
и умолять Всевышнего о смерти...*

Ч49 **Черняев В.**
Моя исповедь, или проба поэзии прозой / В. Черняев. — М. : ФОРУМ,
2010. — 264 с.

ISBN 978-5-91134-453-5

АННОТАЦИЯ ???????
?????.

УДК 669.018.29.004.14
ББК 30.10

ISBN 978-5-91134-453-5

© Черняев В., 2010
© Издательство «ФОРУМ», 2010

Я ещё сплю, но первые ручейки сознания уже касаются меня. В памяти возникает раннее детство...

— А попы красные или белые? — задаю я философский вопрос дедушке.

Идёт служба в ещё не разграбленной, действующей церкви. Мой голос, прозвучавший среди молящихся, коснулся иконы Христа-Спасителя и повис под сводами храма. Рядом стоящая старушка, посмотрев на нас с дедом, очень тихо, почти шёпотом заговорила:

— Зачем же детей от Бога отлучать. Какая разница, что белые, что красные. Только первые крестятся, а вторые перекрестились бы, но боятся. Дошло до того, что стали ряжеными пасху справлять.

— Подождите, ещё не то будет... Позавидуем мёртвым, когда нас будут бросать в могилы ещё живыми, — добавил мужик в овчинном нагольном тулупе и перекрестился.

Дедушка, бормоча что-то невнятное, подхватил меня на руки и выбежал на улицу. Мороз, не взирая на солнце, обдувал леденящим ветром. У лошади, привязанной к столбу церковной ограды, на ресницах белел иней. Из ноздрей вырывались, окутывая морду, струи замёрзшего пара.

— Пока совсем не окоченели, надо бежать, — сказал дед и поставил меня на ноги.

— Дедушка, а попы бывают другого цвета?

— Бывают, внучек, бывают. Только мы православные...

— Значит, мы самые главные?

— Да нет, просто никакой цвет к нам не пристаёт. Вырастешь, во всем сам разберёшься.

— Ну! Давай наперегонки до самого дома!

И мы побежали. Я, как всегда, прибежал первым. Дед поздравил меня с победой:

— Где уж нам с чемпионами состязаться. Старость не радость.

И мы вошли в дом, который, как всегда, встретил нас теплом и запахом сваренного борща...

Все чаще и чаще вспоминается далёкое детство. Первая школьная весна, покрытый подтаявшим льдом городской пруд... Чтобы сократить путь, я бегал по этому льду в первый класс... Домой приходили мои одно-

классницы, чтобы сверить домашние задания. Бабушка, улыбаясь, говорила:

— Вадик, не будь медведем, помоги девочкам снять пальто.

Моя добрая бабушка! Дошкольное уютное детство! Со всеми синяками и конфетными радостями. Моя бабушка знала наизусть чуть ли не всего Пушкина. Читала мне перед сном «Демона» и рассказывала о Лермонтове и его трагической судьбе, о дуэлях, о подлости, о благородстве людей. Как невежды тупеют от своей бездарности. Как признают только серый крысиный цвет. И как беспощадно убивают самых лучших и самых талантливых...

Милое детство. Я вижу маму, она несёт меня завернутым в два одеяла в больницу. С каким упорством она воюет за меня и не даёт оставить в этом кирпичном полузамёрзшем здании. Добилась, чтобы врач приходил почти каждый день домой. И я выздоровел. Болея, я вспоминал о многом, но больше всего, как бежал по вязкой и мокрой земле. Гремел гром, и молнии вонзались в поле. Гроза только начиналась. Пробегая мимо церкви, я увидел на куполе вместо креста человека. Мне стало не по себе. Молнии разрезали небо на куски... Я смотрел на церковь и ясно видел, как человек машет рукой. Глаз не было видно, но взгляд его проникал в меня... Огромные градины падали и разбивались о булыжники дороги, которая вела прямо к нашему дому. Едва я успел перескочить порог, как разразился ливень — ветер валил старые безнадежно больные деревья. Всё потемнело и стало чёрным, наверное, от этого заметались по небу молнии и стали искать что-то в темноте. Мне стало страшно.

— Мама! — крикнул я — Мамочка!

Она выбежала из соседней комнаты, прижала меня к себе:

— Сынок, успел, ну какой же ты молодец! Я же тебе говорила, что будет гроза.

— Мама, ты не представляешь, что я сейчас видел на куполе вместо креста.

— Ну и что же ты видел, сынок?

— Человека со слезами на глазах... Гремел гром, сверкали молнии, мама, но его глаза сверкали в тысячу раз ярче.

— Сынок, тебе показалось. Крест, издали, действительно похож на человека с распостёртыми руками.

— Нет, мама, слёзы стекали по его щекам, он был живым. И потом, я сам видел, перед Первым Мая военные сбросили крест на землю. Погрузили в полуторку и увезли, а сама церковь с тех пор забита досками крест накрест. И знаешь, мама, когда я уже подбегал к дому, я снова посмотрел на церковь и опять увидел его глаза рядом с моими... Сквозь слезы они улыбались мне. Как ты думаешь, кто он?

— Мне даже страшно подумать, сынок...

— Мам, я как вспомню, сразу почему-то на душе светлее, — и, повернувшись на бок, я заснул. Дышалось легко и свободно...

...Неужели я проснулся? На письменном столе стояла загрузившая пишущая машинка, и моя настольная лампа с абажуром из старого зелёного стекла уныло смотрела на меня. Заскучили мои самые преданные друзья. Посмотрев в окно, я увидел рыжее зарево и восходящее из-за горизонта солнце. Оно в последнее время просыпается раньше меня. Ещё совсем недавно я встречал его, просидев всю ночь за машинкой у горящей зелёной лампы. А сейчас с самого утра, после завтрака глаза слипаются, и я чувствую, как меня одолевает сон... Сердце сжимается, и я отчётливо слышу, как оно бьётся. Удар, ещё удар. Зачем так громко стучать? Загуляло сердечко, забуянило. Сквозь глухие удары слышится щемящий скрежет: как будто кто-то обтёсывает камни металлическим скребком. Что это? Не могу понять.

— Не что, а кто, — раздаётся гнусавый голос. — Это мы, твои ангелы-хранители.

И тут же появляется незнакомец в сером лоснящемся костюме. На лацкане его пиджака, непонятно зачем, красуется обрывок верёвки с замысловатым узлом посередине.

Незнакомец начинает вещать поставленным на котурны* голосом, переигрывая и фальшивя. Сразу видно, что он привык поучать и командовать, но старается казаться искренним и очень близким человеком — своим среди чужих.

— Послушай, — обратился он ко мне. — Ты думаешь, что проснулся от стука своего сердца? Совсем нет. Это землекопы копают могилы для живых. Про запас. За этим забором очень уютное кладбище.

И, повернув голову, он заорал:

— Конопатый, не заставляй называть тебя дебилом или клоуном с крашеными мозгами! Где ты там, новатор, железобетонный наконечник мирового авангарда?

Из-за забора раздался хрипящий голос:

— Не орите, дайте докопать могилу. И ещё рядышком нужно выкопать две. Обещали хороший куш.

— Вот ненасытное чрево. Копай! Только не сломай лопату.

Незнакомец затряс головой, его волосы, чёрные как вороново крыло, зашевелились. «Да это же черви — извиваются, пищат и смотрят на меня змеиным взглядом!.. Мерещится, — решил я. — Это ветер разгулялся в его волосах».

— Конопатый! — снова заорал незнакомец. — Докопаешь третью могилку и немедленно ко мне.

— Угу, — буркнул рыжий.

— Новатор, я тебя предупреждал, лазить в чужой огород глупо, даже если не можешь жить без капусты. То ли дело — грабануть швейцарский банк или переспать с королевой... Лучше, конечно, с принцессой — но это как повезёт во время потешной рыбалки. От жизни надо брать всё, — он многозначительно посмотрел на меня.

— Беспредельная свобода одна, но к каждому она относится по-разному. С норовом девица, с характером. Кого любит — сама в постель ложится... Но иногда насильствовать ее приходится даже элите, не только рабам. Те, как что, так на баррикады... Бараны они и есть бараны: пока их не подстригут — блеют и возмущаются, а как подстригут — сразу тишина. «Jedem das Seine»*, — так изощрённо перефразировал слова из Библии на воротах Бухенвальда наш подопытный экземпляр. Между прочим, из лучших образцов всемирной элиты — Адольф Гитлер. У него сорвалось, бывает... Ключёт и срывается. Если хочешь знать по секрету, сейчас несколько экземпляров созревают на самой элитной грядке с применением самых лучших психологических удобрений. Как только созреют и пройдут испытание на чёрный юмор и способность сеять неотвратимое возмездие, никого не задерживая, наша фирма выпустит их в свет. А народ, разумеется, выберет лучшего из лучших. Мы учитываем отрицательный опыт. Европа стояла на коленях — все это знают, но не всегда правильно оценивают события военного времени. Например, по повелению Великой Германии, всем жидам было приказано носить на самом видном месте звезду Давида, чтобы не допускать просчетов при ускорении процессов селекции. Кто виноват, что баранов стадами и по одному подводят к пылающим печам?.. Все молчат! Ну иногда какому-нибудь королю приходит в голову блажь. Восседа на бархатных подушках, он вдруг начинает понимать, что король должен быть благородным... Ну скажи, не смешно? Король Дании в знак протеста первым нацепил еврейскую звезду. Философский вопрос: нацепил бы Его Величество звезду, если бы стоял перед пылающей пастью крематория? К сожалению, у нас есть пример и без великосветской показухи. Януш Корчак. Вот это человек! Его воспитанников вместе с ним подвели к дверям газовой камеры. Корчак, скрывая страх, как молитву твердил: «Я с вами, не бойтесь, я с вами». Зная, о его неоспоримых заслугах в детской педагогике нацисты предложили отойти в сторону и остаться живым. Но Корчак, не задумываясь, погиб вместе с детьми... Это тебе не фокусы датского короля, безусловно благородные, но не такие опасные. Но таких, как Януш Корчак, к нашей радости, почти нет... Надеюсь, ты согласен?

— Да. Но не могу понять, вы-то за кого?

— За всех! Я тасовать могу колоду жизни и с картой доставать успех или провал. Моя задача — всё уравновесить. Зло и добро! Войну и мир... Совсем ошалел, — он посмотрел в зеркало и, не найдя там своего отражения, продолжил, — на высокий стиль потянуло, стихами заговорил, хоть я не Бог, и не Шекспир. Но я всё же лауреат Воландовской премии за поддержку и пропаганду великой поэзии... Ты видел, как дымят крематории, когда они набиты людьми до отказа?

— Только в кино, — ответил я и опустил голову.

— Это тебе не кладбищенские печки, москвичонок. Они работают по мелочам, — и он захихикал. — Кладбищенские печки сжигают бранные

останки по просьбе усопшего или его родственников. А тут ни у кого не спрашивая — миллионы! Представляешь, какой масштаб? Красотища! Жить без потехи нельзя. Без потехи мозги засохнут. Представляешь? Огонь мгновенно превращает всё гениальное и бездарное в чёрную сажу и в серый пепел крысиного цвета.

И тут меня осенило... «Да это же Чёрный человек!» И я, подавляя страх, стал рассматривать этого предвестника смерти.

— Ну что ты уставился на меня с таким любопытством? Закрой рот, ты ведёшь себя неприлично.

Он сделал несколько шагов в мою сторону, продемонстрировал пасть, полную зубов, похожих на рыболовные крючки, и стал смотреть на меня, как крокодил на кролика... «А это уже не мерещится», — подумал я и стал терять сознание. Сердце сжалось от страха и почему-то было готово выпрыгнуть из меня прямо в его пасть.

— Ну что ты испугался? — загнусавил он. — Не бойся, москвичонок, твой черёд ещё не настал. Ты наверняка слышал о могущественном Мамоне? Я его проклинаю и тут же поощряю. Из уважения — он соперничает с самим Всевышним... Ну, успокойся, подумай и скажи, что он олицетворяет?

Я тут же, не задумываясь, ответил:

— Жажду богатства, стяжательство, чревоугодие.

— Правильно! Мамона — это ненасытная утроба и отсутствие хоть какой-то духовности, — сказал он и улыбнулся. Вместо крючков белели человеческие зубы. Он явно меня экзаменовал, щурия свои зелёные глаза от удовольствия.

— А что есть Гадес?

— Наверное, что-то гадкое.

— Не торопись, подумай. Там душа будет проклинать свое бессмертие и умолять Всевышнего о смерти.

— Ад!

— Правильно, там температура выше, чем в земном ядре. А вот кто такой Воланд? — и он сделал паузу, предвкушая мою ошибку. — Не знаешь! На этом и держится мир. Все познать невозможно.

— Почему не знаю? Знаю. Это сатана. А Воланд это псевдоним. Его придумал писатель Булгаков. Я знаю, что окончание своего великого романа он написал в Загорянке.

— И это знаешь, — незнакомец криво улыбнулся. — А вот где сам Булгаков встретился с Воландом, ты не знаешь...

— На Патриарших прудах.

— Какой догадливый. Так и быть, расскажу тебе, как всё это было.

Воланд очень любил гулять со своим рыжим котом. Звали его Капитон. Его родословная тянулась от элитной кошачьей породы Древнего Египта, зачатой великим котом Каллистратом, и Воланд, конечно, помнил и знал, с каким божественным трепетом египтяне относились к ко-

шачьему роду, и как фараоны мечтали уступить пирамиды своим усопшим любимцам. Но всё проходит и не всегда возвращается. От тюрьмы и от сумы не зарекаются, тем более, от пороков и болезней. К сожалению, Капитон не знал о своих привилегированных корнях и пристрастился к выпивке, особенно на халяву. Воланд сочувственно и ласково шутил, называя его бурдюком. Кот обожал хозяина. Ещё совсем недавно он жил в подвалах пивзавода и был грозой зажавшихся крыс. Обилие пива и его отходов сделали свое подлое дело. Кот пристрастился к пиву и, постепенно спиваясь, совсем перестал реагировать на крысятину. После чего последовали репрессии: пивного алкоголика выгнали, и он стал бомжевать, поселившись в бочке, валявшейся на берегу зелёной смердящей лужи. Туда, чуть ли не каждый день, под покровом ночи сбрасывали пивные отходы. Голодный Капитон с разбухшей печенью с огромным трудом выползал из бочки, чтобы сделать хотя бы один глоток. Там его и подобрал Воланд, вылечил от хронического запоя, разрешил бегать по дворам, вести вольный образ жизни и предоставил ему у себя постоянное место жительства.

В этот раз он прогуливался со своим рыжим питомцем и, как нарочно, в это же время, на встречу шла бесчисленное количество раз перекрашенная фифочка, которая вела на поводке франтоватого доберман-пинчера. Не знаю, что взбарабашило кота. Он раздулся и зашипел, явно желая расцарапать доберману морду, но доберман снисходительно смотрел на рыжего агрессора. Фифочка двумя руками вцепилась в ошейник и, хлопая приклеенными ресницами, залепетала: «Он не кусается. Он очень умный. Отобранный из особо породистой элиты. Не бойтесь! Это разумное и цивилизованное существо».

Тут доберману, видимо, пришла в голову какая-то свежая мысль, но кот орал, не давая ему сосредоточиться. Ну доберман и показал ему свои отточенные зубы и предупреждающе рывкнул. Капитон испугался, вырвался и побежал, и это было совершенно непонятно. После лечения он считался самым храбрым и отличался своей наглостью среди полудиких дворовых котов. А тут такой пассаж! Сколько раз Воланд ездил с ним в зоопарк, чтобы воспитать и натаскать для потехи! Рыжая bestia ухитрилась залезать в клетку то к тигру, то ко льву, и пока они зевали, отгоняя хвостом слепней и мух, свирепо щёлкая клыками, стараясь испугать и прогнать зловредных насекомых, кот воровал у них мясо из-под самого носа. А тут вдруг, совершенно ошалев, мяукая на всю улицу, перескочил проезжую часть и столкнулся с идущим Булгаковым. Он хотел взять кота на руки, но тот взвыл и вцепился в ладони когтями.

Фифочка, стоя на месте, произнесла: «Они не сошлись характерами!» — и, эффектно развернувшись, виляя ягодицами, пошла в обратную сторону. Воланд, подойдя к Булгакову, извинился и предложил пройти до киоска «Пиво-Воды». Пока втроём они катались на лодке, кот всё лез на исцарапанные руки Булгакова, пытаясь залезать свою вину. За это Во-

ланд его уважал. Кот не пропил совесть и остался верен своему кошачьему достоинству — всегда признать ошибки и попросить прощения. Его Сверхвеличество Воланд из любого кота мог сделать нечистую силу, но этот оказался неукротим. Он не соглашался ни на какие подачки. А пугать его было бесполезно. Недаром все кошечки в округе были влюблены в хабреца. А ты говоришь, придумал? Просто он приглянулся Воланду, и тот решил подсказать ему сюжет романа. Я был у Булгакова незадолго до его смерти... Редкий экземпляр, но гений, — он рассмеялся своим въедливым смехом. — А к Воланду я могу заходить в любое время суток. Его Сверхвеличество очень уважает меня и иногда даже советуется со мной. В мои обязанности входит посещение всех гениев перед смертью. Догадываешься, кто я?

— Вы Чёрный человек!

— Молодец! Умница! За это я разрешаю называть меня сердечно и просто — Черчел. Только смотри, не злоупотребляй моим именем. И не путай! Не Черчилль, а очень легко и возвышенно Чер-чел. А Уинстон Черчилль был настоящим джентльменом и лордом, он постоянно держал во рту сигару и виртуозно играл в гольф, причём в политике был совершенно непревзойдённым игроком. Это надо уметь сделать единственно правильный ход и вовремя вступить в коалицию победителей!.. Ты усвоил моё имя? — и он просверлил меня своим зеленоватым взором. И вдруг я отчётливо почувствовал острый леденящий холодок, который, извиваясь как червь, пролез через мое сердце.

— Ну что ты там застрял, конопатый? Сколько можно копать? Все равно каждому по могиле не выроешь. Кому-то придётся и без могилки в землю лечь. Ну что ты молчишь? — заорал Черчел.

— Иду, иду, не вопите!

И через забор перелез мужик в серой рубахе. На плече висела верёвка со следами мокрой глины.

— Еле из могилы вылез, не земля, а сплошная грязь. Да и вы орёте под руку. От ваших криков лопата зацепилась за камень и сломалась. Пришлось сбегать и взять новую.

— Все берёшь на прокат? Экономист. Давно пора иметь свою персональную из титана, раззява, — рывкнул Черчел.

— Разорались, а я всего один, — и мужик показал палец. — А вы орёте, как будто перед вами целая дивизия новобранцев. Привыкли командовать.

«А это ещё кто?» — подумал я. Его волосы багряно-рыжего цвета и борода шевелились. «Опять мерещится», — решил я, но отчетливо видел, как отдельные черви срывались с его подбородка, с визгом падали и ползли, извиваясь, как кобры, прямо на меня.

Меня ударило в дрожь. Черви, испуская омерзительный запах, на ходу извергали из своих ртов какое-то кровавое месиво, перемешанное с глиной... Кричать я не мог, язык от страха онемел. Голова кружилась...

Отвратительная масса душила и, извиваясь, проникала в меня. И все равно я слышал, как надо мной, дойдя до истерики, орал Черчел:

— Бей его, бей! Да не лопатой, а то ещё убьёшь, это в наши планы не входит. Попробуй кнутом. Прока от него, наверное, не будет, а вот враг народа может и получиться, если ты постарайшься. Ну что ты делаешь?! Махать кнутом рыжий бездарь, это тебе не стишки конопатить. Да не по рукам бей, а по голове... Ну бездарь и есть бездарь!

Я закрыл глаза и обречённо подумал: «Вот она какая, чёрная смерть... И почему все думают, что она в белом саване?»

— Открывай глаза! — истошно завопил рыжий. — Что, легкой смерти захотел? Не выйдет.

И последовал тошнотворный мат.

— Рыжий неуч, ты что, человеческих слов не знаешь? — гаркнул Черчел. — Книжек в детстве не читал, а хочешь стать поэтическим новатором? Неужда! При крепостном праве только бы с лошадьми общался... Хотя что с тебя взять? Ломовой извозчик всегда похож на свою лошадь. Гете и Пушкин из тебя не получатся. Умрешь, конопатый, да так и не узнаешь предназначение настоящей поэзии. Ты, наверное, если бы Бог дал тебе настоящий дар, и в стихах бы матом ругался.

— А что? Вдохновение не спрашивает, желаю я или нет... И потом, что я один? И вы, Черчел, знаете об этом лучше меня.

— Ничего! Сережка Есенин такого мата в детстве наслушался, но в поэзии его не употреблял. Пушкин шутил, но ему можно ради баловства. Он же ещё написал: «Я помню чудное мгновенье...».

Я лежал, съёжившись, и слушал диалог в чём-то одинаковых и абсолютно разных людей, но так похожих на тех, кого я знал или просто встречал на перепутье своих, только мне принадлежащих, дорог.

После небольшой паузы, снова заговорил рыжий:

— А я и не деревенский, и не городской... Я, так сказать, общего разлива. Со мной можно где угодно встретиться. Я не прячусь, какой есть... Душа у меня распоясанная. Хочешь самогона — налью по самое горло. И коньячок могу на брудершафт выпить... И с гением чистой красоты в ванне с шампанским искупаться. Я такой! Я не только лошадям хвосты крутить умею, но и погарцевать перед милшакми и кралями. Ночью начинаю засыпать и чувствую, как во мне бурлит породистая кровь! Жаль, прабабка умерла. Она мне намекала. Всё говорила, что от породы зависит прогресс. Власть советскую сперва приняла, а когда во всё разобралась, уже перед самой смертью сказала: «Без породы наступает неминуемый крах». Пусть земля ей будет пухом. Я и червячков наших уговорил, чтобы ее не трогали.

— Порода говоришь? Решился свиным рылом пирожные кушать, а рыло-то в грязи, — засмеялся Черчел. — Сейчас почти у каждого мозги с навозом перемешались. Все норвят из навозной грязи вмиг превратиться во властного князя. Подписать в нескольких местах бумажонки с анти-

народным законом и сразу же стать миллиардером! Эх, нет на них палки Петра Великого, да с набалдашником.

— Ну, знаете ли, мы всё это проходили, — забубнил Рыжий, — знаем, что такое раскулачивание.

— Э-э-э-э, нет, — возразил Черчел. — Там всё было заработано своим горбом, смекалкой и трудолюбием. И после отмены крепостного права самые трудолюбивые пошли валить лес, искать и добывать полезные ископаемые. В общем, накопили капитал своим трудом, и только их потомки стали владельцами заводов, шахт и различных приисков. Поэтому они и были патриотами страны. Знали, почём фунт лиха! А здесь трудились и создавали — миллионы, а единицы, державшие вожжи и кнут, все захапали и даже глазом не моргнули.

— Но я же тоже люблю кнутом поиграть.

— И я люблю. Мы с тобой, Рыжуля, так развлекаемся. И мы не мироеды, и живем мы с тобой честно, и пока ещё никого не ограбили. Так что «тогда» и «сейчас» это совершенно несовместимые вещи. Вот поэтому магнатам и современным нуворишам никто и не завидует, их просто ненавидят. Несправедливость не только сердце клюет, но и глаза. Только совесть пока ещё в России и осталась. Ой, как трудно ее выкорчёвывать! Во многих странах этот процесс почти завершён. Жалко, конечно, что многострадальную совесть приходится, иногда, выжигать каленым железом. Но указы Его Сверхвеличества обсуждать нельзя. Мы имеем право только исполнять.

— То есть, идти всегда в авангарде, — подхватил Рыжий.

— Ну, хватит философии, авангардист! Ты будешь его добывать или нет?

И тогда Рыжий рявкнул прямо мне в ухо:

— Если не откроешь глаза, убью! Паскуда! Ну-у!

Я не выдержал и открыл...

Кругом падал снег... Неужели зима, ведь только что было лето? И вдруг я всем телом ощутил, как на меня посыпались удары, но боли не чувствовал... Из последних сил я цеплялся за подаренные мне санки, пытаюсь отвязать верёвку, привязанную к огромным крестьянским саням... Рыжий мужик с кулачищами и мутными глазами бил кнутом по моим рукам. Я пытаюсь кричать, но слова вязнут в перемешанных со снегом следах. Напасть какая-то! Ничего не могу понять. Дяденька же сам предложил покататься и помог привязаться к саням, в которых было немного соломы и валялись пустые мешки, ещё стояли две клетки, в одной сидели три гуся, а вторая была пуста... Она была большая и почему-то из колючей проволоки, такой я никогда не видел... Он показался мне добрым волшебником. Его лошадь косила на меня добрый взгляд и, шевеля губами, по-видимому, улыбалась. И снег сверкал, как далёкие звёзды. Я сидел на

санках и замирал от восторга. Мне казалось, что весь мир смотрит на меня. Промелькнула окраина. Старый с огромными деревьями лес совсем рядом. И вдруг резкий удар обрушился на мою голову. Добрый волшебник с перекошенным ртом угрожающе орал. Изо рта вперемешку с плевками вылетали бранные слова:

— А ну прыгай с санок, гадёныш, и домой! А не то будешь жить в этой колючей клетке. Она не очень большая, но тебе в ней будет просторно, если я не поселю туда ещё поросёнка и пару гусей. Слазь пока не поздно, вражий выкормыш.

А я всё пытаюсь развязать узел, но напрасно.

— Ах, ты, шмакодявка, ещё в школу не ходил, а жить не хочешь! — и он выхватил из-под соломы огромную суковатую палку, но видит Бог, не хотел греха: судорожно перекрестившись, взмахнул над моей головой своим пещерным орудием.

Я с перепугу спрыгнул в снежный кювет. Рыжее подобие человека с моими санками увозила лошадь. Она, наверное, до самых последних дней так и не узнала, каким низким и подлым был её хозяин. Но я усвоил на всю жизнь, хотя лет мне было чуть больше пяти, что самый добрый может на самом деле оказаться оборотнем.

Прихожу весь в слезах и в снегу домой. Мама, как всегда догадалась:

— Где санки?

Я молчу и тру кулаком глаза.

— Отняли или украли?

Я молчу, глотая слезы... Обидно, но ничего не поделаешь.

— Может, скажешь, кто и где?

И я, ничего не скрывая, рассказываю.

— И это все? В следующий раз будешь умнее. Слава Богу, с собой не увез. Я бы с ума сошла.

— Мам, а санки мне новые не нужны. Сам виноват.

— Будут деньги, сынок, на следующий год купим. Ну, не плачь. А лучше всё это намотай на ус. Когда вырастешь, будут тебе об этом усы напоминать. Все в жизни для пользы. И даже негодяи, если их подготавливать, делают нас лучше.

Цепко держат моя память очень впечатляющий плакат: ёжик, а вместо иголок торчат штыки. И надпись: «Есть у товарища Сталина стальные наркомы, для шпионов и врагов — ежовы рукавицы». Скажу прямо, нарисован он был талантливо, и мне нравился. В то время отец мой работал землеустроителем, он ходил по деревням с теодолитом и вымерял земли. И, конечно, был членом ВКП(б) и одновременно идеалистом. С работы приходил хмурый и очень сердитым: «Ну что творят с этими колхозами на местах! Просто издеваются. Ни в какие партийные рамки не лезет. Нет, надо писать, я этого так не оставлю. Ну и написал письмо: «Москва. Кремль. Товарищу Сталину». Подробно описал все безобразия и тот беспредел, который творило местное начальство. И подписался:

член ВКП(б)... дата, адрес. Не прошло и десяти дней, как его арестовал НКВД. Мы ездили, узнавали, свидания так и не разрешили. Что с ним, мы не знали. Жили в полной неизвестности. И вдруг в газете ЦК ВКП(б) появляется статья товарища Сталина «Головокружение от успехов». Некоторые фрагменты по мысли, напрямую совпадали с письмом отца. Через некоторое время отца выпустили, не знаю, было ли это совпадением, или Бог так распорядился. Выпустить выпустили, а колпачок над его головой оставили. Теперь-то я в этом уверен... Потом его снова арестовали. Но это было гораздо позже...

В детстве все кажется радужным и исполнимым. Только ни на какой радуге в него не вернёшься...

Уже с утра солнце пекло, как в полдень. Черви вяло, но настойчиво лезли в землю. Голубые стрекозы парили над ещё спящей рекой, останавливаясь на мгновение, чтобы полюбоваться солнцем. Было воскресенье. Мама с самого утра уехала, чтобы купить билеты в цирк. Я ждал ее, и мне казалось, что время остановилось. Она появилась, когда моё терпение иссякло, и я готов был заплакать.

— Сынок, что с тобой, а ну-ка улыбнись! В следующее воскресенье на арене цирка мы увидим твоего любимца Карандаша.

— Ура! — закричал я и бросился в её объятия. — Мама, а кроме клоуна, кто ещё будет?

— Каждый последующий номер сюрприз. Придём, займём места на первом ряду и будем смотреть номер за номером. И будет столько неожиданного! А сейчас — вот тебе деньги без сдачи, беги в магазин и купи хлеба, я опять забыла, надеюсь ты меня простишь.

И я помчался со скоростью мальчишеских лет. В магазине необычно толпился народ, и стояла длинная очередь, а с витрин почему-то доставали картонные бочонки с леденцами, подушечками и моим любимым печеньем. Почему? Все знали, что с витрины ничего не продаётся. Люди волновались, норовя взять как можно больше. Тётя Соня, округлая и добрая, словно сошедшая с полотна Рубенса, убеждала покупателей, что если не будут брать больше полутора килограммов, хватит на всех.

— И, пожалуйста, не волнуйтесь, ещё кое-что лежит в подсобке.

Люди в очереди вели себя подчёркнуто вежливо. А раньше, бывало, чуть до драки не доходило. Все были строгими и немногословными. И вдруг среди отдельных фраз я услышал очень знакомое слово «война». Последнее время о ней только и были разговоры. Война! Что теперь будет? Мессершмидты. Гитлер... Пакт о мире и дружбе... Опять провокация...

В этот момент двери раскрылись, и в магазин вошел опрятно одетый мужчина. Его седая длинная борода при каждом движении то открывала, то закрывала орден красного знамени. «Боевой», — сразу определил я. За ним следом вошли два совсем молодых парня. У них на майках с красной полосой блестели эмалью значки «Ворошиловский стрелок».

В очереди зашептали: «Макар Акимыч с Чапаевым был знаком. В его дивизии воевал».

— Макар Акимыч, прикинь прогноз, когда наша конница будет в Берлине?

Наступила тишина.

— Лошади у нас боевые, обьезженные. На учениях такие барьеры берут! Закачаешься! В общем так, — сказал он громко и внятно на весь магазин. — Думаю, недельки через две возьмем Берлин.

— Макар Акимыч, получается, что царя в девятьсот восемнадцатом с его семейкой ликвидировали во благо России и вовремя? — спросил один из парней.

— Правильно понимаешь политический вопрос, комсомолец! С кем бы они были сейчас? Пovýлезали бы, как аспиды, из щелей и кусали бы в открытую! Но карающий штык революции наколот этих венценосных пауков на гранёное остриё. Партия всегда всё делала правильно и вовремя!

— Молодёжь у нас стала грамотной, поэтому и разбирается в любых вопросах, — нарочито громко, чтобы слышали все, сказала учительница из соседней школы.

Мужчина в очках с выпуклыми линзами, повернувшись к девушке в кредешиновой кофточке, тихо сказал:

— Но я же помню все эти разговоры в Свердловске, и сам видел, как в тридцатые годы у Ипатьевского дома стояли на коленях старушки в чёрных платочках и молились за убиенных. Потом вставали и шли к церкви Вознесения, крестились и ещё долго стояли молча.

В магазине тоже молчали.

— О чём это вы там шепчитесь?

— О дальновидности товарища Сталина. Как правильно он оценил обстановку в мире и вовремя сделал Красную армию могучей и непобедимой.

Раздались аплодисменты, но тут же смолкли. Тишину прервал Макар Акимыч:

— А Берлин, что нам — в первой брать? — и, подумав, добавил: — Ну а если наши прославленные маршалы сами сядут на коней — сабли наголо и вперед! Тогда пройдет меньше одной недели, и Берлин будет взят. Не учел бесноватый фюрер ни маршалов, ни конницы, ни стальных рядов нашей партии.

По магазину прокатился шквал нескрываемой радости: «Ну куда попер, немец! Не иначе со своим фюрером спятил с ума». «Забыли буржуины, что нашей страной руководит великий Сталин, а вот теперь пусть себя пеняют, придётся им от лошадиного навоза Берлин очищать».

Хлеба мне не хватило. Тётя Соня, как всегда, сочувственно сказала: «Мальчик, приходи к шести вечера. Обещали ещё подвезти».

Но я не уходил и смотрел с восхищением на Макара Акимыча, на его боевой орден. Настоящий герой гражданской войны зря говорить не бу-

дет, решил я и стремглав помчался домой. Радость переполняла меня, прямо с порога я закричал: «Ура-а-а! Война началась! Будённый с Ворошиловым сядут на коней, и наша конница возьмет Берлин и мы в цирк с тобой поедем прямо после победы».

Мама молчала, лицо её было бледным. Она смотрела на меня, а я растерялся, увидев в этих глазах испуг.

— Сынок, не верь провокациям. И кто это сказал?

— Да все говорят, а о том, что победим — Макар Акимович.

— А кто это?

— Герой гражданской войны. Он с самим Чапаевым в атаки ходил. У него орден Красного знамени, мама.

Что я знал тогда? Что понимал мальчишка, смотревший предвоенный фильм: «Если завтра война», где все враги нашей Родины разбивались в прах на их же Земле. Откуда я мог знать, что война принесет столько страданий и крови.

Мне рассказывал сосед, Володя Леонтьев, как ещё совсем маленьким он встретил войну, как они стояли с дедом у дороги, по которой с зари до зари с лязганьем и воем шли армады с крестами на запылённой, измазанной грязью броне — танки, бронетранспортеры, грузовики, в которых сидели солдаты в зеленеющих на солнце касках, с чёрными автоматами наперевес. По обочинам двигались легковушки, в них сидели офицеры, почти у каждого в руках дымилась сигарета, а у некоторых, по-видимому, генералов изо рта торчали сигары. Они явно считали себя породистыми господами. Весь этот огромный, окрысившийся стволами пушек и автоматов многомиллионноголовый дракон с рычанием и скрежетом полз, превращая дорогу в месиво из булыжников, земли и песка.

Гудериан шел на Москву. Небо было чёрным от стервятников и воронья, сидящего в кабинах смертоносных самолётов. Дракон фыркал, выплёвывая булыжники с кровью, и задрал свои головы в небо, с восхищением смотрел, с какой скоростью проносятся его дракончики. Ему так не хотелось отставать. Ему как можно скорее хотелось проползти по Красной площади в Москве. Не знал бедный, что наши прославленные маршалы уже оседлали боевых коней.

Немцы были разными, совсем не похожими друг на друга, как и все люди на земле. Не все смотрели крысиными глазами. Особенно выделялись пожилые, у которых наверняка были дети. Они часто смеялись, мастерили из дерева дудочки и раздавали вместе с леденцами малышам. Но один немец, кажется, его звали Ганс, старался казаться зловещим — этакий монстр, способный только убивать. У соседки тети Насти, что жила через дорогу, было пятеро детей, один другого меньше. Заходит к ней этот Ганс с автоматом и, играя затвором, говорит:

— Матка, кто для тебя лучше, Сталин или Гитлер? — и далее по слогам: — Не ска-жешь, пу-щу в рас-ход те-бя и де-тей... Ну! Говори, считаю до трех! Айн, цвай, драй!

— А что я могу сказать, — отвечает она. — Я ни того, ни другого отродясь не видела... Только слышала, что Сталин рябой, а Гитлер косой.

— Ну, ты даёшь, матка, — сбросил он с лица зловещную маску. — Матка, а ты храбрая, нашлась, что сказать. Только запомни, о Сталине можешь говорить ещё и не такое, а о фюрере ни гу-гу, если не хочешь, чтобы бельевая верёвка завязалась в петлю. Надеюсь, ты все усвоила, матка? Ну, где твои киндерята? Ну-ка все ко мне.

И он вытащил из кармана плитку шоколада, разломал её на равные части и раздал детям.

— Матка, а это тебе за смекалку и храбрость, — и сунул в её трясащиеся руки пачку галет.

Были и такие шутники, по сути своей не злые и отзывчивые, среди них был и Франц — весёлый и озорной, не расставившийся с губной гармошкой, он выдувал из неё любые звуки: то пение соловья, то кудахтанье кур и рулады кавалера и сердцеда — дворового петуха. Потом внезапно переходил на мелодии немецких песен.

Но Володя помнил и других: вывели его, мальчишку во двор, поставили на голову бутылку из-под шнапса и тренировались в стрельбе, бегу от смеха. Подзадоривая друг друга, орал истощенными голосами:

— Киндер! Киндер! Маленький русский герой! Потомок Александра Невского! Мы тебя заставим кричать: «Зиг хайль, Великая Германия!»

Один пьяный, едва стоящий на ногах, поведив стволом пистолета по детскому лбу, еле выговаривая слова, изрёк:

— Стой смирно! И не вздумай качнуться, а то не дай бог, вместе качнёмся. А голова у тебя одна, и одной пули достаточно, чтобы её продырявить. Ну, чего дрожишь, есть ли в вашей семье большевики? А может быть, и в бандиты кто подался, в партизаны? Ну, например, где твой отец? Молчишь. Не ублюдок же ты? Где твой отец?! Думаешь, я не знаю? Говори! — орал пьяный немец, наводя пистолет.

Вова, кусая губы, молчал. Ему было страшно, немец вел себя так, как будто знал, что отец стоящего перед ним шестилетнего мальчика, действительно красный партизан — в прошлом известный на всю область агроном.

— Молчишь, киндер? Маленький русский герой, настращали вас, запугали, что придут оккупанты и всех перестреляют. А кого мы убили из мирных? Кого? Одну какую-то бабу непутевую. Сама виновата, вцепилась в свою старую корову. Немецкая армия просто так никого не убивает, — язык его еле шевелился. — Ты не бойся, я бью без промаха. Я в Гитлер-югенде... Мы проходили специальную подготовку. Ты чего ревёшь? А ещё хочешь стать воином нашего победоносного вермахта. Ну-ка убрать сопли! И чтобы ты не подумал, что я нехороший и злой, можешь закрыть глаза и завязать их вот этой тряпкой, — он снял с бельевой веревки заштопанное, но чистое полотенце. — Держи! Можешь завязывать. Не бойся, все умрем, один раньше, другой позже... Приготовились...

Говорить он уже не мог, ноги заплетались, он с трудом сделал шаг, направляя пистолет, и, качнувшись, но удержав его, рухнул на землю. На другой день, протрезвев и снова заправившись шнапсом, немец с маниакальной настойчивостью стал повторять экзекуцию... Мир не без добрых людей и, если бы не Франц, который увел садиста в дом, некому было бы всё это вспоминать

Мой сосед до сих пор помнит своего мучителя: его зелёно-мутные глаза, похожие на пауков, и чёрные свастики, напоминающие скрестившихся червей. Он всю жизнь несёт в своей душе эти жуткие воспоминания. Его характер не всем нравится, но он очень добр. Когда его сына Мишу, лейтенанта запаса, послали в Чернобыль, он плакал и говорил: «Зачем его, такого молодого? Взяли бы меня». Он может наорать и, не разобравшись, обидеть, а потом будет переживать и всячески стараться загладить вину. Он правдолюб и часто срывается. Наверное, в его глазах возникает тот садист, который делал из него живую мишень.

Я на мгновение представил себя на его месте, и стихотворные строчки застучали, в такт с ударами моего сердца:

Ты разве не был на корриде
Не матадором, а быком?
Как скот от боли и обиды,
Не засыпал бессонным сном?
Когда ты спишь, а боль в тебе,
И ты, как рыба на крючке,
Не отличаешь день от ночи,
В безбожье ищешь беспорочность,
Рисуя звезды на песке.

...Ну кто из нас не испытал вероломства? Кто не был униженным, насаженным на шпагу быком? Кто не любил всем сердцем того, кто проклинает и ждёт твоей смерти?

— Ну вот, и ты стал философствовать, — загнусавил до тошноты знакомый голос. — Давай, может, что-нибудь и получится. Мой конопатый стратег тоже решил, что если солнце рыжее, то и он причастен ко всему великому. Бывали, конечно, случаи, но надо развиваться, а мой авангардист отрастил рыжую бороду и возомнил себя Барбароссой. Ну и случился полный застой, и не только в мозгах. Это ладно, мозги мы подправим — спасибо войне. Она знает, что делает, и нашего Барбаросика сделала изворотливым и предприимчивым. Ну а алчным он был всегда, с двойным дном благородного афериста, собравшего весь опыт самых выдающихся оборотней. Ну а ты, москвичонок? — продолжал гнусавить Черчел. — Идет война, наших и ваших бьют, а ты всё нежишься, принц на горошине, пока под тебя мину не подложат. Не надоело валяться? Так и всю войну можно проспать. Даю на подъём три минуты. А впрочем, валяйся, я и сам

люблю понежиться и увидеть во сне принцессу... Изнеженную, но выносливую. У меня характер. Срываюсь иногда по пустякам... До свидания. Лежи, лежи, смотри свои сны.

Под одеялом было тепло и уютно. Я потянулся и сделал глубокий вдох. Что это? Сердце не билось. Я замер. «И это всё», — пронеслось в голове. И снова удары. Опять липнет эта непроницаемая бесцветная масса. Глухие удары. Я прислушиваюсь: нет, это не сердце. Да это же стучат колёса электрички! Фашистам поддали жару под Москвой! Подбитые танки Гудериана сгорели. Сам Гудериан с недобитыми остатками своей драконьей армады отступил. А если сказать по-русски, драпанул. Контактные провода электрички восстановлены. Паровозы, таскающие по три-четыре пригородных вагона, поставлены на запаску. Электропоезда пошли, какая радость! Я еду в одной из электричек. Пассажиры в основном женщины и несколько стариков. Вагон забит почти до отказа.

— Осторожно! Осторожно, не заденьте стоп-кран! Извините, что вы делаете?! — повысив голос, говорит дама в пенсне.

Она в белой панаме, в руках у неё книга. Похоже, фолиант дореволюционного издания. Читаю: «Профессор Сикорский. Всеобщая психология». Встав со своего места, дама продолжает:

— Граждане, скажите дедушке с вещевым мешком, пусть отойдет от стоп-крана... Дедушка, я вам говорю.

— Послушай, дамочка, — забасил мужчина, сидящий рядом. — Кругом война, а ты всё деликатничаешь. Давно пора снять пенсне и посмотреть на жизнь без интеллигентских комплексов. Я тоже инженерное образование имею, но не комплекую.

— Ну что вы говорите, при чём здесь это?

— А при том. Вот как надо разговаривать, когда возникает опасность экстренного торможения, — и он заорал на весь вагон: — Эй, старый тюфяк, ты что, оглох?! Уши моль сожрала, а мозги в вещмешке носишь?! Отойди от крана! Я кому говорю, перезревший одуванчик? А то, как дуну, вылетишь в окно со всеми потрохами. Ну вот и правильно, сам больше не подходи и других не подпускай.

— Зачем же так грубо, товарищ инженер, он же нам в деда годится?

— Ты что, не поняла, что мозги надо носить в голове. Я вот в армию прошусь, а меня дирекция объекта особого назначения не отпускает, говорят, мыловаренный завод без инженерных мыслей может и встать, и тогда гнидами обрастёт вся страна, а вши сожрут героический фронт. Ладно, я пошел. К моей станции подъезжаем.

И он вышел. «Ну, в этом-то целый рассадник рыжих бактерий», — подумал я.

— Дедушка, — заговорила дама, — пожалуйста, не обижайтесь. Наверное, воспитание его не коснулось.

— Да что вы! Его просто с третьего этажа уронили, — вставил я, и все засмеялись.

— Понимаете, если бы поезд остановился, всех потащили бы на допрос, — сказала дама и сняла пенсне. — А следователи разные бывают.

— Да это все знают, — заключила женщина в блузке, перешитой из армейской гимнастерки. — От греха нужно держаться подальше. Уж чего-чего, а читать-то советская власть научила.

На отлитой из металла табличке рядом с ярко-красным стоп-краном красовалась грозная надпись: «Из указа Верховного Совета. За самовольную остановку поезда — пять лет тюрьмы». А если торможение произойдет с последствиями, то ещё больше — с явным намёком на высшую меру. Так что в вагоне, где царствовал стоп-кран, всегда было пусто. Старались даже не смотреть на этого грозного царя.

Электричка тронулась. Снег уже давно растаял, и весна встречалась с летом. По вагонам чуть ли не каждые десять минут проходили патрули и требовали предъявить документы. Контроль был строгим и не напрасным: шпионов и диверсантов хватало. Иногда это доходило до смешного, хотя все было на полном серьёзе. Ощущать страх и риск приходилось по-настоящему. Тогда самолёты с крестами летали над нами не так нагло, как в самом начале. Зенитки сбивали их беспощадно. Мы только осколки от снарядов успевали собирать. Один раз я даже обжёгся — уж больно горячий попался. Молодец, голуба! Влепил фашистскому ассу! Мы так и смотрели в небо: а вдруг шпиона с парашютом поймаем. Тогда могут за заслуги и в армию взять, хотя бы в госпиталь. Стать добровольцем — это была самая заветная мечта, а там, глядишь, и на фронт можно пристроиться.

Мы с моим дружкой Колькой Седым знали, как и все, о коварных происках мирового капитализма. Почти на каждом углу висели плакаты с огромным ухом и надписью: «Не болтай, враг подслушивает!» И мы всю старались — и находили — подозрительное там, где его никогда не было. Особенно мы наблюдали за небом и всегда держали его под прицелом.

В тот день густой туман касался своей пеленой туч и земли. Вокруг ничего не было видно, но мы упорно всматривались в парящую пелену — и увидели силуэт быстро идущего человека. Он постоянно останавливался и вертел головой.

— Коль, под покровом тумана маячит неизвестный объект!

Мы набрали скорость и, почти догнав, стали его разглядывать. На дяде был одет плащ защитного цвета. Он был в круглых очках и походил на филина. Подозрительный тип. Из-за этого тумана мы просмотрели стервятника, сбросившего очередного «подкидыша». Парашют уже снял и замаскировал в кустах за забором. Ну, диверсантиска, теперь ты от нас не уйдёшь. Явно что-то высматривает, заглядывает за каждый угол. А из-за угла рядом с колодцем выскочил, как ошпаренный. А за ним молоденькая девушка. Видно, спугнула, не успел заложить взрывчатку. А вражина торопится, почти бежит. Мы за ним. Сомнений не было —

шпион! Идет трясётся, ноги поджимает. Мною тут же было принято генеральное решение: мой верный товарищ бежит к военным, а я иду неустанно по следу обнаглевшего врага.

Ага-а, что-то он не возвращается из-за угла деревообрабатывающих цехов, обнёсенных высоким забором. А если успеет динамит заложить?.. Преодолеваю страх, крадучись подхожу к углу забора. Выглядываю и... полное разочарование. Никакого динамита. Наш матёрый шпион просто-напросто справляет нужду. Перетерпел бедный, на меня никакого внимания. В общем, смех и слезы!

Мои воспоминания прервал громкий женский голос. Электричка, медленно набирая скорость, отъезжала от станции.

— Алёшенька, давай сюда, к окну, здесь освободились места.

Все пассажиры стали с любопытством смотреть на её молодого спутника. Он оказался стройным и очень симпатичным лётчиком. Я сразу подумал: «Наверное, у Чкалова учился. Храбрый, рука перевязана. В бою с мессершмидтом ранение получил. Сразу видно. Вот это да...» Я с нескрываемой завистью смотрел на героя, а женщины замерли, как загнипнотизированные. Спутника его, очень милая, с ямочками на щеках, казалась каким-то чудом, появившимся из довоенного времени. У неё были огромные бархатные глаза цвета Чёрного моря. На что я малец, и то понял, что перед такой не сможет устоять ни один герой, если он даже самый настоящий принц без горошины и чванливых бобов. Да, пара была бы из них — глаз не отвести. Страшно даже подумать, если они не дожили до конца войны! Не секрет, что самые красивые и благородные погибали первыми. Как их не хватает сейчас!.. Хотя и тогда их было меньше. Зло живучее и приспособливается к любой мерзости. Благо, совести нет — одно брюхо и животные инстинкты.

Электричка гудит, наполняя радостью сердце. От девушки лётчика и грустных лиц женщин в синих платочках идет какой-то особый свет. А электричка летит, не успеваешь названия остановок прочитать. И вдруг девушка, прислонив голову к плечу лётчика, чуть слышно произнесла:

— Ой, какие берёзоньки! Лёша, посмотри, какая прелесть! Там наверняка до войны влюблённые встречались.

Электричка дала гудок и медленно тронулась. Лётчик, ни слова не говоря, рванул стоп-кран, и поезд резко встал.

— Пойдем, милая, берёзки нас заждались. А ты точно их любимая подружка.

Все оцепенели, с обеих сторон вагона появились вспотевшие патрули.

— Кто остановил поезд? Для кого указ написан?! — орал военный с малиновым околышком. Это был начальник первого патруля. — В тюрьму захотели, бабоньки? Ни дети, ни мужья, ни сыны на фронте не помогут. И даже беременность. Зря надеетесь. Ну, кто был инициатором этого

заговора? Кто конкретно остановил поезд? А ты, малец, почему нос в сторону воротить? Хочешь сказать, что не видел?

— Не видел, товарищ командир, я в окно смотрел, — и я встал.

— Садись, и впредь будь бдительным. Ну, раз круговое молчание, придётся задержать для расследования всех. Да, а может быть, лётчик нам подскажет, кто посмел совершить это злостное преступление?

— Это сделал я! И только я несу за это ответственность.

— Понятно, значит, не тюрьма, а штрафбат. Документы! Ребята, берём его под ружьё!

— Не троньте, он вчера вышел из госпиталя. У него рука ещё не зажила. Я её сама буду перевязывать, — шептала девушка, прижавшись к Алёше.

— Ну и что?! — взревел начпатруля. — Если рененый, значит, нарушать закон можно?! А перевяжут его и без тебя, красавица. У нас и заключённых лечат, как всех. Медицина в СССР на государственном обеспечении. У нас перед законом все равны. Поблажек нет! Так учит нас великий Сталин. Возражения есть?!

А в ответ тишина, принято единогласно.

— Мы завтра хотели расписаться, — сказала девушка и заплакала.

— Идёт война! — закричал начпатруля. — А они шашнями занимаются. Я бы эти загсы позакрывал. Кончится война — пожалуйста. А сейчас... Вражеские происки. Зачем вдов разводить, их и так хватает!

Лётчик резко встал.

— Слушай, ты, тыловая оборона. Это чересчур!

И тут весь вагон взорвался негодованием. В тишину ворвалась буря. Женщины кричали:

— Оставьте его. Наши мужья воюют, а вы по вагонам гуляете. Врагов надо искать, шпионов. А вы?!

— Молчать! — орал начпатруля. — Я не позволю издеваться над приказами товарища Сталина и указами Верховного Совета! Распоясались! Работаете на врага?! Ничего, мы раскопаем подполье вашей организации. Кто не читал, что написано на табличке у стоп-крана?

Женщины не уступали и шли в контр-атаку.

— Товарищ Сталин его бы простил, потому что он великий. Потому он и отец всех народов. Он же боевой лётчик. Его уже успели ранить. А что стоп-кран сорвал — это по молодости, от любви, а любовь и не на такое толкает.

— Нет, нет! — орал начпатруля. — Ну-ка, ребята, под руки его! В служебный тамбур, поближе к машинисту. Надо по радио сообщить, что задержан преступник. Ну, чего смотрите? Исполняйте!

— Не троньте! — кричали женщины. — Вы что, совести не имеете?

— А вас, товарищи женщины, надо действительно проверить, может, среди вас классовый враг орудует и направляет исподтишка. Или уже всех вас завербовали?

Но женщины того далёкого военного времени не испугались ни карабинов, ни хамства, ни угроз, ни пистолета, выхваченного из кобуры начальником, ни даже своего любимого вождя. Бывают такие моменты, когда Бог не отпускает душу — хотя бы на один миг — от себя...

Милые женщины ринулись на военных, начпатруля извергал всякие гадости и непристойности. Как будто соревнуясь с волонтерами. Мне даже у него рога почудились, которые проткнули его фуражку. Вся эта изощрённая дебильская матерщина напомнила мне о рыжем. О санях, о кровоподтёках на моих руках и лице. В глазах начпатруля змеилась чернота. Ругаясь, он то и дело глядел на меня, явно ожидая моей поддержки.

В нём совмещались черты Черчела и повадки рыжего, этот гибрид всё больше и больше приходил в ярость. Вагон был переполнен необузданной злобой. Казалось, что вся эта свара закончится беспределом и побоищем.

Начальник второго патруля, который всё время молчал, находясь как бы над схваткой добра и зла, неожиданно заговорил:

— Эдуард Николаевич, успокойтесь. Вам что врачи говорят?

На втором начпатруля была фуражка с чёрным околышком. «Неужели и он, — подумал я. — Да нет, это танкист, чёрный цвет ещё ни о чём не говорит».

— Эдуард Николаевич, — продолжал тот. — Ну что мы к нему пристали? — и, слегка покраснев, улыбнулся. — Ну какой штрафбат, видишь, у него боевое ранение. Ну нашкодил, ну гауптхата, а лучше всего выговор перед строем. Одно ранение у него уже есть, а во второй раз могут и убить.

Эдуард Николаевич крикнул:

— Я знаю, что ты в броне успел погореть. Танкистов, как и лётчиков, я уважаю... да и флот, да и всю армию. Но дисциплина! Кругом диверсии, дезертиры, самострелы, симулянты... На чужой кровушке хотят живыми остаться. Да ещё после смерти в рай попасть. А если кто-нибудь напишет в наркомат обороны, и всё это попадёт к самому Сталину?! Что тогда?!

— Эдуард Николаевич, Сталин всё поймет и учтёт заслуги боевого лётчика. Наши бабоньки правы, у них интуиция всегда опирается на логику.

— Ну ты, танкист, и даешь!

— А что давать? Отпустим, уважим наших жен и матерей. Ну а жёнить, действительно, ты прав, после войны надёжней. Вот победим, тогда и свадьбы будем играть.

Эдуард Николаевич, сдерживая змеящуюся злость, сказал:

— Ладно! Пусть летает... Но если... — и он уничтожающе посмотрел на лётчика.

— Спасибо, Эдуард Николаевич, пока меня не убьют, не забуду, — сказал танкист и отдал честь под козырек.

А я восхищённо смотрел на лётчика. На героя и на его девушку (имени её я так и не услышал), которая от слёз стала ещё красивей. А танкиста я никогда не забуду. Такие как он и принесли нам победу. Не забуду и женщин — у меня нет достойных слов, чтобы сказать, как я ими горжусь.

И опять я проваливаюсь в липучую массу и отчётливо слышу скрежет лопат и колёс. Все смешивается в один крутящийся комок червей. Через него и возникает вагон уже не электрички, а поезда дальнего следования. На многих вагонах видны вмятины и даже наскоро заделанные дыры. Значит, успели побывать под бомбёжкой. Во многих местах — следы гари, напоминающей сожжённую кровь. Война хоть и не для всех война, но всё-таки она не выбирает. В одном из таких вагонов я лежу под нижней лавкой. Только что прошёл ревизор с милицией.

— Вылезай, сынок, — говорит пожилая женщина. — Голодный, наверно?

Другая ей вторит:

— Конечно, голодный, чего спрашиваешь? Вылезай, хлопец, это тебе от меня, — и она отрезала небольшой, но, учитывая всеобщий голод, довольно-таки заметный кусочек сала, да ещё с чесноком. Царский подарок по тем временам.

Я выскакиваю из-под лавки, как кузнечик, в один прыжок, больше похожий на бездомного щенка, лицо вымазано чем-то вроде сажи. Чего-чего, а грязи в вагоне хватает. Моя рваная телогрейка сверкает дырами. Кормилицы выделяют из своих запасов целых два сухаря, причём один из серого хлеба. Это уже пир на весь мир.

— Ты что, из эвакуированных? Что в Москве делал?

— Да я там живу, — с гордостью произнес я. — И ни в какой эвакуации я не был. Не побежал, как эти начальники и завскладами одеколонных фабрик, одним словом, тыловые крысы.

— Молодец, сынок. Только так держать! — сказал солдат, сидящий на соседней лавке. На заношенной гимнастерке поблёскивала одна-единственная медаль «За отвагу».

«С передовой, из самого пекла, можно сказать, с того света, — подумал я. — Такую награду только смерть разрешает выдать в исключительных случаях, когда у неё настроение хорошее или когда переела и хочется отдохнуть. Народ знает, что почём. Не даром говорится: «Чем больше орден, тем дальше от фронта». Хотя и за отвагу ухитрились получить не нюхавшие порохов. Вот у лётчиков, танкистов, моряков, кто в разведку ходил, там всё кровью заработано. А кто в атаке ходил, да ещё рукопашные, какие уж там награды! Если чудом живой или раненый — медаль «За отвагу». Это, считай, как золотая звезда.

— Не куришь? — спросил солдат.

Женщины заворчали:

— Что ты за глупости спрашиваешь? Хлопцу эта зараза не к лицу.

— Не курю, — промямлил я, — махорка дорогая.

Неожиданно в вагоне засуетились люди, забегали, заахали. Слышу разговор:

— Какая-то баба на сцехах между вагонами рождает. А до этого она орала на крыше, так её спустили. Чуть не упала, бедная, под колеса! Один

не выдержал — отпустил, а другой мужик, хоть и пьяный был, держал, как якорь. В общем, помогли, вытащили. Вот сейчас она над сцепами мучается. Там на переходной площадке так трясет, что и душа может выскочить прямо на рельсы! В вагон её надо. Все двери закрыты — говорят, нас от зайцев оберегают и ворья.

— А сами, хорьки вшивые, с зубов слюна течёт, — с болью произнёс солдат. — Зовите проводника!

Появляется мужик в железнодорожной фуражке.

— В чем дело?

— Скорая помощь нужна, открывай двери! Говорят, там женщина рождает.

Проводник, ухмыльнувшись:

— Ну и что? Впервой что ли? Говорят, мужики на фронте, а у меня в каждой поездке — фокусы.

И тут солдат отчаянно пошёл на проводника.

— Ты понимаешь, мозги твои железные, рождает она. А ты?! Она, может быть, Спасителя нам рождает. Или Деву Марию. А ты, вагонная вошь!..

— Но-но! — зашипел проводник. — Я при исполнении служебного долга. Хоть ты и с фронта, я здесь тоже при деле.

— Открывай, побойся Бога! — заорал солдат.

— Ты что, контуженный?! — окрысился проводник. — Не ори на меня! — и он бросил ключ на пол. — Я умываю руки. Ключа я вам не давал, если что, скажу — отобрали. Так что руки мои чисты!

— А совесть? Пилата из себя корчишь, хорёк! — крикнул солдат и ринулся в тамбур...

Были и всегда, наверное, будут подобные типы. Ни один санпропускник таких не отмоет. Да и зачем им это? Они дегтярное мыло воруют, чтобы продать, а дуст на сахар меняют. Неистребимое племя!

Но большинству из тех, кого я помню, царствие им небесное, если уж в живых нет, а если живы — слава им вечная, им души не надо было в стирку сдавать.

Мы быстро освободили половину вагона, завесили простынями и одеялами. Солдат и женщины осторожно занесли роженицу, временами теряющую сознание. Она стонала. То вдруг начинала кричать и звать маму и какого-то Федора, наверное, мужа, а может, ещё кого, не знаю. Все молчали. Женщины хлюпали носами и тёрли глаза. Несколько доверенных, мало понимающих в медицине, крутились возле роженицы. Но всё это уже происходило за простынями.

А где врачей взять? Они почти все на фронте, в госпиталях. А сестёр милосердия? Так мне хочется их по-царски называть. Потому что помню, когда фашиста от Москвы отогнали, в госпитале лежала одна из них. Маша её звали. Лет, наверно, восемнадцать ей было, не больше. Красавица! С ума можно сойти... Она по льду, в снегу раненых таскала с поля боя.

Её ранило, и ноги она отморозила. Хирурги всё делали, чтобы ноги спасти. Но гангрена, неумолимая зараза, её конечная цель — в сердце вцепиться. Ей сделали несколько ампутаций. Но гангрена впиалась намертво. Пришлось обе ноги отрезать совсем... Как вспомню эти тазы с кровью в гнойных разводах! Как я их выносил из операционной... Кровь глаза заливает.

Уже после войны, после флота и разрывов мин на боевом тралении работал я в театре. Однажды на очередных гастроях нас повезли куда-то с небольшим концертом и очень строго предупредили, что это объект секретный, и чтобы никаких воспоминаний и трепа на эту тему не было.

— Не забывайте, что вы на идеологическом фронте, творческая интеллигенция! Так что заранее рты закрыть на замок! Враг с первых дней революции подслушивал, чтобы навредить. И сейчас он также держит уши на макушке, за которыми пушки. Да ещё и вещает вражескими голосами. Чёрные силы врагов окружили наше государство. Рабовладельцы всех мастей мечтают ударить кнутом по нашим натруженным спинам. Но мы этого не допустим!

Ну, конопатый таракан, и здесь поселился. А может быть, и Черчел пристроился во имя идей его Сверхвеличества?

— А ты соображаешь, москвичонок, — прогнусавил Черчел, выглядывая из-под письменного стола. — Слушай, что говорит этот товарищ! Это один из лучших пропагандистов нашей весьма скромной, но очень авторитетной организации. Пока! — и он моментально исчез.

Безусловно, инструктор, учивший нас, как надо жить, не имел даже намека на рыжину, но его суть просматривалась сразу. Вёл он себя вальяжно, смотрел на нас сверху вниз. От него исходил запах французского одеколона. Он небрежно достал пачку сигарет «Кэмэл» и, развалившись в кресле, закурил.

— Надеюсь, все понятно, товарищи артисты.

Мы молчали.

— Ну, вот и хорошо. Вы свободны!

Сели мы в автобус и поехали. По дороге несколько раз делали остановки, и наш водитель подолгу возился с мотором. Автобус был в престарелом возрасте и, по рассказам ветеранов сцены, несколько раз получал ранение на фронтовых дорогах. При движении всё в нём дребезжало и стучало, и мы боялись, что он развалится на очередном крутом повороте. Проехали мы километров сто, не меньше, после чего свернули в лес, можно сказать, дремучий... Наши девочки запели: «Парней так много холостых, а я люблю женатого». Пели они с душой и очень красиво. По лесу мы ехали километров пятнадцать, пока не выехали на поляну. Там и стоял обросший лишайниками бывший монастырь...

В обкоме не соврали. Вокруг на сто километров, а может быть, и больше, ни одной живой души. Нас встретили в серо-белых халатах сотрудники этого печального предприятия, так называемые медики, кото-

рые, скорее, походили на лагерную охрану, только овчарок не было. А зачем они, если есть сотрудники, способные догнать любого беглеца в два счета. А охраняли они наших героев, фронтовиков, которых убивали за нашу свободу, но до конца так и не убили. У кого-то не было ног или рук. А у кого-то и того и другого. У меня в горле застрял комок горечи.

— А женщины, искалеченные войной, здесь есть? — спрашиваю.

— Есть. Они вон в том покосившемся флигеле. Там их несколько человек.

«Ну, — думаю, — если я сейчас увижу Машеньку, сестру милосердия сорок первого года!» И представил лютый мороз, госпиталь и нескончаемую очередь в операционную. И моё сердце сжалось от ужаса. Неужели она дожила до этих дней и живёт в этом кривом полуразвалившемся флигеле?! Машенька, спасшая столько жизней, выписывалась из госпиталя в очень скверном настроении и очень переживала за раненых бойцов. Победители — гордость Советского Союза — ютились, доживая свой век в кирпичных кельях, обмазанных никогда до конца не высыхающей известкой, без достаточного света. Динамо-машину включали вечером на один-два часа... «Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны» — и строгий учет и экономия во всем!

Общая уборная, сколоченная из горбыля, стояла во дворе. Залежи застоявшейся жижи пахли падалью и хлоркой. Не верилось, что всё, что мы видим, творится в бывшей обители Бога. Пересиливая себя, с комком горечи в горле, мы все же выступили со своим концертом.

Встречали нас, как родных. От этого было ещё больней, и мы едва сдерживали слезы.

— А как же зимой? — спросил я у санитаря в застиранном халате.

— Ну что вы, лес кругом. Топим, стараемся. Вот только уборная, чёрт её побери. Зимой и примерзнуть можно. Вроде, районное начальство жалилось, обещает буржуйку купить. Всё у них денег не хватает. Совсем глаза свои отморозили... Если слово на этот раз сдержат, мы эту буржуйку обязательно поставим в сортир. Всё же полегче станет. В общем-то, мы с нашими калеками тоже мучаемся. Ну что поделать? Жизнь такая, несурьезная.

И у него на глазах выступили слезы.

После концерта совершенно опустошённые, с камнем на сердце, мы сели в автобус. Сперва долго молчали, пока одна из наших девочек, заплакав, не произнесла: «А мы песни распоем», — и у наших актрис началась истерика. Да и мы ревели от безысходности и обиды. Всё это происходило, когда по всей стране зажигались вечные огни и со всех трибун кричали: «Никто не забыт, и ничто не забыто». А вы говорите, что когда-то давно жили фарисеи! Это отродье и сейчас нас за людей не считает. Как только дурак, да ещё и негодай, обязательно лезет во власть.

Так и живём: один дурак придумает, а миллионы мучаются. Недаром говорят, что нет ничего страшнее, чем когда дурак у власти.

Водитель вёл машину очень осторожно, и всё равно автобус, подпрыгивая, жаловался и скрипел. У меня в ушах всё отчетливее слышался монотонный стук колёс пассажирского поезда, и я опять возвратился в вагон с притихшими пассажирами.

Поезд то набирал скорость, то почти останавливался. Я смотрел на висящие простыни. За ними раздавались приглушённые стоны. И вдруг рожаящая женщина замолчала. И сразу наступила мертвая тишина. В голову лезли страшные мысли. Все замерли в ожидании. В тишине я услышал шёпот:

— Господи, помоги ей, Господи, помоги.

— Чего ты шепчешь, бабуса, проси громче, чтобы Он услышал, — прошептал солдат и стал ходить по вагону.

И снова раздался душераздирающий стон. Женщина, рыдая, кричала:

— Прости меня, Господи, грешную, прости!

— Бог-то простит, — произнёс проводник, — а вот что люди скажут? — и посмотрел в окно. — К станции подъезжаем. Здесь есть кипяточек. Готовь чайники, котелки!

Но никто даже не пошевелился. В напряжённой тишине на стыке рельс стучали колёса.

— Стоим двадцать минут. За кипятком всегда очередь.

— Да помолчи ты ради Бога. У тебя что, не только мозги, но и сердце железное? — прошептал солдат и стал закручивать махру в козью ножку.

Женщины тут же стали его уговаривать:

— В вагоне курить нельзя.

— Да успокойтесь, бабоньки, я только понюхаю, может, и легче станет... Ну что она так долго рождает?

И вдруг свершилось! Назло блостителям поганой жизни раздался громкий плач ребёнка. Малые слёзы огромных морей...

— Девочка, девочка родилась, — разнеслось по ожившему и зашумевшему вагону.

И вдруг совершенно неожиданно мы снова услышали душераздирающий крик матери... Я знал, что очень много женщин, родив на свет новую жизнь, сами умирали, успев лишь на один миг взглянуть на свою радость, и со счастливой улыбкой закрывали глаза, полные слез... Но что это? К плачу новорожденной прибавился басистый плач с каким-то гортанным надрывом.

— Мальчик! После девочки мальчик родился! Вот это да! Ну, без Бога так не получилось бы. А говорите — чудес не бывает... Как по заказу!

И вдруг молоденькая девчонка запела, сперва тихо, потом всё громче: «Сердце, тебе не хочется покоя...». Она и до этого все пыталась петь, но теперь все, не договариваясь, подхватили замечательные слова: «Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить». Только проводник ныл:

— Чего радуется? Сирот разводят ошалелые бабы. Небось нагуляла под гарантию, что война всё спишет.

— Да есть у неё муж, говорят. Повезло мужику, такая радость, а он и не знает.

— А откуда ему знать, если он на фронте нацистов бьёт, — многозначительно заявила старушка с огромным мешком, на котором она сидела.

— А ты-то откуда знаешь, бабуся?

— А как мне не знать, мы с ней из одной деревни, вместе едем картошку менять на мануфактуру. Не рассчитали, правда, понадеялись на авось. Ну да радость — хоть и не война — тоже всё спешет.

— Слава Богу, всё обошлось! Бабусенька, это Он тебя услышал. Спасибо тебе от всех нас, — заключил солдат и заулыбался так, что в вагоне стало светлей.

Какие женщины у нас в России! Не всё самое хорошее успел сказать Некрасов. Но сердце-то его всё видело. Потому и мучилось.

Помню, как я ехал на подножке почтового вагона, а это, считай, военный объект! Вход туда — ни-ни. И посадить, и к стенке поставить могут. С войной не побалуешь. Проехал я на подножке целый день. Почтальоны-женщины, конечно, видели меня, но не прогнали. Хоть я и ожидал этого. Но сердце женское не камень. А когда стемнело, они впустили меня в вагон, напоили чаем с какими-то травами и даже сухарик дали из ржаного хлеба. Япил чай с сахаром, а они — с сахарином. Одна хотела мне насыпать его в чай. Другая: «Ты что, с ума сошла? Это же химия. Давай не будем грешить. Он ещё ребёнок». Я тогда ничего не понял, потому что сахарин считал за лакомство. Да что я? Весь народ. В общем, эти добрые женщины всю дорогу причитали надо мной. Спать уложили, двумя одеялами накрыли, а я лежал и думал: «Вырасту — обязательно всем расскажу». Ведь они рисковали всем, без преувеличения — собственной жизнью. Милые женщины, тысячу лет вам быть красивыми!

Возвращаюсь я из поездки с заплочным мешком на подножке купейного вагона. Со мной рядом сидит незнакомая беременная. За километр видно, что женщина на сносях. Всё меня угощает замшелыми цвета хаки лепёшками. Вкуснятина! Поезд еле движется, непонятно почему. Вдруг вопли, шум, из окон вагонов вылетают чемоданы, мешки, да и люди, если сопротивляются. Банда налетела — «Чёрный стрелочник». Не только в Гражданскую, но и в Отечественную бандитов и мародёров хватало. Двери нашего вагона резко открываются, и на этот раз я вижу действительно рыжего с выпученными глазами.

— Конфискация! — кричит он. — Бросай утварь — там подберут.

Я прижимаюсь к женщине и весь дрожу от страха.

— Послушай, ты! — заорала она. — У меня мужа убили, мы с сыном остались. Да вот ещё должна родить. Давай, сбрасывай нас всех троих, всё равно с голоду подыхать. Но расплата тебя найдёт! И всех твоих паразитов! Глистоподобные твари!

У конопатого глаза стали квадратными. Такой отчаянной смелости он не ожидал. Сплюнув, он выдохнул самогонный перегар, заполняя им

наши легкие. Смотря в упор на меня, посиневший от самогона, он так меня и не узнал:

— А я тебя где-то видел... Сейчас вспомню, — но проспиртованные мозги никак не срабатывали.

— Ну, чего ты ждёшь, пьяная скотина?! Боров пучеглазый, тьфу на тебя! — и женщина прижала меня к себе.

— Ах ты сучка! Кто из нас скотина — ещё вопрос. Я в революции участвовал. Вот только Зимний не успел взять — без меня матросы постарались. Зато в Гражданскую отвоёванное имущество только по справедливости делил, пока какая-то мокрица не написала донос. Не расстреляли только потому, что у меня высокопоставленный покровитель есть. А ты, сучка, с кобелями связалась, когда война кругом. Ты вот и есть брюхатая скотина! — и его ядовитая речь перешла в вонючий подзаборный мат.

Конопатый скривился всей своей заживевшей рожей и со злостью хлопнул дверь. От моего жалкого вида и от храбрости беззащитной женщины у него, видимо, ёкнуло сердце. Вспомнил, что и он был мальчишкой. Да и мать же его родила человеком, а не насекомым. Очень много таких пролезли в партию и в гражданскую, и ещё до войны. А после победы ползли на брюхе, облизывая задницы активистов и секретарей, чтобы они написали им рекомендации. И что бы они сейчас ни говорили, сменив свою ослизлую кожу, перекусившись в другой цвет, все равно Бог шельму метит. И только люди, вступившие в партию на фронте, на передовой, глядя смерти в глаза, были идеалистами с чистым сердцем и открытой душой. В общем, победили самые лучшие, а управлять страной стали самые худшие. Карьеристы и приспособленцы. И эта зараза почти повсеместно заняла ключевые посты. До того доуправлялись и дорукводились доверчивым народом, призывая не поддаваться тлетворному влиянию капитала и буржуазной морали, что оказались на денежных мешках. Ради чего они и заползли в партию — сбылось. Вот и не выдержало мамоново сердце, корыстолюбие взяло своё.

— Послушай, политолог, философия — наука серьёзная, — и буквально из-под колёс вылез Черчел. — Держись крепче, а то упадёшь. Я смотрю, конопатый тебя не узнал. У него, у пьяного, извилины превращаются в червей, и мозги начинают давать сбои. Деньги губят лучшие идеи, если они не служат интеллектуальному развитию общества, его гуманности и библейской справедливости. Надеюсь, ты это понимаешь?

— Да! Но заповеди Христа не каждый может исполнить до конца.

— Правильно, москвичонок, мы и пользуемся этими пробелами. Но сам Воланд и всё его окружение, включая и меня, все мы знаем, что лучше программы, отражённой в заповедях, на Земле нет. И она совершенно не имеет недостатков, которых в человеческих прожектах хоть пруд пруди.

И товарищ Ленин был совсем не дурак. Его партия, как и все, имела свою программу. Но Ленин знал все дырявые места человеческих душ. Он обладал почти воландовским прозрением. Поэтому, не думая ни одной минуты, вождь внес в устав партии пункт «О строжайшем партийном максимуме». То есть если ты — большевик, то какую бы должность ты ни занимал — председателя совнаркома или наркома, или ты просто рабочий, или, может быть, красный командир — заработную плату выше партийного максимума получать член партии не имел права. Ты — большевик, борец за идею, за всенародное счастье, а не за деньги! Например, три тысячи рублей максимум, а беспартийный, выполняющий ту же работу и в том же объёме, получал, сколько заработал, например, семь тысяч рублей. Так что, если бы не был отменён партмаксимум, приспособленцы и оборотни никогда бы не полезли в партию. Вот ведь как просто, когда без демагогии. И, скажу прямо — я не устаю это повторять, но это почему-то плохо усваивается, даже конопатый так до конца не усвоил мои мысли — дореволюционные капиталисты России и всех западных стран, включая Америку, были упорными тружениками и всё создавали с нуля, как говорится, на голой земле. И поэтому имеют какую-то совесть или хотя бы её признаки.

— А резервации, а уничтожение коренного населения, а узаконенные рабы?!

— Всё-то знаешь, москвичонок! Но я говорю не о становлении государств, я говорю о капиталистах. Сравниваю прошлых с современными горлохватами, которые, используя своё служебное положение (а это и есть ничем не прикрытая, лежащая на поверхности коррупция), вся эта партийная верхушка, окруженная смердящими прихвостнями, захапали всё, что сотворил народ за столетия. Все общенациональные ресурсы, все сокровища, бесстыжие, прикарманили. Посягнули на святую частную собственность, заработанную честным трудом, конфисковали деньги, не принадлежащие им. Оказалось, что частная собственность неприкосновенна, что она святая, но только та, которая принадлежит им. Вот, где беспредел цинизма и разгул подлости и демагогии. Всё оболгали, обгадили, да ещё со своими свиньячими правилами выпендриваются перед честным миром. Каждый хряк требует, чтобы его величали боровом. Его мозги настолько заплыли жиром, что он даже не понимает, что это одно и то же. Не понимают эти псевдоборцы за народное счастье, что сами давно превратились в трупных червей! Они же, хотя и оборотни, но всё равно коммунисты, у каждого на желчном пузыре клеймо: звёздочка с рублём по середине — это чтобы сразу на сковородку. Воланду легче так узнавать всю эту шушару.

— Получается, если вернуть партмаксимум, сразу будет видно, у кого есть совесть, а у кого нет, — заключил я.

— В общем-то, ты прав, москвичонок, но если ввести партмаксимум, все партии разбегутся. На одних идеях далеко не уедешь... Держись креп-

че за поручень и не усни, а то упадёшь под колёса, а твоё время ещё не пришло.

И он скрылся в зеленоватом дыме паровоза.

— Не ус-ни, не ус-ни, — выстукивали колёса.

Но я уже проваливался в глухую массу, во что-то непроницаемое и непонятное, в совершенно бесцветное.

— Не ус-ни, не ус-ни, — стучат колёса, и сквозь этот стук я слышу шаги часового, охраняющего эшелон с танками на самой крайней платформе станции Мытищи, откуда мы с моим дружкой Колькой Седым три раза бегали на фронт. Не всегда удачно, правда...

Про первую неудачу даже не хочется вспоминать. А про последние две расскажу.

В подмосковных Мытищах ремонтировали подбитые танки, после чего грузили на платформы, покрывали брезентом и отправляли на фронт. Много раз мы наблюдали, как очередной эшелон со скрежетом трогался с места, и явно перегруженный паровоз, пыхтя и ругаясь, тянул эту массу брони. «Вот она, прямая дорога на фронт», — решили безоговорочно мы. Один план побега на фронт заменялся другим. Желание наше было непреодолимым. В этот раз, пробравшись под платформами, мы незаметно залезли под брезент, прижались к гусеницам танка и стали ждать. Прошло не менее часа. Потом ещё часа три. А по нашим разведывательным наблюдениям, полностью сформированный эшелон стоял не больше двадцати — тридцати минут. Фронт ждёт! Каждая минута дорога. В чём дело? Я не вытерпел и выглянул из-под брезента. Прямо на меня смотрели удивлённые глаза красноармейца. Он, немного растерянно и слегка заикаясь, произнёс:

— Ты что там делаешь? А ну вылезай!

Мы с Колькой подчинились беспрекословно.

— Да вас там двое? А может, ещё кто-нибудь есть?

— Больше никого. Разрешите нам остаться. Нам на фронт надо.

— Ещё чего. Дом-то хоть у вас есть, или вы бродяги бездомные? — спросил боец.

— Есть, — понуро ответил я.

— Итак, пацаны, приготовились, по команде «Раз, два, три» чтобы духу вашего здесь не было... Раз!..

Ну, нас, конечно, как ветром сдуло.

А во второй раз терпения хватило, да и опыт уже был, и мы, как нам казалось, до самой передовой добрались. Кругом дым, огонь, танки почти рядом копят — и наши, и с крестами. Кругом трупы оккупантов валяются. А наших бойцов убитых не видно, как мы потом узнали, наших в первую очередь подбирали и закапывали. Запах какой-то сладко-прокисший, дышать невозможно. Но мы уже чувствовали себя настоящими фронтовиками, поэтому крепились. Навстречу шла группа бойцов.

— Вы что, из местных, сорванцы?

— Нет, мы из Москвы, нам надо с вашим командиром поговорить.

— Это можно, — сказал один из них, — пошли! Держитесь точно за нами. Не отставайте и смотрите под ноги. Ни на какие предметы не наступать: на проволочки, верёвочки, баночки, и вообще бдительность должна быть. Понятно?

— А что, сапёры ещё не поработали? — спросил я.

— Смотри, какой знаток, — улыбаясь, сказал боец.

— Не будешь знать, — усмехнулся я, — с миной породнишься, она из тебя месиво сделает. Это ж мина. В сорок втором, когда псов отогнали от Москвы, у моего соседа Ваньки Лобикова обе руки оторвало. Так это ж маленькая лимонка была... Решили поиграть в «держи — лови», так что знаем, чёрт нас дёрнул. А перед этим, соблюдая военную тайну, натаскали после боя танковых снарядов и устроили под домом секретный арсенал. Мало ли что? Бить фашистов при любых обстоятельствах нужно уметь везде... А тут дядя Яша после ранения на несколько дней приехал, ну, мы ему, как фронтовику и рассказали о нашей тайне. Он нас похвалил и вызвал военных. Всё для фронта! Всё для победы! Служим Красной армии, — отрапортовали мы под пионерский салют.

— Да они настоящие тимуровцы, правда, Валер?

— Орлята! С такими никакие буржуины не страшны. Только вот с гранатой по глупости заигрались, жаль парня, — печально заключил Валера и, бросаясь на землю, закричал: — Ложись!

И тут же заухали миномёты, несколько мин разорвались совсем рядом, опалив нас жаром, заставляя сравняться с землёй или, ещё лучше, стать кротами и залезть глубоко под её спасительные своды.

— Бьют, как всегда, исподтишка, вон из той рощицы. Рыцари заплечных дел! Сейчас им устроят очередное побоище, — спокойно произнёс Валера, и, как по его команде, над нами завывали летящие снаряды. — Ну вот, я же сказал.

В какое-то мгновение берёзовая роща превратилась в огромный костёр, окутанный зеленовато-чёрным дымом. Наступила пронзительная, онемевшая от глухоты тишина, но мы так и не решились встать.

— Валер, а орлята всё ещё за землю держатся и едят её, уж очень она вкусная, — смеялись бойцы, стряхивая с себя провонявшую палёным, обгорелую пыль.

— Вы что, на этом месте решили есть землю до самой смерти? — подхватил Валера. — А ну, встать! Осталось рукой подать. Видите одноэтажное здание?

Там мы и познакомились с настоящим фронтовым командиром, полковником. Лицо его было обветренным и, как мне показалось, покрыто несмываемой гарью, голова перевязана бинтом, на котором были видны небольшие кровавые пятна. Мы смотрели на него, как завожжённые.

— Товарищ командир, у вас кровь на перевязке выступает, — взволнованно сказал я.

— Мелочь, осколком поцарапало, — как бы оправдываясь, сказал он. — Кошки в детстве посильней царапали. А вы-то что здесь делаете? Вас дома не потеряли? Сейчас могли бы под мины угодить!

— Да чудом пронесло, товарищ полковник. Из Москвы они, — наперебой заговорили бойцы. — Настоящие орлята. Мы сперва думали, что местные.

— Ну, как там столица поживает? — серьёзно спросил полковник.

— Салютует, — торжественно сказал я. — Мы первый салют сами видели, как бабахает! Как новогодние ёлки в небе зажигаются! Такое разноцветие. Все люди от радости чуть ли не плачут. Скорее бы победить эту нечисть, вот тогда будет салютик — звезды позавидуют!

— Ну, зачем пожаловали? Чей наказ выполняете? — строго спросил полковник.

— Да мы сами. Возьмите нас под своё командование! — чуть ли ни в один голос завопили мы.

— Сперва накормить надо, голодные, небось?

Мы молчали.

— Заходи в дом! Сержант, быстренько, вкусенького из трофейных запасов.

— Есть вкусенького! А может, за них по стопусеньке «португальского»?

— Это лишнее.

— А амэрикэн свиной тушёночки?

— А вот это само собой, — заключил полковник.

Мы вошли в дом.

— Ребята, — начал он издали, — скажу вам прямо, вы мне и, по-моему, моим орлам понравились. И орлята нам, конечно, пригодятся. Но есть главный штаб, а он не здесь, как вы понимаете, его рядом с фронтом держать нельзя. Он поближе к тылу. Если штаб разрешит, а я думаю, что он разрешит — я им рапорт напишу с просьбой разрешить — мы вас с удовольствием возьмём, в форму оденем, оружие выдадим после присяги. Идёт? Показался запыхавшийся сержант с большой коробкой съестного. Мы, как заблудившиеся волчата, набросились на весь этот дефицит, так как не ели почти двое суток. «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя...» — почему-то сейчас, когда я уже доживаю отпущенные мне годы, зазвучали в моём сердце эти великие строки Михаила Лермонтова.

Мы, немного расстроенные, но с надеждой и желанием, сели в эшелон с подбитой техникой. Сопровождали нас всё тот же сержант и ещё один боец. По-моему, Витей его звали. Он нам всё показывал фото.

— Вот, — говорит, — москвичка прислала, а обратного адреса в письме не было. Забыла, наверно. Красивая, правда?

— Конечно, забыла, отправить торопилась. Она обязательно ещё напишет, и следующее письмо обязательно будет с адресом. Я в этом уверен.

Сержант, посмотрев, сказал:

— Да, красота опасна для нас, мужиков. Пропасть можно.

— А скоро мы приедем? — спросил я.

— Не вешать носа! Орлята! На всех хватит эсэсовцев, их ещё пруд пруди, — пошутил он. — Вот получим разрешение — и обратно добывать гады!

Поезд, медленно и осторожно поглядывая на небо, постукивая колёсами, вёз нас, как нам казалось, к главному штабу. Мы уже ехали несколько часов, проезжая мимо полувзорванных домов и пепелищ, на которых сидели одинокие старухи, закутанные в мешковину и рогожку. Поезд шёл медленно, и я отчётливо видел среди морщин глаза, наполненные страданием и надеждой, верой, которая и приводит к справедливой победе.

На какое-то мгновение меня озарила память, и я увидел церковь моего детства, ту самую, без креста, которая стоит на ветру под дождями и снегом, как изнасилованная и обезображенная девушка с отрубленной головой... В слезах сгорбленных трудом и горем старух отражались глаза, снова смотрящие в мою душу, как в детстве с купола разграбленной и закрытой церкви.

Одна старушка держала полусгоревшую икону Казанской Божьей матери. Да она и сама как бы сошла с этой иконы.

Я вспомнил огромный плакат на Белорусском вокзале. Седеющая женщина в окладе из трёхгранных чернеющих штыков: «Родина мать зовёт!». Русь-матушка, сколько нашествий ты выдержала, унижений и мародёрства!.. Но твоё сердце всегда оставалось открытым для прощения и бескорыстной помощи побеждённым супостатам. И как не вспомнить Москву 1944 года, Садовое кольцо, по которому шли под конвоем полки захватчиков. Победители европейских стран, кандидаты на мировое господство, так называемая голубая кровь, сжигающая красную в печах концлагерей, кровь женщин, детей, раненых красноармейцев, ослабевших от издевательств, таких же пленных, какими они были сейчас. Даже не верится, что вот эти подавленные и угрюмые лица кричали: «Зиг хайль!», молились на пресловутого фюрера, кричавшего, что после победного парада немецких войск на Красной площади 1941 года Москву нужно стереть с лица Земли, а на её месте сделать озеро с голубой водой, обрамлённое итальянским мрамором. Тогда они мечтали запустить туда золотых рыбок, чтобы фюрер и его буржуазно-националистическое окружение ловили их и бросали на мрамор за ненужностью: ведь есть же там нечего — одна красота, а она раздражает уродцев, не имеющих своего лица. И рыбы, задыхаясь, смотрели бы на самодовольных палачей

всегда открытыми глазами и до самой смерти не смогли бы понять, зачем так часто торжествует жестокость.

«Спортивный интерес и азарт» — сказали бы сейчас безликие шоумены, рекламируя новоявленных любителей безнравственных и до жути дебильных развлечений. А ведь в этом и зарождаются ростки фашиствующего цинизма и желания поработить всё живое, в том числе и своих собратьев, всех «получеловеков»: русских, узбеков, поляков, англичан, латышей, эстонцев, литовцев, белорусов, украинцев, грузин (этих особенно — Сталин из этой же породы) — да, в общем-то, всех, и даже непородистых немцев превратить в бессловесных рабов. Ну а евреев, цыган, молдаван и прочий сброд уничтожить или, экономя пули и топливо для печей, топить и травить или, ещё лучше, просто закопать живыми в землю... Я смотрел на понурые лица несостоявшихся победителей, на железные кресты офицеров, наверное, полученные за храбрость, и думал, сколько же берёзовых крестов они оставили на полях России! Если бы столько же на западе! По-видимому, у запада и память поэтому коротка.

Запад гордится именами В. Гюго, Дж. Боккаччо, Ф. Рабле, Данте, И.-В. Гёте, Ф. Шиллера, И.-С. Баха, Л. Ван Бетховена, да и непревзойдённый Моцарт родился на западе. Боюсь, что все эти великие имена останутся в легендах и сказках, а сама жизнь будет признавать только выгоду и изощрённый обман...

А пока по Садовому кольцу шли несостоявшиеся хозяева нового порядка. Почти у всех в глазах затаился страх и нескрываемое любопытство. Я обратил внимание на одного из пленных. Судя по форме, он имел высокое звание, на его кителе чернели рыцарские кресты и другие нацистские ордена, в ястребином глазу сверкал монокль. Ну, прямо Кейтель! Фашистский фельдмаршал. Он очень зло и с явным пренебрежением смотрел на меня. Ну волчице с выбитыми зубами, и только. Сперва ненависть переполняла моё сердце, как, наверное, и у всех москвичей, смотревших на эту массу крысиного цвета. Люди стояли на тротуарах нашей дорогой непобеждённой столицы. В гордом молчании я чувствовал сострадание. Кто-то бросал пленным сухари и махорку, а ведь многие уже с первых дней войны были вдовами, сиротами и матерями погибших сыновей и дочерей.

Придя домой, я написал вот это стихотворение, было мне тогда четырнадцать лет:

Не выстоять, не победив себя.
Ведут участников триумфов и парадов!
Зиг хайль! Германская земля!
Ведут захватчиков Москвы и Сталинграда.

Ведут захватчиков! — Победное «Ура-а!» —
Несчастных оккупантов Рейха.
Но не злорадствует Москва,
И конвоирам не до смеха,

И не потеха — скорбь в глазах:
 Все похоронки не от Бога.
 И осознание — не страх —
 Войной сплочённого народа.

Народ измученный молчит,
 Врагов пленённых созерцая.
 Россия никогда не мстит,
 Она поверженных прощает.

Не зная, как и чем прельщать,
 Как издеваться, наслаждаясь,
 России легче раздавать,
 С врагом прощённым обнимаясь.

Чтоб знамя мира водрузить,
 Спасти захватчиков от мора,
 Кто может, помня зло, простить
 Несправедливость приговора,

Допросы, пытки и расстрелы,
 Жестокость глупости земной?
 Идут захватчики, не веря,
 Что встретились с живой Москвой.

На пленных с горечью смотрю.
 Их ждёт Германия, страдая.
 Я горд за Родину мою —
 Россия выстоит, прощая.

Поверженные всегда молча просят о сострадании. «Всех этих пленных ждут-не дождутся дома, — думал я, — а они здесь, среди нас, безоружные, защищённые нашими бойцами от непредсказуемого народного гнева. Господи, пусть идут с миром домой и не сходят больше с ума, и заслуженно гордятся своими гениями, которыми мы гордимся не меньше, чем они». Сейчас я удивляюсь, как в четырнадцать лет я умудрялся философствовать и, сопоставляя, делать выводы? Я смотрел, как за беззубым драконом, ползущим по Садовому кольцу, медленно ехали поливальные машины и смывали следы нацистских захватчиков. И я уже тогда точно знал: народ, который умеет прощать, забывать, не помнить зла и от всей души помогать поверженному супостату выбраться из кровавой трясины — такой народ непобедим!

Я стоял и смотрел вслед поливальным машинам. Струи воды под давлением бились об асфальт и становились сверкающими капельками. Я собрался уходить, но остановился и стал разглядывать отморозенный и подбитый хвост уползающего дракона. Из водяного потока и зарождающихся бликов радуги показался силуэт человека. На его плечах блестели

серебряные кружева погон. «Да это же фашистский генерал! Он что, решил сбежать?» — мысли сменяли одна другую, и я не знал, на какой остановиться. А генерал уже стоял передо мной, держа руку в нацистском приветствии. «Только что вышел из воды и абсолютно сухой», — думал я.

— Зиг хайль! И пусть победа временно не за нами, но я всё вижу и всё слышу и появляюсь, когда захочу.

Черчел! Опять я его не узнал.

— Да, народ велик своим благородством, — продолжал гнусавить Черчел, — и не только им. Хотя благородство и великодушие, бесспорно, имеют первостепенное значение. Москвичонок, то, что я расскажу, ты ещё не знаешь. Когда на оккупированной территории эсэсовцы решили открыть целый городок домов терпимости для воинов Вермахта, это решение было принято на ура в первую очередь самими эсэсовцами, и они немедленно приступили к облавам. И днём, и среди ночи врываясь в дома, они хватали девушек от семнадцати до двадцати трёх лет, ничего не объясняя, сажали в машины и увозили в госпиталь. Чтобы стать забавой и потехой спятивших от шнапса и крови немцев, девушки должны были пройти полное медицинское обследование. В результате врачи, да и все нацистские медики, были поражены, когда установили, что все девушки ещё не имели близости с мужчинами и что все они, как одна, целомудренны и чисты. Когда об этом доложили командующему группой войск, «Майн Гот! — сказал он и, задумавшись, добавил: — К сожалению, я начинаю понимать, почему мы всё больше и больше переходим к обороне, а иногда и просто бежим. Народ, имеющий такую высоко нравственную душу, непобедим». И он совершенно прав, — заключил Черчел. — Я это знаю из истории. Развращённый и лишённый стыда народ, живущий без комплексов, только для удовлетворения своей дикости, обречён! А ты всё вспоминаешь свои поездки на фронт. Память — это хорошо! Гут! Она не даёт человечеству окончательно стать скотообразным млекопитающим. А вот и твой эшелон! Зиг хайль!

И, вскинув руку в приветствии, он исчез.

Мы с Колькой почти не спускали глаз с неба. Эшелон двигался неторопливо. Он, как и мы, был осторожен, и паровоз не давал никаких гудков, только из трубы валил черноватый дым. Но облака от этого не становились черней, они всё так же белели на нежно-голубом небе. Сержант, прикрывая ладонью глаза, следил за линией горизонта. Ещё ничего не видя, скорее всего, исходя из опыта и наития фронтовика, он командовал:

— Боевая тревога!

И не зря. Из-за облаков появился мессершмидт. Наш паровоз протяжно и обречённо завыл и начал останавливаться. Сержант закричал:

— В лес, скорее, пацаны! Сейчас гадина начнёт испражняться!

— Мы уже приготовились к прыжку, но самолёт пролетел на бреющем полёте, сбросил одну бомбу и улетел, не забыв помахать крыльями... От взрыва на нас хлынул удушающий жар, и несколько осколков, просвистев между нами, врезались в заднюю стенку платформы.

— Попугать решил, стервятник. И крылышками помахал, шутник и затейник, — ворчал сержант. — Чтоб тебе с Покрышкиным в небе встретиться, мразь. Он бы тебе показал, что такое настоящий русский асс!

Поезд стал еле-еле набирать скорость.

— Ну, скоро мы доедем? — спросил я и посмотрел на Кольку.

— Немного осталось, — сказал сержант как-то неуверенно и отвёл глаза, — Вот сейчас будет Узловая. Там во всём и разберёмся.

И вдруг меня осенило. И как я забыл про эту Узловую? Там на каждом углу патрули с карабинами. И главное, там не штаб, а комендатура, из которой мы с Колькой совершенно случайно смогли сбежать. Комендант орал, хоть и не рыжий, но помоечных слов не стеснялся:

— Вы что, дети врагов народа, путаетесь у нас под ногами? Были бы постарше, я бы вас под трибунал отдал. Или, по законам военного времени, просто в расход, чтобы лишней бухгалтерии не было. На фронт захотели! А может, за линию фронта? Полицаям помогать... Вот у тебя, — и он со злобой посмотрел на Кольку, — отец — власовец, ведь так? Признавайся, сукин сын!

— У него отец погиб под Москвой, — закричал я, — а старший брат сгорел в танке на Курской дуге!

— Ладно врать-то, ещё скажешь, герой Советского Союза.

— Нет, они даже по медали «За отвагу» не успели получить. Вместо медалей похоронки пришли.

Колька заплакал, а я, глотая слезы, смотрел на коменданта. «Типичная тыловая крыса, наверняка, бывший торгаш и спекулянт. Из рыжего в серый перекрасился», — с ожесточением думал я. Комендант, прищутив свои крысиные глазки, обратился ко мне:

— Ну, у тебя-то уж точно в роду были вредители. Ну, скажи, не бойся, ты ещё малолетка. Я ведь всё равно тебя насквозь вижу, я практик. Знаешь, сколько я врагов замаскированных переловил? Когда пришёл к нам Ежов, нарком наш бывший, я сразу понял, что он враг, вот только не решился рапорта написать на имя товарища Сталина. А наш великий вождь и учитель, как гений, и сам быстренько во всём разобрался... Ну, в общем так. Начальник патруля Прогибов!

— Слушаю, товарищ комендант!

— Посадить пока в столовую эту шантрапу, а попозже я ими займусь. С протоколом, как положено по уставу. Понятно?

— Так точно, товарищ комендант.

— Выполнять.

— Есть.

И нас повели в столовую, где пахло прокисшими щами и бегали сородичи коменданта — полуголодные крысы. А одна сдохла на наших глазах, пискнула и сдохла. Есть нам, конечно, не дали. Крысьё гуляло, как дома, поглядывая на нас голодными глазами.

— Колька, или мы убежим, или нас сожрут.

Бог помог — убежали.

Поезд стал сбавлять скорость. Я взглянул на сержанта, на Витю и представил себе, как они нас сдадут коменданту и как тот защёлкает зубами от радости. «Домой их надо отправить, — скажет сержант, — в Москву». «Проверим и отправим. На этот раз не убегут, они у нас здесь уже отличились». Я понимал полковника, сержанта и бойцов этой передовой части, и что там рыжих не было и не могло быть. Передовая... Берегли нас старшие от войны и неминуемой смерти. А мы всё рвались в бой, хотелось лично познакомиться с этой беззубой ненасытной каргой и сказать ей, что мы, преодолевая страх, презираем её за несправедливость, за то, что она не различает, кто за добро, а кто за зло. Спасибо взрослым. «Большое видится на расстоянии», — как точно сказал наш великий поэт Есенин!

А вот и Узловая.

— Седой, вариант «А», — прошептал я.

— Зачем? — спросил Колька.

— Потом объясню.

Это был наш условный код, который обозначал боевую тревогу, и что надо бежать, не смотря ни на что.

Когда поезд остановился, мы сошли на рельсы соседнего пути. Подалеже стоял санитарный состав с красными крестами. Из-под вагонов вылез знакомый комендант. «Наверное, по рации договорились», — решил я. Все продумали, но не учли нашей решимости, и что в отчаянии мы способны на все. Комендант уверенно, со своей усмешечкой и двумя патрульными направлялся к нам. Сержант с широкой улыбкой смотрел на коменданта:

— А вот и посредник, обещал нам помочь. Ему любой начальник поезда не откажет, и даже машинист. Надёжный человек, кадровик, ещё до войны был военным. Говорит, рвется на передовую — не пускают. Одним словом, настоящий патриот.

Мы замерли. Седой резко крикнул:

— Готов!

И мы бросились бежать. Санитарный поезд заголосил и поехал. Мы едва успели заскочить на подножку.

— Куда же вы?! Остановитесь! — кричал сержант, но за нами не бежал.

Зато комендант оказался изворотливым и ловким.

— За мной! — крикнул он и прыгнул на подножку предпоследнего вагона.

Патрульные бежали, как борзые, видимо он их держал в собачьих условиях и применял для воспитания не только угрозы, но и арест без доволствия, который с лихвой заменял кнут и арапник. И всё равно патрульные едва-едва успевали за ним. Несколько секунд, и мы с Седым были уже на крыше. Комендант полез за нами.

— Стоять! Стрелять буду! Стоять, паскуды, отпрыски врагов народа! Стоять! — и он выхватил свой пистолет.

А мы мчались, как угорелые, прыгая с вагона на вагон. Поезд все больше и больше набирал скорость. Как назло, мы бежали против его хода, и не видели, что приближается мост. У меня что-то ёкнуло, и я поджал голову — стальная ферма моста промелькнула надо мной... Я был в ужасе: Седой бежал предо мной, я видел его спину и голову, над которой развевались волосы, белые как лён, поэтому и звали его Седым. Я орал:

— Мост! Мост! Ложись!

Он ничего не слышал. Даже крысичий комендант остановился и стоял, как истукан. Мост неумолимо надвигался. Седой был выше меня и старше на год. Я орал, но мои вопли пропадали в шуме поезда.

— Седой!

Но он не слышал и бежал навстречу своей смерти. Я упал на колени, потом лёг на крышу и от бессилия, что я ничем не могу помочь другу, зарыдал, кусая в кровь губы...

Страшного удара я не слышал, но ощутил всем телом и увидел, как Седой падает с поезда и бьётся о запасные рельсы, лежащие штабелем возле путей. Серая жидкость с кровью и с осколками от костей плескалась на крыше прыгающего вагона...

Почему я остался жив? Почему меня не сбilo вместе с ним? Почему он так далеко убежал от меня? И почему мост ждал только его? Меня же тоже он чуть-чуть не зацепил — не хватило, может быть, одного сантиметра. Не дорос ещё, видимо, до своей смерти...

Сквозь свист обжигającego ветра я расслышал слова:

— Не в росте дело, жизнь предъявляет счёт каждому в свой час, вот только не всем дано его оплатить, и банкротам тогда не до потехи: остаётся одно — оплакивать загубленную жизнь и ждать смерти. Твоё время ещё не пришло. Мужайся. Всё ещё впереди. А я везде и во всём...

И голос Черчела захлебнулся в протяжном вое паровозного гудка.

— Но это жестоко! — закричал я. — Так жить нельзя! Ты слышишь, Черчел! Я не хочу в это верить! Скажи, что всё это ложь! Ты слышишь?!

Но ветер молча сушил слёзы на моём лице, обдавая меня могильным холодом.

Оцепенев, я сидел на корточках. Не веря своим глазам, я увидел, как комендант, махнув рукой, засунул пистолет в кобуру и полез с крыши на подножку. Больше я его не встречал никогда. Наверное, на первой же остановке он сошел и всю злость сорвал на своих подчиненных. А я ещё долго ехал на крыше, глотая горечь дыма и слёз.

На ближайшей станции мне повезло. Подошёл встречный пассажирский, и я сумел под одним из вагонов залезть в «собачий ящик». Этот поезд и привёз меня в Москву. Ещё в электричке я начал гадать, кто дома и как встретят горе-фронтовика? Прочитали ли записку, которую мы написали с Седым перед нашим рейдом на фронт? Не изменилось ли что? Здорова ли мама и сестрёнка? Все ли на месте?..

С сорок первого года у нас жила семья из осаждённого Ленинграда. Мы их приняли безоговорочно, с радостью, что сможем хоть чем-то помочь. Их было пять человек: бабушка, мать и трое детей — все три девочки. Им очень повезло: они буквально в последние минуты уехали из Ленинграда, поезд едва успел проскочить перед раскрытой пастью немцев, и мертвое кольцо сомкнулось. Два самолёта попытались разбомбить состав, сбросив несколько бомб. Но Бог миловал: чушки пролетели мимо и рванули почти рядом. Осколки повышибали стёкла. Девчонки успели отскочить и залезть под нижние лавки, это их и спасло. Стервятники ещё раз спикировали, стреляя из пулемётов. Видимо, ассы Геринга очень расстроились, что дали маху, и не стали тратить остатки боекомплектов на этот залатанный, неказистый паровозик, тянувший наскоро сформированный состав из товарных платформ, к хвосту которого был прицеплен старенький пассажирский вагон.

Всё это мне рассказала Вера, самая старшая. А было ей тогда лет девять. Вторую, с тоненькими косичками и голубыми глазами, если не ошибаюсь, звали Надежда, а третью, точно помню, Любовь. Бывает же так. После войны мать с этими милыми существами уехала в Ленинград... А бабушку мы схоронили и даже отпели, уж очень она просила. Мы собрались с духом, да так и сделали.

Как сейчас вижу мою добрую, всегда беспокойную, переживающую за всех маму. У нас в соседях жили три одиноких старика, и все трое беспощадно пили. Один с горя: сына единственного под самой Москвой потерял — пуля навывлет через сердце прошла. У второго жена с дочкой красавицей под бомбёжку попали — тоже один остался. Ну а третий из этой горемычной троицы аж с тридцать седьмого года пил. Жену и двух его дочерей расстреляли, а его почему-то не тронули. Может, потому что всё бросил и уехал. Об этом шёпотом говорили, что заговор был, чуть ли не самого Сталина хотели убить. В общем, пила эта троица. Весь свой дешёвенький скраб на самогон меняла. А мама говорила: «Как тут не запьешь? Какая душа выдержит, если на неё одну столько навалилось?» В мороз сорокаградусный идут они пьяные, как по расписанию, один за другим. До своего дома идти далеко, силы на исходе, упадут и попластунски к нашему дому, поближе к калитке. Знают, что Фаина Петровна, моя мама, мимо не пройдёт, с горем пополам, но затащит их в дом, бросит на них телогрейки и будут они спать до утра, пока не протрезвеют. Да, мою маму уважали и любили, все её хвалили и даже восхищались, и мне доставалось в тёплых лучах погреться.

Девчушки наши, ленинградочки, худющими были, страшно смотреть. Одни глаза, совсем не детские, без всякого укора смотрящие на наш несовершенный мир. Мама всё старалась их подкормить: где картошки гнилой выменяет на крепдешиную косынку, а то и бидончик молока заработает и всё мне и девчонкам отдает. Стала донором. После сдачи крови ей давали обед из трех блюд, ещё шоколад, консервы какие-нибудь. Она всё приносила нам.

— Мама, а ты?

— Я не голодная, — всегда был один и тот же ответ.

А мороз был тогда — птицы на лету, обледенев, падали. В доме было порой холодней, чем на улице. Девчушки наши, да и все мы, мёрзли. Никогда не забуду, как мама закутывала нас в одеяла, да ещё и половиков сверху навалит. Девчонкам — варежки на ноги. А самой маленькой — свои снимет и наденет, засунет её руки в шапку и дует на них. И ведь согривались мы от её забот и душевного тепла. Да, моя добрая, милая мама давала мне, сама того не зная, уроки, которые, как мне кажется, я усвоил на всю жизнь. Я часто думаю, если мне удалось взять от матери что-то хорошее, ну хотя бы одну сотую часть, то я уже могу считать себя не очень плохим человеком.

Электричка немного опаздывала. Это было очень редко — дисциплина давала себя знать. Когда я появился на пороге, все оказались дома. Вот радости было! Девчонки бегали вокруг меня, как вокруг новогодней ёлки.

— Сынок, — неожиданно спросила мама, — а Коля Седой приехал?

— Пока нет... — и боль, на какой-то момент затихшая, снова стала рвать мне душу.

— Что-то случилось? — продолжала мама, смотря мне в глаза.

— Я очень устал, — едва сдерживая слёзы, сказал я и ушел в сарай от этой радостной суеты. В сарае я долго плакал, уткнувшись лицом в солому, лежащую в самом углу.

На другой день все узнали, что я вернулся. Мать Седого примчалась и прямо с порога:

— Где Коля? Что с ним?

В глазах у неё были отчаяние и надежда. Я молчал.

— Успокойся, Клава. Коля пока не вернулся, — сказала мама и повторила: — Пока не вернулся. Значит, обязательно вернётся. Скажи ей, сынок, что он вернётся.

Тётя Клава подошла ко мне.

— Вы что в записке написали? Чтобы мы не волновались, не переживали. Что вы будете вместе до конца и обязательно вернётесь. Где он? Вы же должны быть вместе до конца. А ты один. Почему ты один? Где Коля?!

Это был удар ниже пояса.

— Тётя Клава, успокойтесь, не плачьте.

— Ну скажи, где он, умоляю! — и она заплакала навзрыд.

— Не знаю, — лепетал я, — не знаю... За нами гнались патрули, я побежал в одну сторону, он в другую... Не знаю... Я искал его... Искал, но не нашёл.

И всё-таки полного доверия я так и не заслужил. Даже моя мать иногда спрашивала:

— Это правда, что вы с Колей побежали в разные стороны? Клава при встрече только об этом и говорит.

— Да я и сам переживаю, может, ещё вернётся.

— А ты сам-то в это веришь?

— Конечно, верю, — грустно отвечал я.

— Будем надеяться, сынок... Чуть не забыла — может на рынок сходишь за сухарями?

— Всегда готов, мама! — и отдал пионерский салют.

— Вот деньги, купи полтора килограмма, если останется сдача — купи спичек. Там в ряду крохоборов могут продать и одну спичку. Бери, на сколько хватит. И, пожалуйста, не вздумай переходить железную дорогу. Только через переходной мост. Договорились? И на рынке будь осторожен, ни с кем не связывайся, там через одного — аферист, бандюги всякие, спекулянты.

— Мам, не беспокойся.

И я пошёл на знаменитый в войну Пушкинский рынок. Туда съезжались не только из Подмосковья и Москвы — ехали из всех ближайших областей, городов и посёлков. Сельчане приезжали с раннего утра и держались с достоинством. Они знали, что в их мешках на подводах лежит бесценный груз в виде муки, отрубей и круп, а в некоторых была драгоценная гречка. Я всегда, проходя мимо, любовался на лошадей, распряжённых и привязанных к специальным стойкам. У каждой — по охапке душистого сена, которое они жевали и мирно смотрели на меня. А я невольно искал среди мужиков конопатого «новатора», как называл его Черчел. Меня всегда мучил вопрос: почему Черчел, явно ненавидя, иногда старается помочь? И потом, не верилось, что этот бессовестный конопатый тип, помимо гнусностей, ищет и прокладывает новый путь в стихосложении. В общем, на базаре я его так и не встретил. Время вяло свое. Состарился, наверно, до того, что только и может на печке лежать.

На рынке, так называемой толкучке, купить можно было всё, были бы деньги. Только боевые ордена и медали обменивались на золото, причем предпочтение отдавалось золоту, на котором стояла дореволюционная проба. За деньги, если покупатель был заинтересован, могли в самое короткое время изготовить орденскую книжку и другие документы. Из-под полы можно было купить латунную звезду героя, которая ни чуть не отличалась от настоящей. Очень ценились телогрейки и валенки. Буквально за пять-шесть килограммов муки или несколько буханок хлеба можно было приобрести пианино или рояль. Причём пианино стоило дороже — оно занимало меньше места. За полмешка картошки, если даже

она была подморожена, можно было выменять работу какого-нибудь прославленного художника. Толкучка жила по своим неписанным правилам. Всякие предсказатели с белыми мышами и белками, тянущими маленькие конвертики с судьбой, карты с игрой в «очко» и «два валета», «орёл и решка» на тарелочке, «попадись в петельку», «поймай шарик под колпачком», — и всё это называлось «ловкость рук и никакого мошенства». На самом деле все эти массовики-затейники были отпетыми мошенниками. В толпе ротозеев вокруг них шныряли щипачи, карманники высшей категории.

— Кому трофейная колода карт с мамзелями в чём мама родила? — скороговоркой проговаривал мужик в пилотке, оглядываясь по сторонам.

— Пирожки из зайчатины из партизанских лесов Белоруссии. Можно сменять на спирт, желательно, медицинский, можно на водку в удвоенной норме. Сивуху не предлагать.

— Костыли-самоходы трофейные регулируемые. Последний вопль германской науки.

Всё это я слышал и видел много раз. Толкучка была в полном разгаре. Я пролезал между торговцев, которые орала на меня. Через толпу бродящих покупателей пробиваться и надеяться на успех было совершенно бесполезно. Но у меня была задача, и я должен был её выполнить.

Вот они, наконец-то, долгожданные ряды с так называемой мелочью: махорка, семечки и заказанные мамой сухари и на вес и поштучно.

— Пришел купить сухариков? Подходи, пока ещё остались...

— Ты правильно сделал, что послушал маму и воспользовался мостом. Через железную дорогу ходить опасно, если даже не пришло твоё время, — обращаясь ко мне, сказал франтоватый мужчина во френче «а ля сталинка».

На глаза его была надвинута касторовая шляпа крысиного цвета, а френч украшали несколько орденов и медалей и две жёлтые полосы — нашивки двух тяжёлых ранений. Я насторожился: «Откуда он это знает? Знакомые мотивы». Но чёрный человек может жить в любом из нас. Почему бы ему не пожить во фронтовике, конечно, в тылу, а не на поле боя. «Он один, — подумал я, — наверное, рыжий всё-таки действительно где-нибудь на печке залежался. Не на фронте же он». Черчел снял шляпу и, помахав мне, сказал:

— Иди поближе, я тебе что-то на ухо скажу. — И шёпотом затараторил: — Толкучка изживает свой последний шанс. Товар не идёт. Хватают только трофейные швейцарские сигареты, американскую тушёнку, английский бекон и почти совсем не берут, даже по весьма сходной цене, взрослые игрушки. За три дня продали лишь семь пистолетов «Вальтер», с десятков автоматов и не больше дюжины противотанковых мин. Поспрашивай у знакомых, кому доверяешь, может, кто заинтересуется.

— Зачем?

— Как зачем? Для охоты, для самообороны. Да и ликвидировать кого-нибудь при желании — тоже немаловажно. А противотанковые гостинцы — чтобы глушить рыбу. Как жажнет! Только успевай собирать, пока она ничего не слышит... Правда, я лично ловлю только на крючок. Лучше всего на живца. Червь, как правило, полудохлый. Крючок — это всегда индивидуально.

И точно, он надел шляпу и поправил её набок, а я очень чётко увидел в его глазах зеленоватые круги с чёрными точками ползущих мух. «Черчел! Долго же я его не встречал...»

— А зачем меня встречать? — прогнусавил он. — Я всегда и везде хожу тенью за спиной твоего ангела. Я вижу, тебе запомнился конопатый новатор, наш непревзойдённый Барбаросик? Но почему ты решил, что он лежит на печке? Да, он продолжает на досуге сочинять, высасывая из пальца что-то новое. У каждого своя блажь. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало... А зимой-то и замёрзнуть можно, если не раздобудешь уголька или дровишек. Но для Барбаросика это не проблема, он незаменимый специалист по снабжению и распределению. Конечно, больше всего он любит распределять и делает это виртуозно. Он сейчас в ранге замминистра. Кому война, а кому — мать родна. Это не я придумал. Догадываешься, кто? Как догадаешься — скажешь. Только не вздумай прилюдно. Лучше всего скажи самому себе и забудь. Во имя самосохранения. А наш Барбаросик политически подкован на все четыре конечности, совершенно независим от надуманных предрассудков всяких гуманистов. Подбрасывает почти регулярно нашей загробной фирме, извини, я хотел сказать «огромной», деликатесы. Они кажутся вкусней, когда с номенклатурного стола. По его протекции и связям идёт оружие и всё, что запрещено законом. Феноменальные способности! Наборы пищевых продуктов, посланные опухшим от голода детям Ленинграда, все пришли на его адрес, под его личную ответственность. Тёплая одежда, обувь для круглых сирот также осели на его личных складах. Ну, о изворотливости его ты сам знаешь. Он же для начала всё-таки стал членом передовой гвардии рабочих и крестьян. Его чуть ли не в ЦК намечают. Ну это, конечно, не без моих забот... Я люблю заботиться о подающих надежды учениках... А ты за сухарями пришел?

— Мама послала.

— Ну что ж, будем покупать сухарики.

Подойдя к прилавку, мы увидели, что сухарей нет. Баба почти квадратной формы с напудренными в три слоя щеками, кокетливо поправляя цветастый платок, поклонилась Черчелу и сказала:

— Что это вы сегодня не появились с утра?

— Фёфёла, ты что, все сухари успела толкнуть? Под прилавком залётной травки не осталось?

— Все пусто!

— Труд облагораживает человека. Умница.

— Стараюсь. Пока вы с огольцом тренькали-бренькали, товар разошёлся.

— Феклуша, мы не бренькали, а вели серьёзный разговор. Ты же знаешь, что сухарики для отвода глаз. Оставила бы немного.

— В азарт вошла. Не могла же я торговлю остановить. Я же на процентах работаю. Покупателя нужно ублажать. Вы же сами об этом каждый день говорите.

— Ну хорошо, хорошо, Фефёлушка. Завтра с утра тебе подбросят свеженьких. Ну и залётной, как всегда.

Несмотря на обильную пудру, щеки у Фёклы были, как переспевшие помидоры.

— Ну, пока, Фёкла Тимофеевна!

— С утра жду товар!

Черчел повернулся и, не моргая, посмотрел мне в глаза.

— Не вздумай возвращаться домой по мосту. Лучше прямо по путям — посмотри по сторонам и бегом. Ты понял? Я дважды повторять не буду. Переходной мост был построен сразу после революции, мало ли что.

И в его глазах у чёрных точек сверкнули крылышки и тут же исчезли в зелёных зрачках...

— А что может случиться с мостом? Его конструкции чугунные. Да он ещё пятьсот лет простоит, — размышляя вслух, я совсем не заметил, как Черчел растворился в толпе. Только на какое-то мгновение я увидел, как в центре толкучки мелькнула его касторовая шляпа... Опять шуточки. Любит поиграть для потехи.

Фефёла, стараясь казаться очаровательно-женственной, подмигнула мне и заулыбалась, но перестаралась, и улыбка получилась до самых ушей.

— Приходи завтра, лучше к обеду. Я тебе сухариков оставлю.

И она стала лузгать семечки, сплёвывая шелуху через плечо. Я стоял расстроенный и недовольный. Фефёла ещё раз сказала громко, как будто отдавая приказ:

— Приходи завтра к обеду. Буду ждать.

На выходе с рынка, почти у самых ворот, на разноцветном деревенском одеяле, сшитом из лоскутов и расстеленном прямо на земле, лежало несколько икон. О двух из них я знал по рассказам бабушки. Это были Казанская и Иверская Богородицы. Они с неодолимой грустью смотрели на меня и на всю эту базарную толкотню. Я уже собирался уйти, когда мой взгляд остановился на иконе в золочёном окладе. На домотканом полотне я увидел лицо очень знакомого мне человека. Оно было до боли простым и спокойным. В его глазах отражалась синева неба... Казалось, что он вот-вот заговорит. Но он молчал... Я ворошил свою память и никак не мог вспомнить, где и когда я мог встретиться с ним... Наконец-то меня осенило, и в ясном небе послышалось громохание грома, засверкали не-

видимые молнии, и я увидел себя бегущим под струями неумолимого дождя. В этом дожде я увидел церковь моего детства... Рядом с краем одеяла, на котором лежала удивительная икона, на перевернутом ведре сидела старушка в вязаном платке с синими васильками. На лице её почти не было морщин, но было видно, что прокатилось по ней колесо жизни без всяких скидок и льгот, не щадя ни её, ни детей. Что продавать иконы на рынке нельзя, я знал с самого детства. Наверняка, ради детей решила продать. И, будто угадав мои мысли, она покаянно произнесла:

— Бог, надеюсь, простит, что иконы продаю. Да я бы никогда! С голоду бы умерла, но продавать бы не стала. Грех это большой. Внучата у меня. Мать, доченька моя, под Новороссийском погибла, санитаркой была. А отец — при освобождении Киева. Сиротки они. Я, помимо своих, ещё двоих отогрела. Бомба в дом попала. Дед с бабкой погибли, а ребята в это время с соседскими детьми в войну играли. В общем, Бог их спас. Теперь одной семьёй живём. Мальчишки — те покрепче, а девчонка всё болеет и болеет. Худенькая, одни косточки торчат. Ей шестой годик пошёл, а больше трёх никто не даёт. Да и мальчишки худобы, хоть и покрепче...

И она заплакала, не пытаясь вытирать слёзы. Потом встала на колени перед Богородицами и стала креститься, не замечая никого вокруг. Я онемел, слёзы сдавили гортань.

— Бабушка, я должен был купить сухари, но их разобрали. У меня есть немного денег, возьми! Я понимаю, этого мало. Но всё равно возьми! И скажи, как называется вот эта икона?

Бабушка встала с колен и стёрла платком слёзы.

— Это Нерукотворный Спас, внучек.

— Спасибо, бабуля, я вспомнил, мне мама рассказывала, как Он вытер лицо полотенцем и отдал его людям... А деньги? Возьми!

— Нет, нет, у тебя большое сердце, мальчик, но денег я не возьму. Ты сам на сухарях живёшь.

— Да нет, у меня есть мама.

— Но всё равно деньги я просто так не возьму.

— А сколько ты хочешь за икону?

Она перекрестилась и назвала цену.

— Больше просить — совесть не позволяет. Да ей и цены-то нет.

Денег моих явно не хватало.

— Бабуля, у моей мамы скоро День Рождения. Я подарю ей икону. Я знаю, она будет очень рада. Всё, я решил. Я должен! Никому не продавай, я обязательно куплю. Дома есть деньги. Я сейчас мигом слетаю, только не продавай!

— Да ты не бойся, я уже три дня как прихожу. Никто не берёт. Поглазуют и уходят... Подошел какой-то смурной: «Бабка, как обстоят дела с сырцом?» «С каким сырцом?» — говорю. «Бабонька, все говорят, что ты спиртом-сырцом по знакомству торгуешь». «Да что ты, Бог с тобой. Откуда он у меня в деревне?» А сегодня с утра пристал какой-то шалопай.

«Давай на махорку менять. Все твои иконы оптом возьму». «Да куда мне махорку девать?» «Продашь! Правда, она малость отсырела. Не хочу врать, кое-где плесень её одолела, а если промоешь и высушишь — вмиг расхватают.» «А что сам-то не моешь?» «Да у меня этой махры — полный завал. Давай за все иконы дам тебе килограммчика два?» Господи, еле от него отвязалась. И ещё какой-то чокнутый вокруг меня кругами ходил. Всё спрашивал, кто денатуратом торгует. А я откуда знаю? А он всё: «скажи, да скажи»... Совсем обезбожил народ. Да куркулей развелось, как блох, санпропускников не хвататет. Их теперь ни дуст, ни дегтярное мыло не берёт...

— Бабуля, только не продавай Нерукотворный Спас, я мигом!

И я побежал к мосту, чуть не забыв про совет Черчела. «Опять, наверное, шутит, чтобы посмеяться и потешиться. А если это настоящая правда, кому и как об этом сказать?!» Время действительно никого не ждёт, иногда не давая даже мгновения, чтобы подумать и всё осознать. И всё-таки нарастающая тревога заставила меня повернуть назад и, преодолевая напор встречной толпы, спуститься вниз. Подняв голову, я взглянул на мост: «Мало ли что!», и помчался по путям, перепрыгивая через рельсы. Добежав до крайнего пути, я обернулся и снова посмотрел на мост. Он был полон народа. Большинство с авоськами и мешками возвращалось с толкучки. Люди едва двигались единой массой, сжатые со всех сторон... И вдруг воздух как бы задрожал, донося ужасающий гул, земля под ногами качнулась, и я увидел перила моста, летящие с людьми на рельсы. Раздался страшный грохот. Лавина людей падала прямо под колёса электрички, остановить которую было уже невозможно. Раздался визг тормозных колодок, некоторые из них горели. Электричка, не переставая, гудела, но было поздно, стальные колёса беспощадно рвали на куски и в клочья несчастных людей. Я стоял онемевший. «Седой!» — проносилось в голове... И висящий над временем мост... «Зачем? За что? Столько женщин, детей, стариков... И всё это ради потехи... Почему не предупредил, не предостерёг?» И я почувствовал, как по спине поползли мокрицы и гнусные черви. И тут же за спиной я услышал знакомый голос.

— Это не потеха, а возмездие. Сколько раз они проходили мимо чужого горя, не видя ничего, кроме своего задранного носа. Равнодушие, доходящее до циничного эгоизма. А за это надо платить. И, пожалуйста, не переживай. Всё справедливо и честно. Детей младше двенадцати лет на мосту не было. И не вздумай распространять непристойные слухи! По большому счёту, за твои крамольные мысли и поступки... Не хочу договаривать. Скажи спасибо, что Воланд прислушивается ко мне. Думаешь, легко собрать равнодушных в таком количестве и в одном месте в назначенный час? А твоё время тоже придёт, оно уже движется на встречу. И столкновение неизбежно!

Раздался омерзительный смех.

— Но это жестоко. Это похоже на людоедство! — и я резко повернулся, готовый на всё.

Но вокруг никого не было, только ворон с крючковатым, как у стервятника, клювом сидел на шпалах и клевал червяка, который от мазута и железной пыли едва дышал. В зелёных глазах ворона отражался красный свет семафора. И я всё понял: он учит меня, чтобы я его узнавал во всём.

Подбегая к дому, я увидел маму. Она стояла у калитки. Кто-то уже успел рассказать про упавший мост. Она была бледной и растерянной, губы её дрожали.

— Ты не пошёл по мосту?

— Да, мама, не пошел.

— Когда гибнут на фронте — понятно, но здесь, в тылу... Никто не знает, где ждёт безглазая, сынок.

— Мама, ты ошибаешься. Кое-кто знает и даже поощряет всю эту бессмыслицу.

Фрагменты свалившегося на меня кошмара всплывали в моей памяти, не давая успокоиться и подумать. И вдруг я чётко представил, как бабушка заворачивает иконы и уходит. Я тут же очнулся и стал упрашивать:

— Мама, мне нужны деньги.

— А где сухари?

— Они будут завтра, но можно прожить и без них. У тебя вот-вот день рождения. Я хочу сделать подарок. Деньги, что ты откладываешь мне на костюм, дай хотя бы половину из них. Костюм подождет. Если честно, мне этот костюм не очень и нужен.

— Ну что с тобой делать, если ты сам идёшь на такую жертву... — И она достала из книжного шкафа шкатулку с деньгами, отсчитала ровно половину и сказала: — И в кого ты у меня такой?

По дороге я твердил: «Только бы не ушла, только бы не ушла!» Когда я увидел, что бабушка на месте и все иконы лежат на одеяле, радости моей не было конца.

За Нерукотворный Спас мать была благодарна до самой смерти.

Тётя Клава, мать Седого, приходила чуть ли не каждый день.

— Вестей никаких?

— Нет.

— А куда вы собирались бежать?

— На фронт, тётя Клава.

— Скажи мне прямо, он погиб? — с какой-то обречённой тоской спрашивала она.

— Нет, он побежал в другую сторону. Патрули остановились и побежали за мной.

Так и не набрался я, мечтающий стать фронтовиком, всегда защищающий младших и слабых, носящий в сердце девиз обожаемых мушкетёров «Один за всех, и все за одного!», мужества сказать матери правду.

Не хватило духа, не повернулся язык вынести этот нелепый приговор. Где-то там, в душе, я надеялся на чудо. А если он жив?.. Искалеченный, но живой, что тогда? Каждый день ждала его мать. Закончилась война, а она всё ждала. «Ну хотя бы письмо написал», — жаловалась она. Уверен, если жива, то и сейчас ждёт. Ничего нет на свете сильнее материнской любви. Да прости меня Бог, что я утаил эту страшную тайну. Он же знает, что я надеялся на лучшее. А камень этот так и остался в сердце. Так, наверное, и придётся таскать его до самой смерти вместе с крестом. Не знаю, почему, но знаю — за что.

И всё-таки мне повезло. Меня взяли на Военно-морской флот, стали называть с уважением добровольцем. Сбылась мечта моего детства. Я стал юнгой.

Нас везли на север, на Соловки, но в Архангельске мы сделали крутой разворот и оказались в разрушенном Ленинграде — городе-страдальце, городе-герое. А оттуда — прямо в легендарный Кронштадт. Дело в том, что школа юнг снялась с якоря и, распрощавшись с Соловками, в полном составе во главе с начальником, капитаном первого ранга Садовым бросила якорь в Кронштадте рядом с кинотеатром «Памяти трех эсминцев».

Повезло мне, повезло. Маринеско, торпедные катера, морские охотники, поход в Хельсинки на трофейном минзаге «Неман». У фашистов он носил имя Германа Геринга. Я, ещё салажённок, и вроде бы уже моряк. «Маринеско», — с уважением и восхищением произносили это имя моряки, Герои Советского Союза. Весь флот гордился его подвигом. На маленькой подлодке он пустил ко дну «Густава», такую громадину с цветом германского подводного флота. Рейх содрогнулся. Фюрер искушал самого себя. Главнокомандующий войсками, захватившими Европу, вне сомнения, выдающийся полководец осознавал, что война проиграна стратегически и окончательное поражение неизбежно. Всё понимая, он продолжал фанатически верить в победу Германии. Нет, он не был сумасшедшим, он начал сходить с ума только в осаждённом Берлине... В глазах народов мира он был воплощением самого великого и изощрённого зла, поэтому его стратегия и коварная политика были обречены...

После школы юнг я попал на базу Литке, служил на торпедных катерах — и очень этим гордился. В дивизионе служили Герои Советского Союза Старостин, Жильцов... Все катерники были обвешаны заслуженными наградами. Когда я ещё учился, к нам приезжал главком ВМФ Николай Герасимович Кузнецов. Ни один город-герой не обошёлся без моряков: если не корабли, то бесстрашная морская пехота. «Чёрная смерть», «Чёрные комиссары» — величал их, дрожа от страха, враг. В дивизионе нёс вахту наравне со всеми единственный вернувшийся из-под Сталинграда доброволец. Звали его Жора. Без всякой показухи он рассказал, как все поголовно рвались защищать Сталинград.

— Добровольцев отбирали строго. Чтобы меня, моряка, взяли в пехоту, я стал коммунистом. Город отстояли. В котле сварили целую армию полуголодных раков с оторванными клешнями.

— А пленных?

— Ну, знаешь, юнга, ты мне и вопросы задаёшь! Мы же не нацисты. Подкормили и отправили в тыл, подальше от фронта. После этого весь мир поверил, что Гитлеру действительно капут. В этом есть и моя заслуга, пусть маленькая, но моя. Всех ходивших в атаки поубивало или ранило, а я вернулся на катера без единой царапины.

Пленные немцы признавались, что больше всего боялись реактивных «Катюш» и моряков, идущих в рукопашную с криками «Полундра!» Во главе всю войну стоял главком Кузнецов. Лучший адмирал из адмиралов, он наверняка был бы рядом с Петром Великим во всех сражениях. Адмирал, никогда не продававший свою честь и достоинство, не менявший совесть на награды, звания и должности. Главком, всегда державший марку военного флота, он был прославленным адмиралом Победы и живой легендой Второй мировой войны, с предтечей которой он встретился ещё в Испании. Рузвельт и Черчилль восторгались им и его моряками. Может быть, поэтому Сталин, уважая его смелость, при решении ответственных задач не очень ему доверял, а исходя из этого — и недолюбливал.

Кузнецов приезжал к нам не только потому, что был родным отцом всему флоту, а ещё и потому, что был основателем и покровителем нашей школы. Я до сих пор содрогаюсь, вспоминая его уход из главкомов. Офицеры, прошедшие войну, не стеснялись слёз. Вижу, как он медленно идёт по пирсу, как мы замираем в строю, а он, останавливаясь на какой-то миг перед каждым, смотрит в глаза и взглядом, полным надежды, говорит: «Верю, не подведёте. Не опозорите флот. Остаюсь навсегда с вами».

Так и ношу его в душе и презираю завистников и карьеристов, которые мешали ему служить Отечеству.

Всех, кто истинно велик, серость старается подравнять, а ещё лучше унижить. Тогда серость становится большой и яркой. Посмотрите на историю, на биографии... Их разжалуют, предадут, убивают или продают в рабство все эти клеветы, ракушки на днищах больших кораблей, которых и помнят только потому, что им посчастливилось жить в тени гениев. Властолюбцы, временщики и приспособленцы думают, что история всё исказит, а их возвеличит. Зря надеются, синекуры! Бог всё видит! А Он выше истории и надуманных умозаключений. Истина только одна. В отличие от правд, она неизменяема и неприкосновенна.

— Правильно, москвичонок, правильно! — из-за памятника царю Петру вышел Черчел. — Правильно, москвичонок, Бог всё видит. Но и мы кое-что можем подсмотреть в щелочку или в глазок тюремной камеры, а иногда Всевышний и сам позволяет заглянуть в его анналы. Я очень рад за тебя, и теперь для разнообразия буду называть тебя юнгашём. Я только что разговаривал с царём, он очень доволен тобой. Давай, служи! И не за-

будь про морских охотников, — и он скрылся за бруствером красавца-корабля, только что пришедшего с брандвахты...

Ну как я могу забыть об охотниках за подводными лодками — катерах «МО», вооружённых пушкой и пулемётами! А главное оружие, несущее смерть, — это лежащие на корме тяжёлые глубинные бомбы, железные бочки со взрывчаткой, окрашенные в зловещий чёрный цвет. Когда раздавалась очередная боевая тревога, как говорили на флоте: «форма раз — кальсоны и противогаз», удивления никакого не было, потому что это происходило чуть ли не каждый день — а чаще всего, ночью.

Получаем приказ отбомбить квадрат моря в заданном районе — иностранная подлодка пробралась в наши воды... И опять никакого удивления, мы точно знали, что война может начаться в любую минуту. На полном ходу достигаем заданного квадрата и начинаем сбрасывать бомбы. И вдруг зачерчело — стали глохнуть двигатели, оба мотора сразу. Неземная звенящая тишина, и только чайки вскрикивают от ужаса: им придётся смотреть на нашу неминуемую гибель. В люке машинного отделения появляется белое, как молоко, лицо командира. Он кричит, хотя всё и так слышно:

— Бомбы под кормой! Сейчас наши чушки детонируют. На устранение аварии три секунды!!!

И почему-то совершенно спокойно, как будто во сне, я сразу нахожу обгоревшие провода и при помощи пассатижей и собственных зубов соединяю, не изолируя, а потом развожу в стороны. Нажимаю на стартёры и... О чудо! Моторы взревели, винты заработали, я дал на самый полный, и катер, как сорвавшийся с мёртвого якоря, рванул вперёд. Раздался глуховатый всем нам знакомый взрыв — нас подбросило. Катер, плюхнувшись обратно в родное море, мчался подальше от того места, где караулила смерть. Чайки носились над кормой и что-то говорили, а потом кричали, делая круги над катером. Наверное, радовались за нас. На корме лежали глубинные бомбы. Если бы они умели говорить, то, наверное, сказали бы: «Ваше счастье, что мы не детонировали. Спасла одна минутка. Рвануло бы, и от вас ничего не осталось. Разве что щепочки от катера, и волны покраснели бы минут на десять. Щепки когда-нибудь, может, и выбросило бы на берег. Ну а краснота быстро смешалась бы с бирюзой воды, и к соли моря прибавилась бы соль человеческой крови.

— Ты напрасно думаешь, что бомбочки не умеют говорить, — процедил Черчел, вылезая из-под кормы идущего катера. — А раз умеют говорить, значит, и мыслят. Среди них есть такие философы, куда там Сократу! Жизнь и смерть впадают в моря океанов и, становясь дождями и снегом, возвращаются на круги своя. Если бы мои бомбочки не сдержались и взорвались, всем кружкам вашего экипажа пришлось бы сомкнуться. Ну что может быть проще? — и Черчел подошел к бомбам. — Замолчали, мои черноглазые красотки. Ну, скажите же что-нибудь. Молчание не всегда золото. Жестянка тоже блестит и считает себя драгоценностью, пока не

заржавеет. А за то, что сдержали гнев и не рванули, объявляю благодарность. Время этого юнга, да и всего экипажа ещё не пришло, — и уже обращаюсь ко мне, проникновенно сказал: — Рисковать и не терять голову могут только мыслители и ассы. И запомни, всё что взрывается, находится под моим личным контролем. А тебе придётся послужить и на тральщиках, — и он исчез в буруне идущего катера.

Я действительно стал служить на боевом тральщике. При погрузке в порту Лиепая мы уронили за борт ящик со снарядами. Дисциплина тогда была сталинская. Шаг влево, шаг вправо — побег, стреляли без предупреждения. Да и в Лиепе тюрьма была с символическим названием «Короста». Назвали бы сразу «Гангреной», так было бы честней. Мы отчитывались за каждый патрон, а тут целый ящик со снарядами. Конечно, настроение было, как на эшафоте перед петлёй. Подходит командир корабля:

— Когда водолазный костюм проверял?

— Как положено, проверяю регулярно.

— Я знаю, что ты учился в подплаве, в Ленинграде...

— Да, товарищ командир, на гаванской в башню смерти не один раз спускался, через торпедный аппарат подлодки выходил... Все было.

— Скажу прямо, приказывать я не буду. За этот ящик меня могут и разжаловать. А если, не дай Бог, с тобой что-нибудь случится, не только разжалуют, но и посадят.

— Товарищ командир, я исполняю обязанности механика корабля? Комендоры мои друзья?

— Как и весь экипаж!

— Вы мне ничего не говорили, я начинаю действовать. Беру помощников: один на сигнале, другой на подстраховке.

— Ну, юнга, — говорит командир.

— Бывший юнга. Уже шестой год служу.

— Не говори, я на первый курс училища поступил. Только стал курсантом, а ты уже успел с морем подружить. Ну что? Добро! Только будь осторожен.

Вода у пирса была чёрная, как чернила — все дно завалено непонятно чем. Чего туда только ни валили, и главное, кругом искорёженное железо. Не показывая виду, что волнуясь, я полез в воду, а в глазах — противопехотные мины. А от этих лягушастых гадючек пощады не жди. Если заденешь, сразу сработают. Они, твари, без войны от злости остатки мозгов потеряли — спят и видят кого-нибудь угробить. Сколько их немцы при поспешном отступлении в воду побросали, только Черчел и может сосчитать. Не успели минёры этими лягушками поля и луга заселить. Опускают меня ребята постепенно. Кругом черным-черно, ничего не вижу — мерещатся огромные осьминоги. Я о них в детстве читал. И ведь точно знаю, что на Балтике эти монстры не водятся, но всё равно думаю, вдруг какой-нибудь скандалист и пропойца из южных морей заплыл в поисках

сбежавшей подруги. Да и акулы любят приключения и новые места — с голоду могут и сюда заплыть. Настроение — ноль, да ещё руки поцарапал о железяку. Но несмотря ни на что, я продолжал ползать по дну и ощупывать невидимые предметы. И вдруг в черноте загундосил Черчел. Его, конечно, не видно в этой мутной жиже, только глаза зеленеют.

— У тебя закурить нет?

— Откуда? Мы же под водой.

— Знаю, знаю, — захихикал он и стал вращать глазами, — перед смертью всем хочется курнуть, насладиться дымком табака, а ещё лучше для потехи залётной травкой побаловаться. Тогда и не поймешь, где сон, а где быть. Ты, наверное, забыл, что мины бывают и безрогие. Зачем лезешь на рога? Жить надоело? У тебя же в Загорянке родня. Вроде вырос, а ветер романтики так и сквозит в пустой голове. Ну что с тобою делать?

Наступила зловещая пауза. И тут Черчел стал мигать глазами. Они загорелись красным светом, но через какое-то мгновение опять стали зелёными. — Только смотри, концы у верёвки не перепутай...

И глаза его моментально исчезли. Тут же я почувствовал, что коснулся ящика, который стоял ребром. Повезло, а может, и правда — каждому своё. «Ладно, живи, твоё время ещё не пришло», — эти слова все ещё звучали во мне. Я дал условный сигнал ребятам, чтобы начинали подъём. По договорённости, мне спустили вторую верёвку. Завязав узел, я накинул его на ящик, дал повторный сигнал, и меня начали тащить на поверхность. Неожиданно я почувствовал, что на грудь давит что-то очень тяжёлое, дышать становилось невыносимо. Смотрю — опять в чёрной мути зазеленели глаза.

— Я же тебе сказал, что рисковать можно только мыслителям и ассам.

Я хочу ответить, но не могу. Грудь как клещами сдавило. Голова кружится, кроме зелёных зрачков ничего не вижу.

— Я вернулся, чтобы напомнить, как жизнь в мгновение ока становится смертью. Мыслители испокон веков знают, «чем дальше от царей, тем голова целей». А не мыслители, как только приблизятся к высочайшему телу, облечённому властью, думают про себя, что они самые умные, что голова их не подведёт и уцелеет. Ты, Барбаросика, надеюсь, ещё не забыл? Он, конечно, не мыслитель, и тем более, не философ, хотя и любит загнать. В общем, работает топорно и грубо. А его прапрапрадед у самого Ивана Грозного сначала лопатой, а потом топором махал. Сколько голов нарубил — и не сосчитать. Так, наверное, и не остановился бы, но надоел он батюшке царю, да ещё, как назло, криво посмотрел в его сторону. А может, царю и показалось, только завернули верного приспешника в свинячью шкуру, крепко связали, да и бросили на потеху к голодным медведям. Каждый должен знать своё место и не высовываться, пока не просят. Мало ли что тебе не нравится. Во всём должна царить стабильность. Не замшелый застой, а безропотная стабильность. Помни это всегда, — и зелёные глаза исчезли.

На поверхность меня вытащили полумёртвым. Всё лицо раздулось и покрылось синеватыми кругами. Оказалось, я не заметил в сплошной черноте, что верёвка, поднимающая снаряды, обмоталась вокруг меня. Ребята тащат верёвку вверх, торопятся, за меня переживают, а ящик тянет на дно, и я, как сосиска, посередине болтаюсь. Ну, настоящий живец. Были бы акулы, точно сожрали... Командир, увидев меня, сразу же приказал:

— Немедленно в койку и лежать. Сейчас вызову врача.

Связался по рации с кем-то, и немедленно появилась сама Нина Николаевна. Дала какие-то пилюли, поставила горчичники. Дня через три я уже был как огурчик. Командир несколько раз приглашал меня в ресторан и совсем не по Уставу благодарил. А я, улетаая цыпленка табака, думал: «Если бы ты был службистом и служил бы не стране, а своей карьерой, не относился бы к экипажу, как к равным, не заботился бы о нас, — не полез бы я добровольно в воду, и весь экипаж был бы рад увидеть тебя разжалованным и списанным с корабля, не выдержавшим экзамен на звание человека и моряка». Но наш боевой командир держал марку главкома Кузнецова. Нам явно повезло. Но везло нам и в тралении.

Однажды мы обезвредили очередную мину, затем вторую, а третья капризной оказалась. Пришлось комендорам злочкой заняться. Ребята наши стреляли на раз! Злюка с первого выстрела взорвалась. Всё море побелело, целые косяки оглушённой рыбы всплыли на поверхность и плавали вверх брюхом. Вот кокам работы подвалило! Мы эту рыбу не знали, куда девать. Уж как только наш кок ни старался: и уха по-балтийски, и уха по-камчатски, и биточки по-флотски, и котлетки пиратские, расстегай на балтийской волне и рыба, копчёная на кровельном канате. Изощрялся... Уважали мы его очень. Главное, что весь этот коковский разносол был дополнением к общему меню. Нас кормили на славу. Ещё пайки были всякие: морские, ходовые, штормовые. В общем, на харчи мы никогда не жаловались.

Служил тогда со мной Кузьма Ткачёв. Прямо скажу — исполин. Ел за двоих, официально был поставлен на двойное довольствие, и в нашем же дивизионе служил чемпион Балтийского флота по поднятию тяжестей. К социалению, забыл его фамилию. Чемпион постоянно тренировался с различными гириями и штангами. Встанет в стойку, руки чем-то намажет — раз, два, три, поднял и держит над головой. Молодец, конечно, — штанга тяжёлая, да и гири тоже не надувные. А мы все Ткачёва уговариваем: «Кузя, покажи, что у тебя тоже силы не меньше». Иногда Кузьма шёл нам навстречу. Подойдет к штанге, возьмет её одной рукой, поднимет над головой, повертит в воздухе и бросит, как битую от городков, на несколько метров. Все в восторге! Его всё политотдел уговаривал заниматься спортом серьёзно, но Кузьма так и не пошёл на это.

— Мне, — говорил, — физзарядку лень делать, а тут каждый день тренировки. Да ну их, и вообще я не люблю всю эту парадную дребедень, все

эти титулы! Идёт какая-то пустотелая трата энергии. Я не ребёнок и пустышку сосать не собираюсь. Другое дело у нас в деревне: перед моим уходом на флот в непролазном черноземье застрял трактор. Так я без лишнего слов помог. Уж председатель меня хвалил, премию дал. «Что бы мы без вас делали, Кузьма Георгиевич».

Я давно заметил, если в жизни человек очень сильный, огромный, он обязательно спокойный и добрый, как слон, ну если его, конечно, не довести до точки кипения. Возвращался наш Кузьма с берега на корабль, и пристали к нему где-то на подходе патрули. Он им говорит: «Я опаздываю, запишите координаты. Я никуда не скроюсь», а они пристали как банный лист. Ну он и оттолкнул их, благо, бежать до корабля было метров двести...И тут началось! Оказывается, у одного из патрульных барабанная перепонка в ухе повредилась. Было комсомольское собрание. Все начали кричать: «Как так? Драка! Позор для флота!» А он встал, такой растерянный и огромный, и говорит:

— Не дрался я, тем более, не бил, просто оттолкнул и побежал. Допускаю, что случайно задел ладонью, — и показал ладонь, а она у него была размером со слоновое ухо.

А я встаю и говорю:

— Конечно, не бил. Я в этом абсолютно уверен. Ребята, да если бы он действительно ударил, да ещё в ухо, так он просто бы его убил!

И все засмеялись. Объявили ему выговор.

Относились к Кузьме в дивизионе с почтением. А я ещё имел счастье дружить с ним. Вот такие, наверное, и отстояли Россию на Куликовом поле.

— Я с тобой абсолютно согласен, юнга. Пожалуйста, не пяля глаза, всё равно ничего не увидишь. Сегодня на неделе как раз тот день, когда я становлюсь невидимкой. Для меня это лучший вариант — я всё вижу и слышу, а никто и не догадывается. Ты говорил о Куликовом поле. Примерчиков можно привести много, и пока ещё есть порох в пороховницах. Но дело не в силе, а в мужестве и отваге.

— Но она без силы погибает, — возразил я.

— Ты просто забыл, что отвага города берёт и побеждает не числом, а умением. Ну, кто это сказал? Суворов! Вспомнил. Только вот чудо-богатырей становится всё меньше. И где их брать, если мужики не поймёшь какого пола. Дело дошло до того, что женообразные стали бороться за звание чемпиона по верчению задом. У женщин, что поглупей, и этот хлеб отбирают. Хотят поп-моделями стать. А твой корабль идёт на траленье?

— Идёт.

— Знаю, знаю. Дюйм под килем. Только смотрите не зацепите мину, — и он замолчал.

Зашли мы в заданный квадрат и опустили трал. Думаю, зачем? Мы же этот квадрат не один раз утюжили. Делать больше нечего! Ну нет там мин! Всё до миллиметра выверено.

Пока я думал, слышу — сразу две рогатули на трале. Вот так мы и учились перепроверять, и не напрасно. Сколько этих черчеловых игрушек под волнами, одному ему известно. Иногда попадались мины, поставленные на «каюк-дежурство» ещё в первую империалистическую, до революции. Живучие, крысят!

И каких только Черчел ни наделал: и якорные с рогами, их, наверное, он сделал по образу и подобию черчелят, а ещё придонные, акустические, магнитные, и каких только нет, сам Черчел не разберёт. В этот раз первые две мы сразу уничтожили, сразу подрезали, и третью тут же трал схватил, и тянет к резаку четвёртую. Все рады, настроение бодрое. «От радости идём ко дну!» — так мы шутили. И в этот момент Черчел подбросил очередную неприятность. Мы намотали на винты свой собственный трал. А стальной трос этот толщиной не с пальчик... Хорошо, вовремя застопорили ход. Бог помог. Я, уже поднаторевший в водолажном деле, надел гидрокостюм, полез под корму, чтобы попытаться освободить винты, в крайнем случае, разобраться, насколько это серьёзно. Двое ребят мне помогали, и были на чеку. Мотнули мы этого милого тросика изрядно. А у одного винта, сразу было видно, на лопасти образовалась трещина. «Ну, до базы как-нибудь догребём, — думал я, — а потом придётся в док на судоремонтный». Вдруг, Черчелу на радость, заштормило, закачало наш тралец, как пёрышко, на волнах. Когда попадали в шторм баллов на восемь, страшно было, казалось, сидишь как муравей в спичечном коробке, а кто-то кувалдой изо всех сил бьёт по нему. Как вдарит волна, думаешь: ну всё — сейчас разломается твоя коробочка на две части, и пойдёшь ты на дно. Силы у моря, конечно, некуда девать... Так что лучше его не злить, тебе же хуже будет. Вытащили меня на палубу, я уже прикинул, какой нужен инструмент, и понял, что если постараться, то винты можно и освободить, но мина на трале, а он слабинку имеет. Смотрю, а эта дура рогатая всё норовит подойти поближе к борту, ну фанатичка какая-то, террористка, хочет себя и нас взорвать. Командир нервничает, из пушки по ней пальнуть нельзя. Она только этого и ждёт, знает, тварь, что и нам не поздоровится. Корабль из стороны в сторону бросает... Пробовали отдать якорь — он грунта не достает. Да и не очень это надёжно — волны-то всё больше и больше. С ними тоже не пошутить.

В общем, амба получается! Взял я зубило, молоток поувесистей, ножовку и опять полез под воду. Попытался в нескольких местах трос разрубить. Попробовал ножовкой, но не рассчитал наклон полотна, и оно сломалось. Снова приставляю зубило и бью молотком. От усталости ломота в правой руке. Думаю, врётся, нас не возьмёшь. И из последних сил начинаю бить по зубилу. Замахнулся со всего плеча и отключился... Очнулся, лежу на палубе. Надо мной ребята, перепуганный командир.

— Живой?!

И все в один голос заорали:

— Живой! Живой! — и запели «Варяга», нашу любимую песню. Она нам очень помогала нести нашу службу.

Оказывается, я так старался освободить винты, всё время думая о злодейке, готовой взорваться в любую секунду, что от перенапряжения не заметил, как выскочил, щёлкнув, указатель давления на моём водолазном аппарате. И наступило кислородное голодание — очень коварное состояние. Оно обычно кончается летальным исходом, потому что действует непредсказуемо. Получается, в тельняшке я родился. Когда наступает отравление углекислым газом, начинает подташнивать, в голове шум и круги перед глазами — можно успеть дать сигнал, да не один, и тебя быстренько вытащат. А кислородное голодание, как гремучая змея, наступишь — считай, пропал. Она же в прыжке, как пуля: укусит — не промахнётся. Если отравление газом — есть шанс на спасение, а когда «кислородка» — считай, последний гвоздь в гроб забили. Где уж там проститься! Последнюю точку не успеешь поставить. Спасибо ребятам — наитие сработало, вытащили из черчеловой тьмы. Смотрю и не могу поверить, что стою на палубе родного корабля, вижу чаек, сердитые волны... Всего несколько минут и не было бы автора этих строк.

— Что ты городишь?! — из зелёной воды на палубу выскочил Черчел и, окатив меня соленой водой, раздражённо сказал: — Сколько раз повторять, твоё время ещё не пришло. Надо же так увлечься работой! Ты даже не заметил меня, а я был почти рядом. Если что, я не дал бы тебе коснуться корабля. А ей очень хотелось потешиться. Когда я создавал эти игрушки для идиотов, чтобы они, поиграв, сами бы себя и взорвали, я все-таки предусмотрел что-то наподобие мозгов. Но со временем всё покрывается рыжей ржавчиной, а эта стервова от воздержания и перегрева желаний совсем чокнулась. Представляешь, меня стала шантажировать: «Я, — говорит, — напишу рапорт самому Воланду, что вы предаёте глобальные идеи Гадеса». Ну я ей покажу, чтобы остальные впредь знали, что разговаривать с Черчелом подобным образом нельзя, даже если мозги окончательно заржавели. Мечтала за жертвы получить от Воланда вознаграждение, стервова паранойальная! Сегодня же исчезнет, как будто её и не было. Субординация превыше золота... тем более нашего, с фальшивой пробой. А ты, полосатый волчонок, меня удивляешь и с каждым днём подаёшь надежды. Ну пока! Мне ещё нужно проверить, соблюдается ли дисциплина среди моих игрушек в Ирбенском проливе, — и Черчел прыгнул за борт.

Водяной столб накрыл корабль так, что я еле удержался, схватившись за леерную стойку.

Ещё чуть-чуть, и мы бы сыграли овер-киль. Когда столб исчез, я опять полез под воду. Общими усилиями нам удалось снять с винтов куски разрубленного троса. Дали ход, осторожно отошли от мины и тут же с

первого выстрела уничтожили злодейку. Волны, видимо сочувствуя нам, стали поменьше, но всё равно ещё продолжали бесноваться. Командир взял курс, поставив корабль носом на волну, и мы благополучно вернулись на базу.

При первом же увольнении на берег я встретился с Черчелом.

— А-а! Укротитель взбесившихся от обжорства хищников! Любитель поиграть с минами в рулетку! Ты становишься настоящим морским волком. Наш эксперимент пока проходит весьма успешно. Не желаешь рассказать о своих рижских приключениях? Как вы там решили отметить на корабле коллективный день рождения? Ну я пошёл, мне ещё надо перед саммитом проверить прослушку и проконтролировать, как идут полино-атомные разработки и на какой стадии проект водородно-плазменного возмездия. Ещё одна черепная боль фискальным органам, а они зациклились на финансах каморы, коррупции и мафиозных кланах. И это понятно: сила есть — ума не надо. И всё равно особо пронырливые становятся академиками надуманных наук на пустом месте. Почти у всех деятелей подобных организаций в глазах и на лице, а на языке — в обязательном порядке — вывешена реклама чистой и неподкупной совести, а сама она в самом незаметном месте отмечена чёрной меткой. За этот удачно внедрённый проект и за то, что разработки оказались глобально-универсальными, я получил благодарность от Его Сверхвеличества. Я горжусь тем, что я тебя посвящаю в самые великие тайны, которые знают все, но боятся в этом признаться, — и Черчел, перебежав улицу, скрылся за заколоченными воротами закрытого двора.

А я остался с воспоминаниями о том уже далеком дне рождения, и мне стало грустно. Помню, что организацию всего этого предприятия доверили мне. Примерно в восемнадцати километрах от Риги в Боллдерая я сошёл на берег с чемоданом среднего водоизмещения в руке. Зашёл в гастроном, загрузился... Выхожу из магазина — патруль. То ли они следом за мной, а может быть, кто и донёс. От перекрашенных рыжих только гадоостей и жди. Затрали меня со всеми заготовками и прямо в комендатуру. Дежурный, молоденький белобрысый лейтенант, спрашивает:

— За что задержали? — и брови для солидности хмурит. — В пивной ерша ловил, а вы его взяли?

— Да нет, у него секретное задание, по всей видимости, всего экипажа.

— С тральщиков?

— Так точно, товарищ лейтенант!

— Старшина патруля из береговой обороны по разнорядке дежурил. Вот до чего дошли, товарищ лейтенант, совсем стыд потеряли эти тральцы! На глазах у гражданского населения закупил целую батарею водки.

А они ещё немцев помнят, те пили, но аккуратно. А тут — зашёл, очистил полвитрины. Все вокруг смотрят и скалятся, а ему хоть бы хны.

И тут появляется сам комендант, полковник с погонами малинового просвета, форма новенькая с иголочки, выбрит до синева, глаза бесцветные — чего они только ни видали. Дежурный вскочил.

— Товарищ полковник...

— Садись, Хмырёв! За что арестован морячок?

Дежурный открывает чемодан.

— Вот. Сам первый раз вижу такой набор.

— Ну и ну, — промычал комендант, широко открыв глаза, и я увидел, что они всё-таки имеют цвет выброшенной на берег ракушки, — Хмырёв, записывай! Так, морячок, быстренько все фамилии участников несостоявшейся попойки!

— Какие фамилии, товарищ полковник? Это я купил себе лично с запасом, как говорится, впрок.

— Послушай, мальчик, ты знаешь, что такое СМЕРШ?

— Особое подразделение контрразведки «Смерть шпионам». Кто это-го не знает?!

— Знаешь, это очень хорошо. Я в конце войны служил в СМЕРШе. Так что не гони баланду! Фамилии на стол! Не подводи своего комдива. Ему повезло, он мой знакомый. Знаю, что хлебнул лиха, но не сломался. При таком допросе редко, кто стоит до конца. Напраслина была, но мы разобрались. Уважаю таких... Понимаешь, дело-то твоё может оказаться и политическим. Формулировка проще быть не может: умышленная дискредитация Краснознамённого Балтийского флота. А флот, как и все боевые единицы, входит в состав вооружённых сил СССР. А кто главнокомандующий над этими силами? Соображаешь? Вы там на кораблях политграмоту проходите, вы что не понимаете, что классовые недобитки только и ждут, чтобы мы демонстрировали свои слабости и пороссячи наклонности?! И так все профашистские газеты на западе изошряются, что русские моряки бросались под танки в пьяном скотообразном состоянии! Скоро заявят, что взятие Берлина Советской армией придумали сумасшедшие и алкоголики в пьяном бреду. Сейчас уже пишут, что Берлин был взят приговоренными к расстрелу заключёнными, позади которых стояли заградительные дивизии с пулёметами и танками. А ты, покрывая своих сообщников, помогаешь ненавистникам нашей Родины. Так что давай по-хорошему, называй фамилии.

— Товарищ полковник, ну почему вы мне не верите?

— Поверю, когда назовёшь фамилии своих поделльников. Так, героическую лирику в сторону! Хмырёв, записывай! Давай, морячок, по очереди всех подряд, иначе всё суммируем, и ты получишь наказание за каждого, кого скрываешь. А так — вы ещё не успели нажраться и чистосердечно раскаялись. Думаю, что твои корешки будут более сговорчивы. Я тогда передам это политическое дело вашему комдиву. Ну на берег не походите

месяца два. В крайнем случае, по выговору запишут, как комсомольцам, в личное дело. И это будет справедливо!

— Товарищ полковник, я не вру, вся водка моя. Я купил её про запас, — в общем, врал по-чёрному, понимая своё нелепое положение. Ну в самом деле, кто в это мог поверить?

Спасибо полковнику, что не догадался спросить, где я собирался хранить все эти запасы. Комендант, усмехнувшись, продолжал читать политграмоту:

— Значит, решил стать алкоголиком и товарищей приобщить, корешей своих. А алкоголиков не терпят нигде, тем более на флоте. Эту зелёную чуму немедленно списывают с кораблей. А офицеров всех без исключения без лишнего шума, тихо-тихо в отставку. Самого Маринеску списали, не посчитались, что он Гитлеру такой «подарочек» преподнёс. Слыхал о таком? Неужели нет?!

— Он на дно «Густава» пустил с отборными кадрами подводного флота. Нам сам Кузнецов рассказывал, что о таких подвигах нельзя забывать.

— Главком Кузнецов?

— Так точно, товарищ полковник.

— Кому это вам? И где?

— Нам — юнгам в Кронштадте в 46 году. Встреча у нас была.

— Ах вот в чем дело. Ты бывший юнга... Понятно, поэтому и решил молчать и всю вину взять на себя. Похвально! Если бы это происходило в гестапо, а не в советской комендатуре... Хмырёв, записывай приказ и сразу же отдай Изабелле Ивановне, чтобы отпечатала, про сопроводилку нашему герою напомни и быстренько мне на подпись. И посмотрев, как рак из ракушки, стал диктовать.

— «За попытку организации на военном корабле коллективной пьянки, за злостное укрывательство, за служение порочной круговой поруке, а не чести советского моряка, за неуважение к военной комендатуре...»

— Товарищ полковник, откуда вы взяли? И кто это вам сказал?

— А мы всё знаем — профессия такая. Хотя вы и плавсостав, а мы охраняем устав и закон. Если бы уважал, сказал бы фамилии. Мог бы и подружиться с нами, правда, Хмырёв?

— И чего заператься, и так всё ясно.

— Правильно, Хмырёв. Ну, юнга, назовёшь фамилии, пока не поздно?.. В камерах сейчас сыро и неудобно. А впрочем, это круглый год. Ну, считаю от обратного: три, два, один, ноль! Хмырёв, продолжай: «объявляется десять суток ареста с отбыванием наказания на гарнизонной гауптвахте города Риги. Полковник Влёттов». Хмырёв, выдели двух патрульных для конвоирования и сдай под расписку начальнику гауптвахты.

— Слушаюсь, товарищ полковник.

А я вздохнул и в душе был рад: допросов больше не будет. В те времена все, кто попадал на гауптвахту, вызывали сочувствие. И в этом просматривался героический шлейф многострадальной романтики.

Все знали, что комендантские патрули рыскали по городам и хватали кого попало за любой пустяк. Не так честь отдал, ремень не затянут, бляха и пуговицы не блестят... А если алкогольный перегарчик и штанишки клёш, и вставка в штанах видна — у патруля праздник! Поощрение, может, и отпуск обломится дней на десять, не считая дороги, а уж благодарность обеспечена. Поэтому при малейшей зацепке они делали стойку, как легавые кобели.

Власть людей портит, а у комендатуры она была, хотя и подневольная, но власть. И, конечно, никакого уважения к ней не было. И полковник об этом знал. Наверняка, при задержании многие срывались и говорили правду-матку. Думаю, в молодости гауптвахта и его не пропустила. Уж на простой-то, вне сомнений, посидел. А тогда, говорят, на простой было не так, как сейчас, а гораздо строже. Сейчас же десять суток строгого — это не двадцать простого. На простой мы отдыхали, если даже каждый день на работу. То в один детский садик, на другой день — в другой. Дрова попилить для разминочки приятно. Разгрузить что-нибудь, передвинуть. Воспитательницы, как на подбор, молоденькие, и помладше нас и чуть постарше, а в основном, одноклассники. Стройняшки, в глазах Рижский залив, заботятся от всего сердца, угощают: «Скушайте манной каши. Сегодня на обед курятина была, осталось, мы с детьми не всё съели. Кушайте! Молочко топленое осталось, сметанка с сахаром, не желаете? Омлетик. Что-то сегодня аппетит плохой у деток». Ну полная идиллия! И все невесты, как розочки из цветника. Рижаночки, с акцентом говорят, но смотрят без всякого акцента. Порой кое-кого и укачивало, человек семь, по-моему, так и остались в Риге. И я их понимаю. Девчонки были добрыми, красивыми и смотрели на нас, как на героев, попавших в лапы бесчеловечной комендатуры. Я и сам еле устоял. На такой гауптвахте можно было и сорок суток отсидеть, а то и больше. Да, мы ощущали себя на седьмом небе. Не знаю, как там на седьмом, а детскими садами Риги управляло это самое небо. Я в этом уверен! Детям отдавалось лучшее не на словах, а на деле.

Прости, дорогая моему сердцу Прибалтика! Я исповедуюсь, и поэтом не могу писать неправду. Всё, что я пишу, я видел своими глазами. Да, Черчел рассказал мне о многом, взбудоражил мою дремавшую память. А о многом я и вовсе не знал. Но всё это не относится к народам Прибалтики! А относится к выползшим червеобразным любителям покомандовать и пожить в роскоши за счёт других. Этот вид деятелей существует в любом народе. Это нетонущее вещество возомнило, что оно золото, пуп земли и Вселенной. Это смешно, если бы не было так страшно. Как сказал замученный в застенках гестапо Юлиус Фучек в своем «Репортаже с петлёй на шее»: «Люди, я любил вас, будьте бдительны!» Сейчас вылез-

шие и всплывшие, источающие зловонную ложь и уцелевшие только за счёт предательства своего народа обзывают наших отцов, матерей, братьев и сестер оккупантами. Вспомним неоспоримое недавнее прошлое.

В Прибалтике идёт интенсивное строительство, углубляется Даугава, чтобы могли заходить морские суда. Рижский залив был рассадником мин — Черчел здесь особенно постарался. Кто же, рискуя жизнью, уничтожил всю эту заразу?

Люди с радостью в глазах не только строили, но и творили, собирались на красочные фестивали, проводили праздники песни, города утопали в цветах. В неотразимого красавца и умнейшего человека с голосом Орфея, Георга Отса, были влюблены все народы наших республик. «Всегда быть в маске» — он только пел, а в жизни был с открытым лицом и с открытым чистым сердцем. Снабжение в Прибалтике, чего греха таить, было в семь раз лучше, чем в Москве. Если не сказать, в десять. Я уже не говорю о других городах и глубинке нашей измученной и израненной войной страны. Всё это я видел в отпусках, и мне было, с чем сравнивать. Скажу прямо: Москва, по сравнению с Прибалтикой, выглядела нищей, и ей оставалось только руку протянуть, но не протягивала, на то она и Москва...

Теперь вопрос к породистым вырождакам и к их прислужникам, бойцовым политдемагогам: это что же за такие оккупанты — последние рубашки с себя снимают и отдают порабощённым и угнетённым? Стоп! Пусть это будет стоп-кадром. Не закрывайте глаза, не хватайтесь за грязные мешки, господа червеобразные со своими покровителями и ещё ползающими СС-опекунами. В мешках, какими бы грязными они ни были, шило правды не утаишь. И не надо морочить голову своему славному народу!

А вот десять суток строгого ареста, которые я отсидел в Риге, никому не пожелаю. Каменный мешок — одиночка, металлическая полка — кровать. В шесть утра — неумолимый подъём. Кровать пристегивается к стене и запирается на амбарный замок. Конвойные, все как один, из азиатских народов, по-русски ни бельмес. Есть среди них и выдающиеся — знают несколько слов по-русски. Такие ведут себя скромно и одновременно надменно смотрят на своих, не знающих русского, как и на нас, бесправных арестантов. В рацион кормления входят тоненький ломтик хлеба со щепоткой соли и стакан крутого кипятка без всяких заварок и сахара. И всё! Никакой тебе манной каши на молоке. И эти «деликатесы» выдаются через день. После такой закалочки можно смело проситься в экипаж какого-нибудь современного Магеллана, открывать с ним новые земли и не бояться, что корабль с погибшей командой выбросит на скалистый остров, где ничего не растёт, а только пустыня. Там, сойдя с ума, будешь смотреть на море и ждать, ждать своего спасения. Вот оно совсем рядом, ты протягиваешь руки, касаешься... а это мираж. На какое-то мгновение ты ощущаешь его, но мираж исчезает и остаётся в далеких снах нашего детства. А наяву сегодня, здесь и сейчас, на соседнем острове живут го-

лодные дикари. В любую минуту они могут напасть и сожрать... Тогда уж лучше на гауптвахту.

Главное украшение гарнизонной «губы» — экзотическая охрана. Такая же охраняла зинданы и султанские гаремы — бдительная, беспрекословно выполняющая любое нелепое желание начальника гауптвахты. Но в сказках «Тысячи и одной ночи» за миг наслаждений можно было лишиться головы. А здесь — наслаждение властью, свойственное недоразвитым с неусвоенными в детстве уроками высокой культуры и нравственности. Это беда любого народа. Придумали на прогулку выводить на пятнадцать-двадцать минут. Только стал легкие прочищать от вони, а тебя в камеру. Ну, о харчах, что и говорить, тошнит — сидишь слюну глотаешь. Без воды язык к гортани прилипает. А без воздуха начинаешь понимать рыб, когда они дёргаются на мокром песке. Они без воды, а мы без воздуха гибнем. В общем, сплошная тоска, да ещё и зелёная. Как тут Черчела не вспомнить! Он везде — и во зле, и в добре — справедливость ищет и старается всё уравновесить. И всё-таки иногда нас конвоиры веселили. Один матросик из соседней камеры решил пошутить, разыграть новобранца, все равно он ни бельмес. Только что пришел, а оперяется командными навыками быстро. Матросик ему и говорит:

— Важный ты человек. Прирожденный командир!

Охранник мотаёт головой и что-то по-своему лепечет.

— Ну что ты забубнил, заважничал, начальника из себя корчишь, бревно осиновое!

Конвойный, видимо, что-то уловив, а может, и притворялся, что не понимает, сказал с усмешкой и большим достоинством:

— Ты сам дрова!

Вот смеху было!

А само здание гарнизонной гауптвахты — бывшая политическая тюрьма. В ней до революции сидел... кто бы вы думали? Всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. Это в какой-то степени согревало нас, сидящих в этих каменных мешках. Каждый думал, что именно в его камере сидел прославленный революционер.

Вот, сижу я в своей отсыревшей камере, с потолка капает. Сколько прошло великих через тюрьму, рабский плен, каторгу и унижения! Я без лишней скромности гордо взглянул на себя и перевёл взор на собственную побелевшую тень, прилипшую к мокрой стене камеры. Она какое-то время смотрела на меня печальными глазами. «А глаза-то не мои», — подумал я. Неожиданно тень стала чернеть, глаза её позеленели, засветились и раздался знакомый гнусавый голос:

— О великих думаешь? Нескромно, нескромно, молодой человек. Куда тебе!

Я молчал.

— Великий гуманист Фома Кампанелла сидел в крокодильей яме, заполненной до краев непроницаемой зловонной жижей, и написал «Город

солнца»! Сервантес, проданный в рабство пиратами, в колодках, в цепях вынашивал в сердце великую книгу о благородном рыцаре Дон Кихоте. А Достоевский, погремевший кандалами в ледяной Сибири, ещё совсем молодым приговоренный к смертной казни, на эшафоте в Петербурге с ритуальным мешком смертника на голове грезил своими великими произведениями... Это тебе не льготы распределять из кормушки привилегий. Когда они умирали, я стоял у изголовья каждого из них и видел собственными глазами, как они хотели жить, а ещё больше — любить. Как беззаветно верили, что человек, прочитав их замечательные книги, станет лучше, добрее, что он станет подчиняться разуму и рваться из тьмы только к свету и будет стараться построить в своей душе «Город солнца»! Я и сейчас вспоминаю и все думаю, как им, уже поседевшим, удалось сохранить детские сердца, не зачерстветь, не стать приспособленцами, не пресмыкаться, не бегать из-за шкурных интересов от одной идеи к другой, не стать предателями, оборотнями и не искать счастья за счет других. Ну, в общем, вроде, ничего нового. Все банально, как и сама Земля. Никто ещё не заставил старушку крутиться в обратную сторону. Да и вся Вселенная сплошная банальность! И все процессы, происходящие в ней, рутина. Недаром Бог подумывает, не сотворить ли ему чего-нибудь новенькое, небанальное. Потому что люди никак не могут достигнуть разумной самоорганизации ну хотя бы на уровне муравьёв. А великие меня совершенно не удивляют. Я этих гениев перевидал — и не сосчитать. Все они одним миром мазаны. Если бы я не видел живого света в их страдающих сердцах, я бы считал их дураками. А если совсем откровенно, они и есть дурачки, держащие вместо китов и слонов на руках измученную Землю. Ну а души всегда были разных размеров: огромные и благородные и ничтожно маленькие, похожие на энцефалитных клещей, — и он, просверлив зелёным взглядом дыру в стене, неожиданно вежливо спросил: — Послушай, москвичонок, ты всё сравниваешь с седьмым небом. А ты уверен, что там тишь да благодать? Мне Воланд сказал, что ты написал стихи о райском небе. Может, прочтешь?

— Но они несовершенны!

— Читай, читай, не тебе судить. Итоги подводить имеет право только Всевышний. Ну, давай!

Грешим бесславно и со славой,
Творим бесстыжие творенья
И, напиваясь властью отравой,
Мы верим в чудо и спасенье.

В седьмое небо над землею
Поверив, верим в справедливость.
Там Бог, обнявшись с сатаной,
Нам показалось, примирились.

Любой из нас, вандал и мастер,
Мы по знакомству рвёмся в небо.
Непримиримы наши страсти,
Одна душа живёт без хлеба.

Вот пробрались, какое счастье!
Мы на седьмом заветном небе,
На небе справедливой власти
И верим, кто на небе не был.

Но я уверен, всё напрасно,
Не всех укроет райский сад,
И там нас ловят и бросают
С седьмого неба прямо в ад...

— Неплохо, теперь мне понятно, почему это понравилось Воланду. Ты, конечно, не рыжий, в тебе есть начало, но пока оно бесконечно. Если будешь вникать в смысл и суть происходящего, мы тебе обязательно поможем найти конец, — и подмигнув, уже на ходу крикнул: — Я побежал по вселенским делам. Дерзай! — и он нырнул в дыру, откуда сразу же повалил зелёный дым, и дыра исчезла.

Я снова увидел свою побелевшую тень на стене, по которой ползли мокрицы и черви какого-то неестественного цвета.

Свои десять суток строгого режима я отсидел. Стакан крутого кипятка и тоненький ломтик хлеба, посыпанный солью, которые мне давали через день ещё долго мне снились на корабле. Эта несчастная хлебная пайка была в три раза меньше той, что давали в блокадном Ленинграде.

Никакой обиды у меня не было. Всё было справедливо. Что посеешь, то и пожнёшь. Когда справедливо, всё можно стерпеть.

Вернулся я на корабль. Встретили меня, как героя, сбежавшего из застенков гестапо, испытывавшего страшные пытки, молчавшего перед раскалёнными щипцами, которыми гестаповские садисты вырывали клочья мяса из моего брэнного тела, но так и не ставшего предателем, пособником коричневой чумы. Но самое интересное, что я из камеры пыток прямой дорогой попал на медицинскую комиссию. В те времена на флоте медицина буквально через каждые три-четыре месяца осматривала нас от пяток до головы, брала анализы, слушала сердце, лёгкие, в общем, держала руку на нашем пульсе. И я с ходу попался прямо в объятия нашей любимой Натальи Николаевны, майора медицинской службы, которая периодически выходила с нами то на одном тральщике, то на другом на боевое траление. Авторитет у неё был непререкаемый. Все командиры кораблей за километр отдавали ей честь. Командир дивизиона замирал при виде неё. Сейчас я понимаю, что он был влюблён. Вот это был настоящий герой, прошедший всю войну, три раза тонувший, побывавший в морской пехоте на

Курской дуге, потерявший семью в первые дни войны. Среди всех его орденов, которые он надевал только в День Победы и в день Военно-морского флота, выделялись два — «За оборону Москвы» и «За оборону Ленинграда». А потом он ещё получил «За оборону Севастополя». И там комдив успел повоевать в рядах легендарной пехоты. Наталья Николаевна, как всегда непререкаемо строго, посмотрела на меня и скомандовала:

— Ну-ка быстро кровь на анализ!

Лаборатория располагалась на соседнем корабле. Лабораторией был старшина второй статьи, который до службы закончил медицинское училище и полгода проработал в районной поликлинике. Был он всегда важным и, по-моему, сам себе казался доктором. Мы его так и звали — «доктор Неболит». Заболев, он никогда не обращался за помощью и лечил себя сам. Однажды Наталья Николаевна увидела «Неболита» в gripозном состоянии и дала ему такую взбучку, так продрала, что кашель прошёл ещё до госпиталя, куда его немедленно положили. После этого чуть ли не каждый день он докладывал Наталье Николаевне о состоянии своего здоровья.

Вот к этому маститому медицинскому специалисту я и пришёл на процедуру. «Неболит», посмотрев на меня сверху вниз, протёр спиртом свою колодку и мою руку и подчёркнуто небрежно, как бы играючи, сделал надрез на моём посиневшем пальце. В глазах у меня потемнело, и я потерял сознание. Очнувшись от едкого запаха нашатыря, я услышал, как возмущенная Наталья Николаевна говорила:

— Не могли предупредить, что он только что вырвался из когтей коммандатуры. Там же на гарнизонной гауптвахте изверги! Разве можно так издеваться над боевым моряком? Завтра на траление, а из него сделали доходягу. Немедленно выписать узнику дополнительный паек! — а сама смеется.

В этот день дополнительно к корабельному обеду и ужину я получил рульку краковской колбасы, плитку шоколада и любимое мною с далёкого детства сгущённое молоко. Добрейшая была женщина, и по-моему, семьи у неё тоже не было, она вся погибла в блокадном Ленинграде. Никогда не забуду командира дивизиона, который смущался и краснел при появлении Натальи Николаевны. Его сердце, опалённое войной, не могло скрывать своих чувств. Не знаю, смог ли комдив рейдовых тральщиков Краснознамённого Балтийского флота признаться в своих чувствах этой замечательной женщине? Ответило ли взаимностью её израненное сердце? Стали ли они мужем и женой?.. Если нет — очень жаль. Кто, как не они, прошедшие через смерть и страдания, были достойны настоящей и чистой любви.

Советский Союз сбросил элитарно-породистое ярмо свастики с порабождённых стран. Причем эту свастику несла на штыках не только Германия. За лучами восходящего солнца её несла и Япония. А под Ленингра-

дом разве не было фалангистов, которые возглавляли испанские полчища?! А Румыния, а Италия, а Венгрия и другие страны, что посылали своих солдат на пикник или в туристические походы?! А Мюнхенский сговор министра Чемберлена, который состоялся раньше, чем пресловутый пакт Молотова-Риббентропа. После этого сговора мощная индустрия Чехословакии стала работать на вооружение вермахта. И чем сговор хуже пакта? И может быть, его бы и не было, если бы капиталисты не вели двойную игру. Так что геноцид Гитлера нелегально, а порой и в открытую, подкармливался западными лжедемократами, с которыми подлинно народной власти быть не может.

Боюсь, как бы всё это не повторилось. Корни-то остались, и ствол продолжает расти, распуская свои ядовитые ветви. Но как бы ни старались клеветники изнасиловать историю, ничего не получится, господа! Я удивлён вашей наглостью! Неужели прогрессирующий склероз окончательно разрушил ваши мушинные мозги? Как поворачивается изъеденный червями язык сравнивать Сталина с Гитлером? Это совершенные антиподы. Меня самого в детстве коснулись репрессии. Я видел своими глазами oprичников, которые вылавливали троцкистов, бухаринцев, разоблачали всякие военные заговоры, направленные против великого Сталина. Я не понаслышке знаю о невинных жертвах, о ночных арестах и расстрелах в подвалах Лубянки, о Соловках и сибирских лагерях. И всё-таки, господа, эти лагеря не были Освенцимом, Майданеком, Равенсбрюком, Бухенвальдом. Там не сжигали в печах немецких военнопленных, не заполняли их евреями, цыганами, поляками, русскими, чехами, прибалтийскими народами, молдаванами, украинцами, белорусами только за то, что они не были арийцами, за то, что их угораздило родиться низшей расой.

Паранойя Сталина была замешана на другом. Он ненавидел капитализм, эксплуататоров, он безусловно верил, что государство, созданное им, беспощадно эксплуатирующее своих граждан, в конце концов превратится в идеальное, созидательное и справедливое. Он не учёл того, что психология человека, его инстинкты не меняются со времён каменного века. Он сажал, не задумываясь веря своим oprичникам, уничтожал классовых врагов. Всюду ему мерещились замаскированные шпионы капитализма, прислужники зажавшихся буржуев, которые всячески мешают ему, вождю мирового пролетариата, очистить мир от безмозглых паразитов и мироедов. Так что не надо всё валить в демагогическую кучу. Уж очень смердит, господа, от вашей клеветы. Не искажайте истину, всё равно Бог всё видит. Кто умеет мыслить и сопоставлять, сравнивать исторические факты, ниогда не поверит в Вашу изищренную и наглую ложь.

Все хорошее и плохое идёт человеку на пользу, если он умеет выбирать. И в горе Бог даёт нам прозрение, но мы его быстро забываем, как только увлекаемся чем-то новым, не понимая, что и там нас может подстергать ещё большее горе. И вообще, когда думаешь о блокадном Ленинграде, битве под Москвой, Севастополе, Сталинграде, Курске, Орле,

Новороссийске, Одессе, о штурме Берлина, сразу понимаешь масштаб всенародного горя. Сколько похоронок, сколько пропавших без вести, замученных и расстрелянных. Вы представляете себе это необъятное мёртвое море из крови и слёз?! И от этого наваждения не спрятаться, не сбежать, не залить душу водкой, потому что пьяная она болит ещё сильнее. Многое нам простит Бог, но не простит никогда, если мы забудем об этом море, если устроим сатанинские пляски на священной памяти тех, кто пошёл на верную смерть за нашу, порой не по заслугам жирную, совершенно бессмысленную и неприкайнную жизнь.

— Все философствуешь, мечтатель! Эстет! — загнусавил дребезжащий голос, и прямо из земли вырос Черчел. — А не много ли ты говоришь о расстрелах? Тебя послушать, то и жизни нет — сплошной геноцид.

— Я имел в виду только то, что в любой ситуации можно многому научиться. Мне, например, невзгоды не прошли даром.

— Скажи, как ты относишься к евреям? — неожиданно спросил он. — Ну, что замаялся, отвечай. Только не ври, я всё равно всё знаю, — и в его глазах я увидел болото и зелёных жаб с волдырями на спине. — Ну, говори, говори!

— Я отношусь к ним так же, как они сами относятся к себе.

— А ты, юнга, ещё и дипломат. Может, расскажешь об Иосифе?

— Но все это происходило, когда я уже работал в театре...

— Не говори в каком, а начни с того, что в одном из театров работал один человек.

— Но я с этого и хотел начать.

— Ну, давай! — и Черчел нырнул в землю, которая расступилась, как вода, и тут же окаменела.

Да, работая с этим удивительным человеком, я испытывал к нему огромное уважение и даже преклонялся перед ним. Звали его Иосиф Абрамович. Он был признанным мастером по костюмам, виртуозом своего дела. У нас были самые тёплые и дружеские отношения. А преклонялся я перед ним, потому что знал, какие жуткие испытания ему пришлось пройти. Родился он и жил в Варшаве, участвовал в демократическом антифашистском движении, как говорится, ходил на волосок от смерти. В разгар оккупации его схватили и заключили в Освенцим, и уже перед самым приходом Красной армии эсэсовцы вывели его со всеми узниками барака на плац, где уже стояли старики, женщины и дети, вырванные из рук почерневших от ужаса матерей. Их барак стоял рядом с площадью, и все вопли и душераздирающие крики были слышны, наводя страх и отчаяние. Заключённые не падали от истощения только потому, что поддерживали друг друга. Несколько пулемётов злое улыбались и были готовы свершить своё жуткое дело. По радио зазвучал гортанно-гнусавый голос:

— Ахтунг, ахтунг! Заключённым разрешается повернуть детей спиной и закрыть им глаза. Во имя великой Германии и её спасения, во имя прогресса западной цивилизации — файер!

И перекрёстный огонь залил кровью обезумевших людей. Иосифа повалили на землю падающие тела. Падая, он прижал к груди девочку, ей было не больше пяти. Она стала кричать, и он закрыл ей ладошкой рот. Наверное, девочке подсказал её ангел-хранитель, что нужно молчать. И она замолчала. Иосиф несколько раз терял сознание и приходил в себя от стонов и криков обречённых людей. Они умирали, истекая кровью, которая заливала ему глаза. А в репродукторе заскрипели ненавистные звуки, напоминающие хрюканье свиней в погребке продовольственного склада:

— Гут, гут! Это всё равно, что глушить рыбу. Я думаю, что такой улов приведёт в восторг самого Гимmlера. Спускайте овчарок! Пусть они приносятся, может быть, в этой куче падали кто-нибудь и живым остался. Пока собаки ищут, выводите следующую партию недочеловеков...

И тут раздался взрыв, снаряд разорвался у самых ворот, образовав дымящуюся воронку. Стая ворон взметнулась вверх и, картаво каркая, полетела в сторону леса. Дрожащий голос орал по радио:

— Скорее, русские на подходе!

Совсем рядом раздалась выстрелы пушек и автоматные очереди. Эсэсовцы, побросав пулемёты, стали прыгать с вышек на землю.

— Гитлер капут! Гитлер капут! — кричали они, качаясь от шнапса, который переполнял их утробу.

А что им оставалось, если на территорию конвейера смерти въехали советские танки? Солдаты, спрыгнув с брони, окружили эсэсовцев и отобрали уставшие от злобы автоматы.

Иосиф лежал, закрывая девочку собой. Трупы вдавили их в землю. Они становились всё тяжелей и тяжелей. Совсем не верилось, что они живы, что всё это происходит наяву, что пули летевшие в него и в ребенка, оказались не дурами и промахнулись.

— Серёга, смотри, по-моему, рука шевелится.

— Да нет, показалось тебе, Ваня.

— Ничего не показалось. Помоги трупы в сторону оттащить... Ну что я говорил, видишь, дышит! Весь в кровавых сгустках, а дышит... А вот девочка мёртвая, вся в кровище. Вот изверги, что делают... Ну-ка давай её перенесем.

— Слушай, а у неё глаза открылись!.. Живая!

— Вот теперь попробуй скажи, что Бога нет!

— Солдатушки, её мама вон в том бараке, — глотая слезы, прошептал Иосиф и опять потерял сознание.

Спасибо бойцам Красной армии! Не знаю, дожили они до конца войны или нет, вечная им слава.

Вот с такой биографией работал человек в нашем театре. А еще с нами работал и царствовал над всеми парторг, фамилия его была Шельман. Опробированный был человек. В КГБ все тесты прошел. Память была хорошая, но мыслить мог только по шаблону. Он был членом худо-

жественного совета, считал себя истинным патриотом, всегда призывал брать пример с революционеров, настоящий «деятель общественных наук». О званиях он мечтал, как о небесной манне, нос свой совал везде и всюду. Его побаивался не только коллектив: Шельмана боялись директор и сам главреж, я уже не говорю о членах партии! Почти каждую неделю парторг отмечался в обкоме и был в идеологическом отделе своим в доску. О любом анекдоте и критике нашей «народной власти» тут же становилось известно идеологам. Несколько человек побывали на беседе в КГБ, где одной актрисе сказали: «Ещё одно замечание, получите «волчий билет», и с театром придётся расстаться!» А она мать-одиночка с двумя детьми. После этого актриса ходила как размятая земляника и старалась не встречаться с Шельманом. Все ей сочувствовали, но держали язык за зубами: никому не хотелось вступать в открытый конфликт с нашим «патриотом», все просто боялись его. А он ходил по театру торжественно и грозно, поглядывая на нас своим крысиным взглядом. В общем, атмосфера была ещё та. Иногда казалось, что он ведёт себя как надсмотрщик в концлагере.

Иосиф Абрамович, конечно, всё это знал. Стоим мы с ним в фойе, и появляется Шельман. Видно, что торопится. И тут мой Иосиф на всё фойе говорит:

— Эй, жидовская морда, пойдика сюда! — и манит «патриота» пальцем.

Я, честно говоря, был в шоке.

— Иосиф Абрамович, — шепчу, — что вы делаете?! Он же в обком побежит.

— Не побежит, он только ползать умеет. Ну, жидяра, иди сюда, кому говорю.

«Ну, — думаю, — всё, сейчас сверкнёт молния, а за ней последует гром». Смотрю и глазам своим не верю: чуть ли не на цыпочках грозный Шельман приближается к нам.

— Что вы, Иосиф Абрамович? Чем я вас обидел?

— Не только меня, но и весь наш древний народ. Ведёшь себя, как пресмыкающееся. Прошу простить за выражение, парторг долбаный! На Иуду молишься, его карьера тебе спать не даёт? Забыл, чем кончается предательство?

— Но я...

— Ты, ты, Шельман, так и не убил в себе раба. Видимо, предки твои были холоуями. Напрасно Моисей старался.

— Но Иосиф Абрамыч...

— Что Иосиф? Когда перестанешь бегать с доносами в обком? Или ты сразу в КГБ?

— Зачем КГБ, моя высшая инстанция обком. Я же коммунист, я на идеологическом фронте...

— Партиец! Когда ты вступал в свою партию, ты забыл надеть галоши, внучек, и теперь, извини меня, от твоих следов идёт неприятный запах. В общем так, я скажу тебе, как старый еврей. Ты что, не знаешь, что такое Освенцим?

— Знаю, какой ужас вам пришлось пережить...

— Не мне одному, Шельман. Я тебя прошу, господин парторг, стань снова евреем. Поверь мне, быть жидом и предателем — это кощунство. Доносчиков презирают везде.

— Иосиф Абрамович, ну какой же я господин? И ни на кого я не доношу. Это всё клевета.

— А то, что начальник строительства Беломорканала товарищ Коган твой родственник — тоже клевета?

— Иосиф Абрамович, всё это сплетни. Говорят, что сам начальник ГУЛАГа чуть ли не мой дядя! Чего только злые языки ни наговорят. Злятся, что я стараюсь быть патриотом.

— Поэтому называешь чёрное белым и наоборот?

— Всё обсуждается честно, но в партийных рамках, так что вы никого не слушайте.

— Ступай, ступай!

— Но я на вас не обижаюсь. Извините, меня ждёт директор.

И он ушел.

— Иосиф Абрамович, он же нажалуется в обком.

— Не нажалуется, если в нём осталось ну хотя бы что-то от еврея.

И ведь подействовало. Шельман стал более обходительным. Но самое интересное — вызовы в КГБ прекратились.

Я храню об Иосифе самые добрые воспоминания. Он пользовался абсолютным авторитетом. Почти все обращались к нему за советом. Он всегда находил золотую середину в любом спорном вопросе, и все мы его звали царем Соломоном. От него я и узнал о забавном факте — о тайном пункте Устава Израильской армии, гласящем следующее: «После начала боя рядовому составу категорически запрещается бегать в Генеральный штаб и давать советы верховному главнокомандующему». Не знаю, может быть, это и анекдот, но Иосиф убеждал меня, что такой пункт в уставе есть, но находится под грифом «секретно» и огласке не подлежит, чтобы не ослабить оборону страны. При этом он лукаво улыбался и просил никому об этом не говорить.

И ещё я запомнил его слова:

— Вадим, если ты в жизни столкнёшься с непреодолимыми препятствиями, и у тебя будет совершенно безвыходное положение, ты можешь обратиться к любой еврейской семье и произнести вот эти слова на иврите. Запиши, иначе забудешь.

— Не забуду, и так запомню.

— Ну, смотри, я тебя предупредил.

— Что же это за слова?

— Переводить их нельзя. Это что-то вроде сигнала «СОС», но главное то, что они сразу проникают в душу. Только обращай к евреям, а не к жидам, и они обязательно помогут.

Слова я, конечно, забыл. И здесь Иосиф оказался прав. Зря я понадеялся на свою память, и, как в сказке о Калифе-аисте, до сих пор не могу вспомнить этих магических слов.

И снова и снова я возвращаюсь в памяти к красавице Риге, к её памятнику свободы с тремя звездами, удивительно похожему на памятник в Москве первому человеку Вселенной Юрию Гагарину, олицетворявшему своей солнечной улыбкой дружбу всех народов Земли. Мне много лет пришлось соприкоснуться с людьми всех трёх прибалтийских республик. Помню только хорошее и доброе. Я бывал во всех больших городах, в столицах и на хуторах — везде меня встречали, как равного. У меня было много друзей. Мне помогали, чем могли, и я отвечал взаимностью. Я храню самые светлые чувства о Прибалтике, о её трудолюбивых людях, о её высокой культуре.

— Стоп травить, жвако галс показался! Не ожидал?

И я увидел Черчела. На нём была белая парадная форма адмирала, рука чуть касалась кортика, на кителе золотились нашивки, а на груди среди множества наград особо выделялся платиновым блеском орден Ушакова первой степени.

— Как видишь, я неплохо усвоил морскую терминологию, флотский сленг и обрел необходимые знания, с какой стороны подойти к высшему начальству. Я, как и ты, добровольно, по указанию Воланда, пришёл послужить на флоте, за пять лет прошёл нелёгкий путь от юнги до вице-адмирала... Не смотри такими удивлёнными глазами. Все мои регалии соответствуют знаниям и неоспоримому таланту. На флоте, как и везде среди людей, личные знакомства имеют первостепенное значение: как посмотрел на вышестоящего, а главное, где и что сказал, решает почти всё.

— Нет, не всё и не все!

— Не спорю, адмиралы Ушаков, Нахимов и твой кумир Николай Кузнецов исключение из правил. А остальные, на радость нам, живут по нашим законам. Не всем же даётся высокое чувство долга перед Отечеством.

— Но таких почти нет, и вы об этом знаете, Черчел.

— Ошибаешься. Нам на радость, выродки появляются то здесь, то там.

— Единицы, — с упорством продолжал я.

— Не спорю. Поэтому Воланд и дал указание поддержать наших ребят, проверить, разобраться, не разучились ли они лицемерить, дать виртуальный мастер-класс, как можно изящно прогнуться и не сломать спину. Правда, не все успевают разобраться... Но бывают и отличники. Для

упрощения выявления так называемых зубрил, не умеющих рассуждать и мыслить, предполагается ввести тестовую «Воланд-лотерею». Проще на-таскать в нужном нам направлении, чем дать углубленные знания и, тем более, обучить принятию осознанных решений. Воланду нужны верные кадры, псы, которые не могут жить без намордников и цепей.

— Но это уже было и много раз повторялось...

— Почему было? Разве сейчас этого нет? Подумай! Можешь не отвечать, и так всё ясно... Вот ты лучше скажи, всё, что ты говоришь о Прибалтике, ты сам в это веришь?

— Верю!

— Тебя послушать, так все небесные ангелы приняли облик людей и живут в Прибалтике. Ты забыл о Таллине сорок пятого года, о парке Кадриорг. Там стоит памятник погибшему кораблю:

Русалка с крестом над заплаканным морем

Прощения просит за всех моряков.

Вспомнил, как на кресте были повешены простые рядовые матросы? Сам Воланд был потрясен этим садистским и кощунственным убийством и тут же распорядился, чтобы банда, замешенная в этом гнусном злодеянии, немедленно попала под прицельный огонь советского СМЕРШа и после этого, не дожидаясь Страшного Суда, без всякого промедления направил её в Гадес, в самое раскалённое пекло. И это вершина справедливости! Воланд, как и я, служит злу и добру и делит между ними справедливость.

Слушая его, я думал, как логично Черчел сопоставляет и анализирует факты.

— Да, в этом случае он поступил, можно сказать, благородно, и я, конечно, знаю, как простой народ Эстонии страдал от этих бандитских выродков с их СС-покровителями.

— Ну нет, ты не совсем прав, — возразил Черчел. — Во всём этом очень много видимого и невидимого, а ты судишь слишком прямолинейно и беспощадно. Во-первых, выродки довольно часто становятся благородными и почти вплотную приближаются к идеалу, и они, конечно, гораздо лучше тех, кто двурушничает и продаёт свой народ на съедение, чтобы удовлетворить свои самые низменные желания. Ты догадываешься, о ком я? Можешь не отвечать. А во-вторых, идеальному человеку с добрым и чистым сердцем почти не возможно устоять перед нашими соблазнами. Живые не видят, как метастазы богатства, бесчестия и беспредельной власти проникают в их подсознание. Поэтому, когда благодетель умирает, клеветы так демонстративно и навязчиво его восхваляют. Все слуги, ещё недавно бывшие подстилками и мальчишками на побегушках, становятся в очередь у гроба, в котором лежит их хозяин и покровитель грабежей и насилия, предводитель тех, кто жрал и пил за счет беднейших и больных. Вот они и поют осанну мертвецу и возвеличивают его непристойные и даже преступные дела — главное, чтобы оправдать себя и вну-

шить, что деятельность их господина была и есть самая справедливая на Земле. А от этого покойного ругать нельзя и говорить можно только хорошее и хвалить, и хвалить, и хвалить. А если хорошего ничтожно мало? Если всё это было видно ещё при жизни, если смерть просто подвела итоги и из мути демагогии наконец-то вывела всех на чистую воду?

Да, логика у Черчела железная, и возразить было нечего.

— Ну что молчишь, москвичонок? Выслушав меня, ты с выводами не спеши и приходи к заключениям своим умом. А сейчас я постараюсь кое-что тебе напомнить. Видишь чаек, летающих в лучах набегающего света?

— Я знаю, это Виндавский маяк.

— Правильно, это порт Вентспилс. До встречи, — и он растворился в мигающем свете маяка.

Чайки закричали и, сделав надо мной несколько кругов, улетели в мою юность. Там на Замковой улице я встречаюсь с Мартой.

— Привет! Рад видеть.

— Я слышала, что ты отличился, и вчерашний шторм... Ещё бы чуть-чуть, и он пустил бы корабль ко дну. За твою храбрость тебе что-нибудь обещали?

— Ну какая храбрость, Марта? Обыкновенная повседневная служба. Ну поштормило немного. Но я же служу не на бумажном кораблике детства, который ухитрялся в лужах после дождя уходить в дальние плавания.

— Вадим, я хочу тебя пригласить.

— Куда?

— Тебя отпустят с корабля на сутки? А лучше сразу на три дня.

— Ты что выходишь замуж?

— Ну, если только за тебя, — и она засмеялась, посмотрев на небо.

— А ты девушка с приданым?

— Ещё с каким! Недаром от ухажёров покоя нет.

— Марта, ну ты же знаешь, я тебе говорил о желании моей матери, чтобы я женился на сироте, у которой ничего нет, кроме души.

И тут появляется Дзидра.

— Привет!

— Марта, вы договорились?

— Только собиралась сказать. Завтра в Теренде ночные танцы.

И тут, словно сговорившись, подлетают ещё несколько подруг.

— Ночные танцы завтра до утра, — повторил я.

— Представляешь, в старинном замке, построенном ещё в средние века!

— Знаю, и не один раз слышал.

— Но Теренде за лесом.

— И расстояние, говорят, километров пятнадцать, не меньше.

— Но ты же великолепно танцуешь!

— Да, да, я люблю танцевать, особенно танго. Но я не пойду — это слишком далеко.

— А ты думаешь, мы пойдем пешком? Мы поедем на лошади — нам Фриц обещал. Мы уже обо всём договорились.

Фрица я знал, он всегда был готов всем помочь. Он отстал, я думаю, что не случайно, от отступающего Вермахта. Жил он где-то на хуторе и часто приходил в город, чтобы купить что-нибудь по хозяйству. Забегал он и Марте, и к Дзидре, был приветливым, но часто замкнутым и молчаливым. Мог всё, что угодно: косить, рыбачить, корову подоить, имел лошадей и телегу, которую сконструировал и сделал сам. В грибах разбирался, как лесной гном. И по-русски вроде понимал, но ничего не говорил. Всё «гут», да «гут». И тут, как по сценарию, смотрю, идёт Фриц. Увидел нас, и прямо к нам.

— Вадим, — говорит Марта, — так завтра в десять встречаемся?

— Думаю, что меня отпустят. В общем, я постараюсь. Здорово, Фриц!

— Я, я, гут, гут!

— Ты повезёшь девчонок на танцульки?

— Я, я, гут, гут!

— Меня возьмёшь? — и на себя показываю.

— О, я, О, гут.

— А обратно привезёшь, не позабудешь?

— Гут, гут.

— Вадим, — сказала Марта, — берём с одним условием — ты будешь только с нами танцевать. Дай слово!.. Раз молчишь — согласен.

— Без очереди — только я! Согласны, девчонки?

Девчонки засмеялись.

— Смеётесь, значит, да. Всё, как договорились. До завтра, в десять вечера. Фриц, не подведёшь, не опоздаешь?

— Я, я, гут, гут!

На другой день мы все собрались и поехали. Замок оказался красивым, но мрачным. Народу понаехало со всей округи! Брички, телеги, велосипеды, с десяток мотоциклов, один даже с коляской! Нашему Фрицу телегу поставить некуда. А нам уже не терпится. Музыка гремит. Несколько человек играют на аккордеонах. Девушек море. В основном, только они. Шум, не поймёшь, кто что играет. Посмотрел я замок. Сколько он перевидал через бойницы высоких стен!

— Ладно, — говорю, — Фриц, мы пойдём, а ты поищи место. Потом встретимся.

Зашли мы с девчонками внутрь: жутковато, но красотища! Танцы на втором этаже в огромном танцевальном зале. Появился оркестр — несколько инструментов. Все зааплодировали. Музыканты, чувствуя своё превосходство над нами, лопоухими, не умеющими играть ну хотя бы на

ложках, очень многозначительно и важно поклонились, а как только заиграли, вся важность куда-то пропала. Чего они только ни выделявали! А один вставал и пел на латышском что-то необыкновенно нежное в ритме танго, щемящее моё юное сердце. Никогда не забуду... Девчонки млели, ожидая кавалеров, но их не хватало. Выделялся из всего мужского состава один латыш лет сорока пяти, в галстук с павлиньим пером. На голове малиновый берет. Все с непокрытыми головами, а он один в своём берете. Девчонок не проведёшь. Марта мне шепчет:

— Симпатичный, неужели лысый?

Я засмеялся, понимая, что это и моя участь. Ходил он в перерыве между танцами посередине зала и, ничуть не стесняясь, в упор разглядывал девушек, которые, смущаясь, опускали глаза. «Как невесту выбирает! От армии сачканул, сразу видно, тыловая крыса, с какого-нибудь хутора в глухом лесу», — подумал я. Как только зазвучала музыка, он плавно и очень уверенно подходил к намеченной жертве и с небольшим поклоном приглашал её на танец. Танцевал он скверно, не попадая в такт, музыку не слушал, зато обеими руками держался за партнёршу, видимо, чтобы не упасть. За один танец он несколько раз успевал отдавить ноги своей избраннице. Он перетанцевал со многими, не останавливаясь ни на одной. Один раз, танцуя, зацепил своим выпирающим задом соседнюю пару.

— Извините, — изрек он, — у музыкантов что-то с мелодией. Особенно труба хромает.

И все равно девочки, глядя с восторгом на его павлиний галстук, берет и крашенные, блестящие как каменный уголь, усы, наверняка, мечтали, чтобы он пригласил их, заранее готовых, что он наступит на ноги, икнёт и, привычно улыбнувшись, скажет заученно и монотонно:

— Извините, пардон, что-то опять музыканты не попадают в такт.

Он даже пригласил пару девочек из моего милого окружения. В общем, танцуем. В перерывах я успеваю рассказать несколько новых анекдотов. Слово моряка держу и приглашаю на танец по очереди моих очаровательных и весёлых спутниц.

Ну а когда объявляется «белый вальс», по правилам, женщины приглашают мужчин. Тут хоть бери руки в ноги и беги. Но ловили на самом выходе, и, конечно, отказать красоте я никогда не мог. И уж больно мне нравился «оплянус»: во время танца любой мог подойти и похлопать в ладоши, тогда я обязан был уступить партнёршу и тут же мог воспользоваться этим же правом, что и делал. В общем, настроение было, что надо.

В перерыве подкатывает ко мне такой кругленький пузатенький мужичок лет пятидесяти в ярко-клетчатом костюме, сразу видно, заграничном.

— Послушай, морячок, — забасил он.

«Пижон в клеточку», — подумал я.

— Выпить не желаешь «баварского»? Пиво, что надо! Немцы, отступая, впопыхах забыли. Полный амбар этого добра.

— Да я, — говорю, — не очень.

— Мы приглашаем из уважения, не откажи. Мы же русские, мы же братья!

Пришлось спуститься в буфет. Четверо молоденьких парней, одетых скромно, не то, что мой пижон в клеточку, встали из-за стола, на котором красовалось бутылок пятнадцать пива.

— Какая честь, — воскликнул самый молоденький, ему было не более шестнадцати.

И тут же все загудели:

— Садись, садись, мы угощаем! Ты из Виндавы? Это моя мечта. Там у меня сестрёнка живёт.

— Случайно не Марта, — спрашиваю, — или Дзидра?

— Нет, нет, её зовут Катерина. Она сейчас в командировке в Риге. Садись, морячок, окажи честь штатскому населению.

Сажусь и чувствую, что происходит что-то странное и не совсем понятное.

— Ну, чего ты ждёшь? Наливай и пей. Пиво, что надо. На дне амбара лежало в специальных коробках.

Ну, я налил, а они стоят и себе не наливают и смотрят с какой-то неумовимой усмешкой.

— А вы?

— А мы пьём за дружбу русских, поэтому тебя и пригласили.

— Какая разница? Русские такие же люди, как и все. И мы все должны быть друзьями.

— Чего же ты не пьёшь?

— За дружбу — можно, — и я сделал пару глотков.

— Русский латышу не товарищ, — отрезал пижон в клеточку. Это вам мозги морочат на политзанятиях, а ты должен своим шарабаном кумекать. Все латыши, как, впрочем, и все прибалты, самые настоящие паскуды! Под нацистов легли, помогали им бордели оборудовать и пополнять их дойным товаром, расстреливать, сперва изнасиловав, маменькиных дочек. А ты говоришь, друзья!.. Ты здесь один?

— Да нет, с друзьями.

— Есть тост! За то, чтоб всех латышей в Сибирь, в телятники на нары!

Тут я, честно, растерялся. Говорят вроде на русском, но взгляд волчий, настороженный. А у одного нет-нет, да и промелькнёт едва заметный акцентик, а уж об ударениях смысловых и говорить нечего. Ну я, конечно, делаю вид, что принимаю весь этот дешёвый спектакль за чистую монету. Но я никогда националистической шизофренией не страдал. На флоте у нас кто только ни служил. И я не помню ни одного случая, чтобы на этой гнилой почве возникал конфликт. Дружба была — водой не разольёшь!

Не прикоснувшись к кружке, я уверенно сказал:

— Немецкое ничего. Если честно, я лучше латышского не встречал.

— Латышского?! Да это же ополоски мути какой-то, натуральные помои!

— Где вы пили помои, не знаю, а я пил ячменное, янтарного цвета, меня на хуторе угощали.

— И не отравили? Странно, наверное, мышьяк кончился, — язвительно вставил шестнадцатилетний.

— Я бы их всех передал, — прошепелявил баском пижон, и, скрывая злобу за кривоугой улыбкой, стал уговаривать, — пей! Ты, может быть, еврей? Они, говорят, почти не пьют.

— Нет, а то бы мне крематория не миновать.

— Ну, ты, допустим, русский, как и я, а вот что всё жидовское отродье сжечь не успели, это жаль.

«Ну, точно, полицай», — пронеслось в голове.

— Послушай, морячок, — зашипел, брызгая слюной, клетчатый, — у нас здесь неспокойно. Нас здесь ненавидят... Ты, значит, не один? А то смотри, местные кокнут, и попадёшь на обед кулачью в болото. Там пиявки с палец человеческий...

А который с чуть заметным акцентом говорит:

— Они же садисты, это у них в крови. Возьмут, штаны снимут и голым задом посадят до утра в муравейник. А уж потом в болото. Столько ненависти у латышей накопилось. Глаза выдавят и вместо них пиявок вставят или головастиков. Сам будешь умолять, чтобы прикончили... Они же звери.

— Да ещё и бешеные, — подхватил пижон, — так что снисхождения не будет.

«Ну, — думаю, — провокаторы, нацисты латышские».

— Знаешь, — немного задумавшись, продолжал пижон, — у Ивана машина, он к трем часам дня должен быть в Виндаве. Да и я поеду, возьмём тебя с собой. А пока поспим на сеновале.

— Да нет, я уж с друзьями.

— А латыши-то среди друзей есть?

— Да, и не один.

— Наивный ты, морячок. Сдадут они тебя по дороге. В этом я могу дать гарантию... Ну как, согласен?

— Нет, — говорю, — значит, судьба. Человек пять-семь, а может, и побольше, на тот свет отправить сумею. А то одному как-то обидно.

Наступила звенящая пауза.

— Ты что, вооружён?

— А как ты думаешь? Нас с корабля без оружия, да ещё на целые сутки, не пускают.

А у самого портсигар с тремя богатырями и больше ничего. Хоть фанерку на шею вешай: «Вооружен и очень опасен», — шучу про себя, а на душе уже не кошки, а рыси скребут, и чувствую, как страх всерьёз обдувает меня леденящим ветерком.

Клетчатый пижон, переглянувшись со своими нац-югендами, спросил:

— А что за оружие?

— Какое-никакое, а моё. Могу при явной опасности применить без предупреждения. Так что с десяток трупов обещаю, а может, и больше, если Бог разрешит.

— Что, и гранаты есть?

— Военная тайна. А то где-нибудь по неосторожности скажете, что моряки на берегу с гранатами ходят.

Пижон посмотрел по сторонам.

— Блефуешь ты хорошо, можно и поверить. Только учти, латыши блефа не боятся. Мы тебя предупредили, хотели помочь, а дальше — дело твоё... А то пошли, отдохнём — и на машине в Виндаву. На хуторах уже петухи поют, вот-вот светать начнет. Пойдём, морячок, не пожалеешь. Ещё и спасибо скажешь.

— Я и так благодарю. Постараюсь быть осторожным.

— Ну, думай, думай. Ещё время есть. Если надумаешь — будем рады. Ждём у крайней башни замка, что справа... Пошли, браточки, на воздух, подышим.

И они ушли цепочкой друг за другом.

«Вот, — думаю, — цепни собачьи, змеи подколенные. А зубы отрасли крокодилы». Настроение, конечно, упало ниже нуля. Захожу в большой танцевальный зал — никого, только пыль ещё висит в воздухе, медленно оседая на паркетный пол. Я напрямик на улицу: кругом крики, ржание лошадей, девицы смеются, мужики курят, кто-то кого-то зовет. Бегаю, ищу своих. «Марта! — кричу, — Фриц! Дзидра!» Неужели уехали?! И мне становится совсем не по себе. Смотрю во все стороны, а Фрица нет. Но... неужели показалось? Да, это он вышел из средней ниши замка. И я заорал, как ужаленный: «Фриц!» — но он даже головы не повернул. Значит, не он...

И что меня потянуло в эту нишу? Она длинная, говорили, через весь замок проходит. Думаю: «А может, они меня на той стороне ищут?» — и быстрыми шагами иду по выложенному камнями полу. Зову снова: «Фриц! Марта! Дзидра!» — никакого ответа. Пройдя тоннель до конца почти на ощупь, я уткнулся в глухую кирпичную стену. «Да такую и торпеда сразу не возьмёт, подкрепления попросит. В средние века строили на века. Вот тебе и выход на другую сторону. Стоп, машина, отработать на задний ход.» Я повернулся и поспешил обратно, но тут же остолбенел: из тьмы, которая меня окружала, на фоне забрезжившего рассвета были чётко видны шесть силуэтов. Они медленно приближались. Всё оборвалось, страх парализовал ноги, какая-то горечь стала скапливаться во рту. «То ли прирезать хотят, то ли топором тукнуть без лишнего шума, — и я представил весь этот ужас. — Сейчас расправятся со мной, как с бараном, и, как бы я ни блеял от предсмертной боли, никто меня не услышит».

Силуэты надвигались, вырастая из темноты. Тут что-то во мне взорвалось, и я завопил: «Ну, гады! Фашисты живучие! Сейчас рванёт и хо-

ронить будет нечего!» Фигуры замерли и стали переговариваться, о чём, я так и не расслышал, но говорили они на латышском. Тогда я заорал ещё громче: «Ну, провокаторы, сами просились», — и, достав портсигар, резко открыл его и снова защёлкнул. В тишине под сводами ниши металлический щелчок прозвучал угрожающе, как боевой взвод пистолета. Силуэты зашевелились и сгруппировались в кучу. «Заволновалось, судье племя!» И я, как захмелевший заяц, заорал: «Полундра! Захотели познакомиться с гранатой? Твари!» — и с отборным корабельным матом ринулся на врага. А мат я знал назубок со всеми морскими узлами, но никогда не употреблял, а тут, видимо, попал в самое яблочко. Нацисты побежали. Когда я выскочил из этой каменной пещеры, их как ветром сдуло, но зато в нескольких метрах от меня стояла лошадь Фрица. Там уже были все в сборе, и на моих глазах телега тронулась. Всё, сил больше не было. Я всё же смог прокричать сорванным голосом: «Фриц! Марта!» Но они не остановились, но когда не осталось никакой надежды, Фриц вдруг обернулся.

— Фриц, это я! Марта!

Лошадь встала, и друзья подбежали ко мне:

— Гут, гут!

— Где же ты был? Фриц тебя обыскался!

— Мы и в замке искали, и на улице.

Они помогли мне влезть на телегу. Я сел чуть ли не под хвост лошади. Фриц с вожжами оказался за моей спиной.

— Гут, гут! — говорил он и, не скрывая радости, широко улыбался, потом закричал: — Но-о-о! — и, заложив два пальца в рот, свистнул.

Лошадь, явно сочувствуя мне, заржала, и мы поехали. Рассвет уже освещал наши уставшие лица. Заморосил дождик. Лошадь бежала резво, как бы понимая, что не она одна, но и мы все торопимся домой. Девчонки вспоминали о танцах, обсуждали малиновый берет и его хозяина.

— Зачем лысину прикрыл? Это же увеличенная площадка для поцелуев.

— А может быть, она от чужих подушек... Или соперницы между смен пока он спит по волоску выщипали.

— Да что ты! Это же больно!

— А они выбирали момент, когда он до тараканьих снов напивался.

— Нет, он местами ничего, хотя и ногу мне отдал. На безрыбье и рак рыба.

— Усы покрасил, брови навёл, как дряхлеющая карга. Но одеклона не пожалел! По-моему, «Тройной».

— Ну, значит непьющий, раз внутрь не употребляет.

— Мужичок справный, и возраст подходящий.

— Не скажи! Они в таком возрасте перед нами бородой метут, так и смотрят, как бы очередную дурёху на рога подцепить.

— Ну чего вы на него напали?! От одиночества и безволосый тюлень кажется Аполлоном.

— А при чём здесь Аполлон? Кому он нужен? Он же мраморный, глаза без зрачков, и всё у него каменное. А этот шевелится, живой ещё.

— Если бы лысину открыл для общего обозрения, смог бы сойти за академика: они ведь почти все лысые.

— Говорят, что лысина — это антенна для приёма великих мыслей.

— Девчонки, что бы мы ни говорили, а усы у него гвардейские.

— С таким целоваться опасно: втюришься, а он начнёт в прятки играть — раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Пока считаешь, он уже в другом городе целуется.

— Я когда танцевала, всё хотела в глаза посмотреть, а они у него, как зайчики-попрыгайки — туда-сюда.

— Дзидра, а тебе он ноги не отдал?

— Ну наступил два раза, за талию держался, поглаживал, отпустить боялся. Ну, думаю, после этого начнёт обхаживать, адресок попросит, глазами-то ещё во время танца раздел.

— Да, видимо, заезженный и вкус к нашим прелестям теряет.

— А я так и подумала, что он извращенец, когда он на меня посмотрел, как на залежалую треску.

— Ну, девочки, о чём мы говорим! Обыкновенный зажавшийся кот. И наверняка, рыжий, брови и усы замазал. Ну котина, сразу видно.

— Извращенец: мужиков-то поубивало, мало их, вот он и на нас поглядывает.

— А толку-то? Мимо меня не один котина не пройдёт, и если у него всё нормально, смотрит, как на золотую рыбку.

Я всё это слушал и удивлялся, с какой лёгкостью и оптимизмом девчонки, опалённые войной, воспринимали жизнь, которая обошлась с ними не совсем справедливо, а порой просто жестоко. «Милые женщины, что бы мы без вас делали?» — думал я. Хотелось скорее на корабль. А девчонки всю дорогу смеялись.

— Хоть бы беретик снял, на землю положил. Руку протянул — ему бы подали.

— Зачем? Я бы его и без берета к себе забрала. Сейчас время такое — пьяниц с помоек подбирают.

— Ты думаешь, их выбрасывают?

— А ты что думаешь?

— Думаю, ну и что ж, что пьяница, его же вымыть, отскоблить можно, наодеколонить, чтобы помойкой не пахло.

— Ну, тогда отобьют. Наодеколоненные, да ещё и отмытые на дороге не валяются.

Смех уже переходил в визг от восторга. Заморосило сильнее. Лошадь махала хвостом. Он то касался меня, то бил по лицу, мокрому от дождя. Пахло сеном, потом лошади и навозом. Я молчал, собирая потерянные мысли. Собрав все до одной, я очень чётко осознал, каким бывает настоящее счастье. Лошадь повернула голову, и я увидел её глаз,

в нём отражались зеленеющие ели. И тут же у самого уха зашептал Черчел:

— Ты ещё не забыл матросиков, висящих на кресте? Для этого я воскресил твою память. А эти провокаторы во главе с одноклеточным в чём-нибудь тебя убедили?

Глаз у лошади стал зеленее елей, которые росли вдоль дороги.

— А ты восхищался Прибалтикой! Конечно, и её иногда посещают ангелы, но постоянно жить не хотят. Надеюсь, догадываешься, почему. Вспомнил, кто есть кто?

— Но я же имею в виду тружеников и творцов, а не червей из канализационных отстойников и выгребных ям общественных туалетов!

— Что у вырожденцев есть шанс, я готов согласиться. Есть, москвиченок, есть! — и лошадь, заржав, подмигнула зелёным глазом, — За свою бессмертную жизнь я видел немало положительных примеров. Выродок — он же всё равно человеческий.

— А я про что говорю! — радостно воскликнул я. — Из червей даже выродка не получится.

— Да, москвиченок, в текущем промежутке времени ты прав. Мы с Воландом стараемся, и уже не один век, но ползучесть и гадость пока не поддаются и выскальзывают из наших когтей. Мне нравится, что ты ищешь справедливость. С нашими возможностями и то не всегда удаётся её найти. Ты печёшься о трудящихся, верных служителях культуры. Ты достоин услышать из моих уст истинную подоплёку войны в Прибалтике, услышать то, что скрывается от её народов: об эксплуататорах и дельцах, которые с награбленным богатством под покровительством СС, словно крысы, сбежали за рубеж с золотом, содраным с умирающих людей, с коронками, вырванными вместе с зубами. Они не брезговали ничем. Что творил этот так называемый «цвет нации»? В Саласпилсе, Олитосе, Слобке, Клооге не раздавали мармелад и розовый зефир. Несчастных раздевали догола, прежде чем швырнуть вместе с их живыми детьми в печи крематориев в этих небольших филиалах фабрики смерти, зеркальном отражении главных концлагерей третьего рейха. Там эта свора с удивлением и садистским любопытством рассматривала детей, которые ползли по трупам, пытаясь раскрыть глаза своим мёртвым матерям. Где сейчас эти насильники, сбежавшие с банковскими сейфами, измазанными кровью евреев, русских и самих же прибалтов, отказавшихся прислуживать кучке паразитов? Они по-прежнему хотят крови обманутых и униженных народов брошенной на растерзание Родины. Вот так! Тут не до потехи! Ты доволен, москвиченок? Как видишь, я тоже за справедливость. Может быть, она когда-нибудь и восторжествует на всей Земле, а пока потерпим. «Каждому своё» — это даже Бог написал на воротах Рая.

Я ловил каждое слово. Лошадь, повернув голову, заржала, но я уже не видел зелени в её обращённом ко мне глазу. Приехали мы в Виндаву, когда солнце палило вовсю.

Вскоре мы опять перебазировались в Боллдерая под Ригу. И вот к нам едет контр-адмирал, командующий военно-морской базы. Разносятся команды по всем кораблям поэкипно построиться на пирсе. Все, как один, со скоростью шквального ветра, обветренные и загорелые построились и стали ждать. В сопровождении офицеров штаба появляется седоватый, уже слегка тронутый старостью, но подтянутый и стройный контр-адмирал.

— Смир-но! Равнение напра-во! — скомандовал наш комдив, и, поднеся руку к козырьку, стал рапортовать: — Товарищ контр-адмирал, экипажи рейдовых тральщиков 319 дивизиона 130 бригады охраны водного района ордена Нахимова первой степени построены по вашему приказанию.

— Вольно! Товарищи матросы, старшины и офицеры, я хочу поблагодарить вас за отличную работу, за мужество, которое вы проявляете при уничтожении мин, несущих смерть нашим подводникам, боевым надводным и гражданским судам. Моряки! С большим удовольствием от лица командующего Краснознамённым Балтийским флотом объявляю вам благодарность с занесением в личное дело и от себя лично выношу вам признательность за вашу службу.

Более-менее дружно, стараясь попасть в такт друг другу, мы отчеканили:

- Служим Советскому Союзу!
- Ура, товарищи!

И это «Ура!» в едином порыве мы закричали так, что в даже в далёком проливе Лаперуза услышали чайки, а значит, и души погибших моряков, ведь в чайках, по преданию, они и живут.

— Моряки, я хочу запомнить ваши лица, — и адмирал пошёл вдоль строя. Неожиданно он остановился и подошёл ко мне. — Что это у вас торчит из-под бескозырки? Снимите ее! Почему волосы дыбом? У вас нет расчёски?

— Есть, товарищ контр-адмирал! — И дёрнуло меня сказать: — А дыбом встали с испуга. Не каждый день нас посещает командующий Рижской военно-морской базы.

На какой-то миг воцарилась тишина, потом раздался громкий смех. Адмирал дождался тишины и совершенно спокойно спросил:

- Это что же, неужели я такой страхолюга?

И опять меня дёрнуло:

— От неожиданности, товарищ адмирал, от страха могут не только волосы дыбом встать. Хорошо, что обошлось, и не надо трусы менять.

И снова раздался дружный смех. Адмирал со строгим лицом, не скрывая недовольства, смотрел на комдива, потом, как бы приходя в себя, медленно произнёс:

— Товарищ капитан второго ранга, с этим матросом, — и он показал на меня, — я жду вас в штабе сегодня в пятнадцать ноль-ноль. Понятно?

— Так точно, товарищ контр-адмирал.

И мы пошли к назначенному времени в штаб. Комдив относился ко всем нам с искренней заботой. Он знал, что я в дивизионе слышу балагуром и тривилой анекдотов, и сам не раз смеялся над моими хохмами и прибаутками. По дороге я услышал от него очень строгое предупреждение:

— Никаких шуток! Дело серьёзное. Командующий обижен. Что бы он ни говорил — молчи! Ты и так с хохмами всю цепь до жвака-галса стравил, так и якорь потерять можно. Понятно?

— Так точно, товарищ капитан второго ранга!

— Пусть ругает, душу отводит. А ты молчи! Может, и обойдётся.

«Уж не Черчеловы ли это проделки? Он ради потехи готов на всё, — думал я, — и в то же время, для него это как-то мелкогато».

Заходим в кабинет командующего — кресла и диван из чёрной лаценой кожи. «Трофейные, — подумал я, — немцы делали». Комдив доложил:

— Явились по вашему приказанию.

Адмирал сурово посмотрел на меня и приступил к полит-воспитательной работе:

— Вы что, не уважаете мундир советского адмирала? Забыли о дисциплине?! На нас военная форма моряков! Что обозначают три белых полосы на вашем синем воротнике?.. И между прочим, за победы в этой войне наш флот заслужил ещё пять полос плюс к этим, — он снова повысил голос. — Устроили посмешище и скомороший балаган!.. По какому году служите?

— По шестому, товарищ командующий. Он из юнг, — ответил за меня комдив.

— Тем более! Вы что, устава не знаете? Да за такое поведение — двадцать суток гауптвахты! Жаль, что устав дать побольше не позволяет. Дать бы вам строгача, да ваши шуточки по весу не тянут. Поработаете, дрова попилите, в комендатуре двор подметёте. Хотя лично я её недолюбиваю, уж очень настырные и не понимают морской службы. А вы? Я вам дважды в отцы гожусь. Разве можно так вести себя советскому моряку?! Мины тралите, смерти в глаза смотрите, а я за вас всех отвечаю, переживаю, пока все вы на базу придете... — наступила пауза. — Что вы молчите? Забыли, что обозначают полосы на вашем воротнике?.. Опять молчите?.. Вы будете говорить?

Я смотрел на комдива.

— Да, действительно, отвечайте адмиралу, — и я по его глазам понял, что пора говорить.

— Полосы за победы Русского флота: за Гангут, Чесму и Синоп. А за моё поведение мне стыдно, товарищ контр-адмирал. Я очень виноват. Да ещё и книги эти подвели.

— Причем здесь книги? — удивился он.

— Я не в одной, а во многих книгах читал, что адмиралы Ушаков, Сенявин, Истомин, Нахимов, ну, в общем, все, когда матросы не терялись, были находчивыми и смело отвечали, вызывая смех товарищей, они никогда не обижались, а наоборот, приветствовали и ставили в пример всему флоту. Я, видимо, перепутал эпохи и забыл, что они были царскими адмиралами, а сейчас у нас действует советский устав. Извините меня.

Контр-адмирал, не ожидая такого ответа, помолчав немного, взглянул на комдива.

— Ну, что прикажете делать? Остаётся только смеяться. А юнга-то с двойными бортами и параванами! Такого никакие мины не потопят. Вы, надеюсь, знаете, что такое параваны? — обратился он ко мне.

— Они от идущего корабля мины отводят, товарищ контр-адмирал.

— Вот, а то, что смеяться над контр-адмиралом нельзя, не знаете, подведите своих командиров, нехорошо, — и он улыбнулся. — А цок вашему тральщику помогает?

— Цепной охранитель корабля уже не раз отводил мину.

— Книжек, говорите, начитались? Нахимов, Ушаков... Ладно, идите, гауптвахта отменяется.

На улице комдив похвалил:

— Добро! Так держать!

И я облегченно вздохнул. Когда мы пришли в дивизион, все только и спрашивали, сколько суток я получил.

— Нисколько. Ещё бы немного, и была бы благодарность. Мы же с контр-адмиралом на флоте служим, а не в комендатуре.

Комдив, проходя мимо, услышал и засмеялся.

— Завтра, по сводкам, придется у моря ждать погоды. Пойдешь в увольнение. Если проявится, сразу возвращайся. Я скажу Кисельникову. Только впредь, прежде, чем бросаться шуточками, подумай! Адмиралы разные бывают. Усвоил?

— Так точно. Говорят, что нас заждался Кронштадт.

— А он моряков всегда ждет. Смотри, если погода улучшится, сразу на корабль.

Рядом с трамвайной остановкой я увидел Черчела.

— Здравствуй, юнга! Погода не улучшится, так что можешь гулять.

— Значит, прогноз верен?

— Да нет, случайное совпадение. Это мы можем все. А прогнозы-синоптики, хотя и научились сопоставлять — и кое-что им удастся, но все равно, по большому счету, это гадание на кофейной гуще. Я, признаюсь, и сам иногда потехи ради рисую и вывожу из гущи непонятные загогулины. А дураков, слава Его Сверхвеличеству, пока ещё хватает. Пусть каждый видит то, что ему хочется. А погодкой заниматься — это для нас мелковато, у нас, как ты понимаешь, другой масштаб. Мы можем шута потрясти Землю, как одеяло и стряхнуть с пылью тех, чье время уже при-

шло, или выпустить всёсокрушающее цунами, спустив волны с вневременных магнитов. Скольких мы утопили, сколько погибло в кипящей лаве, сколько раздавлено завалами!

— Зачем столько, и кому это нужно? Неужели нельзя жить в гармонии или хотя бы стремиться к ней?!

— Это хорошо, юнга, что ты осмеливаешься мне возражать, но по наклонной спускаться легче, чем штурмовать небесные пики. А подсчитывать желающих покататься на колесе возмездия никто никогда и не собирался. Земля каждый день жалуется Богу на произвол самоуверенных новаторов, сосущих ее сок. Вот Всевышний иногда и разрешает напомнить, что конец света реален. Ты можешь это понять?

— Стараюсь.

— Знаю, ты соскучился по дому, поэтому и даю возможность разобрататься во всем самому. В Кронштадте будет подписан приказ, который упакует в конверт. Так что готовься к самому неожиданному. Скажи, юнга, есть ли у тебя желание встретиться с Райнисом? Не отвечай, я и так все знаю. Правильно, вы должны встретиться сегодня. Я разговаривал с ним перед смертью, он настоящий гражданин и поэт Латвии, ну и, конечно, гений, судя по тому, что я к нему приходил. Желая успеха!

Он прыгнул на крышу проезжающего трамвая и схватился за контактный провод. Раздался треск, полетели искры, и повалил густой чёрный дым. На какое-то мгновение мне показалось, что Черчел загорелся, но дым рассеялся, и я увидел, как он спрыгнул на ходу и исчез во дворе старинного дома. «Он все время напоминает о своем могуществе, но я об этом знаю давно», — думал я.

— Лишний раз напомнить об этом не помешает твоему воспитанию, — прогнусавил откуда-то Черчел.

Я оглянулся, но его не было.

— Смотри внимательнее, и ты увидишь невидимое другим.

Я поднял голову. В небе парил, расправив огромные крылья, чёрный орел. Я стоял, любуясь красотой его полета, пока он не скрылся из виду. Мне стало грустно, я молча перебирал в памяти все встречи с Черчелом и думал: «Как было бы хорошо, если бы он стоял только на стороне добра. Это было бы так справедливо». Немного помечтав, я медленно пошел по улице, окруженной домами и газонами, на которых мерзли осенние цветы. Мне казалось, что Рига глазами своих окон смотрит на весь мир, а я смотрю на нее, и мне так не хочется расставаться. Подходя к памятнику Райнису, я невольно спугнул голубей. Они взвились в небо и стали кружиться над городом. Все памятники придумали люди, может быть, для того, чтобы не хранить тяжелую память в душе. Скажи, Янис, это так или нет? Ты молчишь, но в твоём молчании я слышу ответ. Ты всегда видел то, что недоступно другим, потому что у тебя не каменное, а очень доброе и живое сердце. Я не прощаюсь, я уверен, что мы встретимся. До свидания...

Весною наш дивизион полностью перешел в Кронштадт, а летом 1952 года командир нашего тральщика Юрий Кисельников действительно получил приказ в конверте, вскрыть который ему предписано было после того, как мы пересечем большой Кронштадтский рейд и выйдем в Финский залив. После вскрытия конверта, согласно приказу, мы вошли в Неву, прошли Ладожское, а потом Онежское озеро. Чтобы пройти по мелководью, нужно было уменьшить осадку. Нас подняли на понтонах, и мы пошли по знаменитой Мариинской системе.

В районе озера Белого полил дождь, он был не по-летнему холодным. Я поверх рубы надел штормовку и сверху натянул спасательный жилет. Несмотря на дождь, все воспринималось с каким-то восторгом и упоением. Ивы, стоящие на берегу любовались своим отражением. Среди всей этой красоты стояла огромная черная баржа, обтянутая железной сеткой с зазубренными крючьями. Со стороны носа и со стороны кормы возвышались по два непонятных сооружения. Дождь, падающий на баржу, был зелено-ватосерым, а голубые стрекозы, пролетающие над водой, становились ярко-зелеными. «Зачем они летают под дождем?» — пронеслось в голове.

— Какие стрекозы?! Неужели ты не видишь, что это мои глаза. Таких больше ни у кого нет! Когда начнешь узнавать меня с первого взгляда? — и Черчел оказался прямо передо мной. — Ну что, засмотрелся на пейзаж и на ветеранку-каторжанку баржу? Смотри, юнга, смотри! Не отвлекайся и будь очень внимателен!

Чем ближе мы подходили, тем отчетливее я видел: баржа была заполнена серо-зелёной массой, похожей на болотное месиво. «Мы это уже проходили», — подумал я.

— Ты что-нибудь видишь в этой шевелящейся массе? — загнутил Черчел.

Действительно, месиво извивалось и дергалось из стороны в сторону. На поверхности появлялись пузыри, напоминающие человеческие головы. Иногда казалось, что над пузырями взлетали руки и тут же исчезали в непроницаемой жиже.

— Москвичонок, — продолжал Черчел, — если бы ты знал, сколько там материала для рыления и унавоживания почвы! Это самые большие черви на земле. Их перевозят и разбрасывают по пахотным полям. Пусть пережевывают, а если подавятся и сдохнут — сами пойдут на удобрение!

Мы приближались к барже.

— Не подходить! Командиру корабля руль лево на борт! При попытке высадки на баржу стреляем без предупреждения... Право на борт, кому говорят! — орал в «матюгальники» крикуны в плащах до самых пяток. Они повыскакивали из сооружений, напоминающих большие собачьи будки. В руках у каждого был чёрный автомат «ППШ». И тут я все разглядел окончательно: в трюме баржи сидели люди, они держали над собой, ведра, обрывки рогожи и тряпок.

— Это, москвичонок, политзаключенные. Видишь, как охрана бдит?

Трюм баржи был набит цементом.

— Ну, что встали?! Дождя испугались, враги народа! Спасай цемент, контра! — угрожающе кричала охрана в зелёных плащах.

Не верилось, что это были люди. Они возились в серо-зелёной массе, похоже на мутантов трупных червей, и только глаза выдавали, что они принадлежат к человеческому роду. На берегу стояло несколько грузовиков. Заключённые ведрами таскали цемент. Почти все мешки разорвались, и цементом был завален весь трюм.

— Куда прёшь, командир? Захотел пополнить ряды нашего трудового экипажа? — орал стоящий на носу конвоир. — Отводи судно, нам пуль не жалко... Товарищ младший лейтенант!

Из кормовой будки выскочил мужик с пятнистым в рыжеватых крапинах лицом. На нем был укороченный плащ, в руке зловеще поблескивал пистолет «ТТ». «Сразу видно, офицерский сундук с послужным списком и благодарностями за лишение заключённого человеческого облика, за особое усердие и раж перед начальством», — моментально определил я.

— Чего орёшь, Копылов?!

— Судно не подчиняется, товарищ младший лейтенант!

— Успокойся, Копылов, ты что не видишь, это военный корабль. Ты свой автомат, который под дождем обязательно заест, от пушки не можешь отличить? Пусть проходит, если что, наши министры всегда договорятся.

«Сравнивает военный флот со своими надсмотрщиками и любителями доносов! Долбануть бы по рыжим псам из пушек, да заключенные пострадают ни за что!»

— Москвичонок, а если я скажу, что среди них твоего отца нет?

— Моего отца?

— Да, да, твоего. Он в сибирских лагерях, так что можешь применять артиллерию. Заодно ухлопаешь рыжего, бывшего тебя кнутом. Не узнал его? У нас, как и на флоте, ценятся разноплановые специалисты. И вообще, в жизни маленьких ролей нет. Сегодня ты министр, завтра — надсмотрщик или подтирало, уже надоело это повторять. Ты видишь своими глазами, какая бывает справедливость, так что зови комендоров и прямой наводкой!

Я смотрел в его зелёные глаза и ощущал, как эта болотно-зелёная масса заполняет мне уши, рот и через глаза стремится проникнуть в душу.

— Ну, смелей, юнга, смелей! Прямой наводкой.

— Там же люди!

— Какие люди?! Инфузории, поедающие друг друга. Корм для наших умудренных жизнью червей. Ну, давай!

— Простите, но я не могу.

— Кишка тонка, москвичонок, и все же я надеюсь, что со временем, ты оправдаешь наши надежды.

Черчел стал медленно растворяться в струях дождя, и я увидел, как его глаза превратились в зеленых стрекоз. И только когда разразился на-стоящий ливень, стрекозы исчезли.

Мы благополучно прошли Рыбинское водохранилище и к точно на-значенному сроку вошли в Москву-реку. Подняв над собой гирлянду флагов расцветивания, наш тральщик встал недалеко от Крымского мос-та. Наступил праздник — День Военно-морского флота. Ну и дома я, ко-нечно, побывал. Вот такой подарок получили мы за боевую службу. По-том, возвращаясь в свой Кронштадт, проходя мимо Белого озера, я искал баржу, но так и не увидел.

Мы ещё успели несколько месяцев походить на боевое траление, и тут совершенно неожиданно вышло постановление Совета министров: добровольцы могли увольняться. В смятении я никак не мог разобраться, чего больше в моей душе — радости или печали. Я, принявший присягу в шестнадцать лет, только с этого момента имел право носить оружие и в полной мере отвечать за несение военной службы, хотя оружие я держал в руках и до присяги. Кадров на флоте не хватало. Было очень много по-гибших, а новой мобилизации не было. Был только небольшой комсо-мольский набор. Срочная военная служба засчитывалась с восемнадцати лет. Я в принципе был готов служить ещё три года... И я пишу маме пись-мо, в котором стараюсь зарифмовать нахлынувшие на меня чувства.

Здравствуй, мама, я приеду скоро.
Круг спасенья нам бросает Бог.
Море плачет с чайками от горя.
Отслужил достойно твой сынок.

Мама, собираюсь я домой,
Тральщик мой заранее грустит.
Флот Балтийский, верный и родной,
Мне по-флотски, думаю, простит.

Загрустит моя душа по флоту,
По ещё не взорванным чертям,
По работе нашей и заботе,
Чтоб жилось спокойно матерям.

Мамочка, я скоро выезжаю,
Не погиб на минных я полях.
Ты поверь, что я уже страдаю,
Видя сны о грустных кораблях.

Но тебе грустить я не желаю.
Мы с тобой прошли через войну.
Ждешь меня, и я об этом знаю,
Ты простила мне мою вину.

Я сбегал на фронт, но возвращали.
Ты от горя защищала всех!
Похоронок многие не ждали,
Камнем в сердце становился грех.

Мама, очень хочется домой,
Но душа останется со флотом.
Я признаюсь лишь тебе одной —
Тошно жить на свете беззаботно.

Мамочка, встречай, я выезжаю!
Позади смертельный минный страх.
Ты поверь, я всей душой страдаю,
Когда слезы на твоих глазах.

И вот, на восьмом году службы в ВМФ в Кронштадте со своего бое-вого тральщика Т-553 я сбегал по трапу на пирс. Меня провожал весь экипаж во главе с командиром корабля.

Вижу и сейчас, как ребята с грустью в глазах машут мне руками. То-гда я ещё не знал, что это в последний раз. Приехав домой, я постепенно стал входить в ритм гражданской жизни без боевых тревог, метаний глу-бинных бомб по вражеским подводным лодкам, взрывов вытраленных мин, с ностальгией по морю, по друзьям, по флоту.

Моя татуированная грудь, по которой шёл полным ходом трофейный немецкий эсминец с русским названием «Разумный», синее море с чайка-ми и такого же цвета облаками... На мне было семь якорей — перестарал-ся, дурное дело не хитрое. Только в семнадцать стал догадываться, что ничего красивого в этом нет. После этого не сделал на теле ни одной точ-ки. Там, на родной Балтике, мы были членами одной семьи, все мы были татуированы, как дикари с острова Кука. В те времена не только матросы, но и офицеры и даже адмиралы, почти все имели на какой-нибудь части тела смазливую татуировку на морскую тему. Здесь же, на берегу, я ока-зался черной вороной среди белых. На меня смотрели косо, с каким-то нездоровым любопытством, как смотрят на орангутанов в зоопарке. Было стыдно...

Дебильной дедовщины у нас не было. Наоборот, дружба была самой высшей пробы. Девиз «Один за всех, и все за одного» Александр Дюма, наверняка, писал, имея в виду не только французских мушкетеров, но и русских моряков. На флоте шутили и очень по-доброму разыгрывали. Были, конечно, под веселый смех и явные переборы, но человека не уни-жали никогда. Например, появляется на корабле молодой матрос, салага, чистенький, ни одной татуировочки. Боцман объявляет всему экипажу: «На корабле появилась девушка. На матершину, даже корабельную, пол-ный запрет. В гальюн стремительно не входить, там может оказаться де-вица». Если салага заходил в гальюн*, на весь корабль раздавалось: «Куда

прещь, полный назад! Там женщина!» Если кто-нибудь начинал травить анекдот, раздавалось со всех сторон: «Смотри, чтобы конец был приличным. Никаких намеков. Не забывайте, наша красавица может появиться в любую минуту». Наконец у новоиспеченного моряка сдавали нервы, и он клеймил себя каким-нибудь знаком, связанным с морем. Чаще всего это был якорь на руке. Порой было достаточно даже одной буквы или символа SOS. После этого прокатывался тяжелый вздох, и боцман с отчаянием в голосе объявлял: «Опять стало тоскливо на корабле. Была одна-единственная женщина, да и той не стало».

Все смеялись и ждали нового салагу, чистенького, без примитивных картинок, чтобы заставить его стать таким, как все, похожим на ярко-пестрого каннибала, прыгающего на одной ноге вокруг костра с человеческой костью в зубах. Так мы резвились и отводили душу.

Я уже сказал, что по приезде в Загорянку я начал стыдиться своих наколок. А когда прочитал в энциклопедии о татуировке, окончательно понял, какими дураками мы бываем в подростковом возрасте. А написано там было следующее: «Татуировка — нанесение острыми предметами и природной краской рисунков на тело человека. Впервые применялась малайцами, полинезийцами и другими аборигенами, в том числе каннибалами, съевшими славного английского мореплавателя Кука, и унаследована от них не очень умными моряками, воровскими малинами и малокультурными слоями населения». Что моряки — ладно, ума действительно не хватало. Это немного успокаивало, а вот слово «малокультурными» било без промаха, и приходилось на речке сидеть в пиджаке, прятать от девушек руки. Это потом в театре, когда я поигрывал бандюков или какого-нибудь вожака-анархиста из «Оптимистической трагедии», мои наколки высоко ценились. Я надевал прямо на голое тело пулеметные ленты и выходил на сцену, да ещё бил чечетку, вращая глазами, изображая не то хронического алкоголика, не то наркомана, подогретого иностранной контрабандой. Все это выглядело весьма натурально и производило на зрителя впечатление. А в быту, в жизни от всего этого меня корежило. А ведь когда я служил, наколочки казались мне каким-то особенным шиком.

Помню, приехал я в отпуск, и со мной произошел такой случай. В то время было очень модным перешивать флотскую суконку и делать из нее «латышку»: на нагрудных карманах и грудном вырезе ставились сверкающие металлические молнии. Когда я приехал домой, то решил походить в гражданской одежде. Достал из чемодана новенькую «латышку» и надел на себя. Посмотрев в зеркало, слегка приоткрыл грудной разрез, чтобы видно было мачту татуированного корабля. Чего греха таить, делалось все это для форса. Приехал я на Колхозную площадь, там в те времена была одна из лучших сосисочных Москвы. Заказал четыре сосиски с капустой и зеленым горошком, ем потихонечку и смотрю, как с разных сторон меня рассматривают три мужика. Думаю: «Формы на мне нет,

чего они на меня уставились?» Двое было молодых, а третий постарше. Съел я сосиски с капустой, доклевал горошек и пошел к выходу. Не успел открыть дверь, как кто-то схватил меня сзади. Не успел я и глазом моргнуть, как на руках зашелкнулись наручники. Поворачиваюсь, а это те самые мужики.

— Стоять! Мы из МУРа, — и раскрыли перед моим носом свои удостоверения, как сейчас помню, красного цвета с тесненным золотом гербом СССР.

Третий, который постарше, заговорил:

— Извините, товарищ, интересно, что это там? — и потянул за молнию, раскрыв до конца мою исколотую грудь.

— Ребята, да это корабль!

— Ты что на флоте служишь? Или уже отслужил?

— Служу, служу, неужели нет.

— На каком?

— На Балтийском. Я сейчас в отпуске.

— Документы с собой? Саша, сними наручники.

Даю краснофлотскую книжку с отпускным удостоверением.

— Так ты Вадим. Хорошее имя. Ты уж нас извини, мы тебя за рецидивиста приняли, — и показывают фото, на нем и правда похожий чем-то на меня парень, а во всю грудь наколота церковь с куполами и крестами. — Теперь понимаешь, мы мачту твоего корабля приняли за крест. Тебе не встречался этот субъект? У нас есть сведения, что его здесь недавно видели.

— Он что, из тюрьмы сбежал?

— Да нет, месяцев пять прошло, как он в очередной раз вышел на волю и опять за свое. А сейчас такого натворил!

— А что именно?

— Тебе, как морячку, скажем: в Ростове-на-Дону банк ограбил. Субъект ещё тот. Сам весь рыжий, а перекрасился и стал черным.

— И много денег взял?

— Да что там деньги! Его подозревают в изнасиловании и убийстве, а ещё в совращении малолетних мальчиков и девочек. Настоящий злодей! Если случайно встретишь, будь осторожен. Ему терять нечего. Девять граммов свинца и стенка ему обеспечены. Вот тебе телефон, если что — звони.

— Добро, — говорю.

И мы расстались.

Когда пришел с флота со своими наколочками, ощутил на себе все прелести недоверия и подозрительности. Чуть ли не каждый день мою персону обсуждали со всех сторон:

— Ну, наверняка туineaдец, трутень разрисованный.

— Какой трутень, я бандитов сразу определяю, уверен, что у него под мышкой или ещё где выколота «черная кошка».

- Такой молодой и уже успел посидеть.
- Не приведи Господь повстречаться ночью, да ещё под мостом!
- Если встретишься, сразу можешь петь себе: «... и никто не узнает, где могилка моя».

В электричке какая-нибудь бабуля, увидев мои руки, сразу напряглась, снимала с полки сумку или корзинку и, поставив ее между ног, до конца поездки не спускала с меня глаз. Оно и понятно, может быть, я из тюрьмы сбежал и ищу очередную жертву. Злодей татуированный! Маньяк! Вижу я такое дело, пойду, думаю, в Институт красоты, был он на улице Горького. Прихожу, врачом оказалась очень милая и симпатичная армяночка. Посмотрела она на мои художества и сказала:

— А зачем вы решили их удалить? У вас сугубо морская тематика, никаких воровских вывертов и бранных слов. И потом, мы берем плату за каждый миллиметр, все это будет стоить очень дорого, и останутся неэстетичные шрамы. Мы выжигаем электричеством. Ну а корабль на груди мы вообще ни за какие деньги не возьмемся удалять. Прежде, чем мы его выжжем, вы успеете не один раз умереть. Так что путь идет, рассекая волны, своим курсом вместе с вами до конца жизни. И поверьте, флотские сюжеты гораздо лучше, чем безобразные шрамы.

Спасибо ей, тогда я думал про себя, какая красавица, а сейчас понимаю, какая она была умница.

В дни нашей молодости женская красота беспощадно отстреливала нас, холостяков. И мы, три друга: Пётр Прусаков, отслуживший танкистом в Германии, Миша Урюпин — моряк, и я, заключили союз и дали слово даже не помышлять о женитьбе. Первым спустил холостяцкий флаг и сдался на милость невесты Михаил и тут же ушёл на промысел несчастных китов на флотилии «Слава». Мы даже не успели упрекнуть его в вероломстве. В общем, союз дал течь намного ниже ватерлинии. И Петя Прусаков не устоял перед чарами очаровательной Гали. Их любовь, безусловно, освещённая небесами, была видна каждому, кто мог смотреть без зависти и обиды за себя. Через полгода вернулся наш китобоец, и нам выпало счастье быть шаферами на венчании Петра и Галины. Я и сейчас вижу, как мы держим над головами влюблённых сверкающие короны. Он — в подчёркнуто строгом костюме, она — в слепяще-белом, окутанная воздушной фатой, и бесчисленные цветы, смотрящие на молодожёнов восхищёнными глазами.

— Ну что? Опять вспоминаешь? — и я увидел Черчела. — Всё мечтаешь о бесконечном счастье человечества? Успокойся, не тешь себя несбыточным. Лучше вспомни о маме, как в этой же церкви её отпевал священник. Вспомни, как от ударов молотка тебе казалось, что гвозди забивают в твоё сердце, и пронзающий холод превращал в пепел последнюю надежду на чудо. Вспомни ни на что не похожий звук земляных комьев, сыплю-

щихся на поставленный в могилу гроб, и слёзы отчаяния, обжигающие растерянную душу. И снова цветы — этот вечный символ начала и конца бесконечного круга.

— Но если человек будет помнить только самое лучшее?

— А вот это, юнга, совершенно недопустимо. Хотя и является делом наших мечтаний. Забыть о горе и страданиях! Чего захотел. От смеха хочется плакать! — и он засмеялся, размазывая зелёные слёзы по щекам. — Это не удаётся самому Воланду и нам, его верноподданным. Как только мы этого добьёмся, люди навсегда и бесповоротно превратятся в сытое подстриженное стадо. Ну а ты-то сам женился? Знаю, что да. Семейные узы, конечно, сопротивляются скотским взаимоотношениям, но мы стараемся извратить и опохабить целомудренность любви. Сделайте её съедобной, а, главное, хорошо перевариваемой, и результат налицо! Вырвите у женщины вместе с душой материнское чувство и заставьте гордиться количеством абортгов, превратив детоубийство в героический символ времени.

— Но это же апокалипсис!

— Да что ты говоришь, юнга! Это нераспустившиеся цветочки, ягодки впереди. А ты никогда не задумывался, почему от женщины испокон века требовали беспрекословной верности и чаще всего не прощали измены? Молчишь? Женщина, в отличие от мужчины, всегда точно знает, кто отец её будущего ребёнка. Колёса не стоят на месте, они крутятся всё быстрее и быстрее. Глобализация набирает обороты. Вульгаризация грызёт корни выстраданной культуры. Чревоугодие, блаженство самовлюблённости! На всё остальное советую наплевать. Ну, я пошёл, а ты вспоминай, сопоставляй факты и не забывай мыслить и делать собственные выводы. И обязательно открой глаза, а не то я заплачу и увижу через зелёные слёзы Красную площадь, заваленную мёртвыми цветами. Ты посмотри, сколько напыщенных венков! Такого Москва ещё не видала!..

И он, исчез, а воздух ещё несколько мгновений сотрясался его гортанным смехом.

Умер Сталин. Многие искренне сокрушались: «Что теперь с нами будет? Осиротели мы». Кругом слезы и испуганные глаза. Я не плакал, было какое-то нелепое желание вопреки здравому смыслу убедиться, увидеть собственными глазами, что он умер. Ещё вчера было ощущение, что он будет вечно, как Солнце, как звезды. И вдруг его нет... Не верилось. Попасть к вождю было почти немисливо. Все улицы, ведущие к центру, были перекрыты. Один грузовик ставился передними колесами на заднюю часть кузова другого, и все это повторялось, пока они не перекрывали улицу, затем в два ряда солдаты, третьим рядом все это замыкала милиция. А к самому центру уже подтянулась конница. Нескончаемые толпы обезумевших москвичей, рискуя стать калеками или вообще быть раздавленными, рвались к своему учителю и вождю. Там, где толпе удавалось прорваться, пролезая под автомобилями и туловищами перепу-

ганных лошадей, солдаты, как правило, пропускали, создавая лишь видимость, будто стоят стеной. На коне сидел то ли капитан, то ли майор с опухшими от слез ошалелыми глазами, видимо, начальник милицейской конницы. Лошади ржали, а начальник, надрываясь, орал:

— Назад! Сейчас всех подавим, всех до одного подстрижем. С вами по-хорошему, а вы лезете. Ну, куда прете?! Прорвалось, стадо! Человек тридцать уже копытами затоптали, ещё больше по стенам размазали! Лужи крови вон, песком засыпанные! Вам что, жить надоело?! Назад!

Но толпа молча, с фанатичным упорством рвалась вперед. После каждого прорыва оцепления на улице росли горы вещей. На асфальте валялись сумочки, заплетенные мешки, измазанные кровью, туфли, женские чулки в резиночку, порванные юбки и разодранные кофточки. Среди раздавленной селедки, стесняясь своей наготы, лежали лифчики с вырванными пуговицами и оторванными бретельками, но больше всего было галош и ботинок. Среди всего этого ширпотреба в весенней грязи размокали баранки, дрожжи и ржаная мука. Все было пересыпано горохом, землистого цвета макаронами. А дальше — очки, разные протезы, выбитые зубы и вставные челюсти, осколки бутылок, разлитое подсолнечное масло, перемешанное с водкой и таблетками валидола. Весь этот винегрет был обильно полит мочой и заправлен липучей блевотиной, издающей специфический запах. А сверху ползали огромные мухи с зелеными от злости глазами, они мерзли, но никуда не улетали. Мысли скользили: «Откуда столько вредных насекомых? И совсем не видно кошек и собак. Неужели они умнее нас?»

Почти у каждого дома в одинаковых серых плащах и велюровых шляпах, дефилируя взад и вперед, вращая головой, как перископом, месили грязь топтуны — так в народе прозвали тайных охранников и филеров, а проще сказать холуев правящей номенклатуры.

Из окон домов выглядывали лица и тут же исчезали. Паника и безысходность царствовали над городом. Мне повезло, у меня был метрополитеновский пропуск, который действовал как раз в центре в районе Манежной площади. Я видел собственными глазами солидных дам в серых каракулевых шубах, обвешанных чернобурками, — тогда это считалось гламурным шиком. Эти расфуфыренные матроны с нарисованными глазами, источающие на километры вокруг себя запахи самых изысканных духов того времени, лезли через стену с колючей проволокой. Сама стена примыкала к старому американскому посольству и гостинице «Националь». Перелезая через нее, они оказывались прямо перед Манежем и даже не замечали, что их шикарные манто изодраны в клочья — вплоть до нижнего белья. Они были одурманены общим психозом и желанием прорваться, во что бы то ни стало, посмотреть и проститься с отцом всех народов. У одной из них в руке была черно-бурая лиса с оборванным хвостом, а в другой руке — небольшой портрет генералиссимуса. Сталин на нем был очень серьезным, он с осуждением смотрел на весь это бедлам и

как бы говорил: «Дождались? Вот теперь узнаете, как жить без меня». А я подумал: «Приходил ли к нему перед смертью чёрный человек? Ведь все же считали его гением». Усы и брови на портрете были седыми, и все равно, если присмотреться, через седину пробивалась рыжина, а ямочки от перенесенной оспы, всегда тщательно заретушированные, сейчас почернели и делали его лицо трагическим. Я, пользуясь своим пропуском, сумел несколько раз пройти через ритуальный зал Дома Союзов, где он лежал с закрытыми глазами, но мне казалось, что он иногда их приоткрывает и незаметно наблюдает за происходящим. Последний раз, когда я проходил мимо высокого гроба, в почетном карауле стоял Лаврентий Берия, а рядом явно напуганные и растерянные сподвижники вождя. Но я их даже не запомнил. Всемогущий шеф тайной полиции все мое внимание сосредоточил на себе. Помню, сквозь звучание классической музыки я отчетливо слышал, как на его переносице ерзает пенсне, которое он все время был вынужден поправлять. Этот звук, казалось, напоминал писк голодного комара. Реквием Моцарта заставил меня вспомнить о черном человеке. Встретился я с ним во время триумфальных похорон Сталина. Хорошо помню торжественное вхождение любимого вождя в краснокаменный мавзолей к своему соратнику, который при жизни щурил глаза и не на шутку боялся за себя и свою жену, когда с ним работал секретарь партии, этот вроде бы тихий, но абсолютно бешеный, когда дело касалось классового врага, грузин. Черчел рассказывал мне о предсмертных подозрениях вождя:

— Сталин в последнее время возомнил, что он не ученик, а учитель Ленина, только не решался сказать об этом вслух. И ещё ему очень не нравилась рыжина и отметины оспы. «Почему до сих пор не поставили к стенке брадобрея? — негодовал он. — Меня каждый день подкрашивает гример, а рыжина все время прёт на поверхность. Конечно, он агент империалистических разведок. Но убьют меня свои, если не послушаю советов незабвенного Макиавелли. К сожалению, такого философа я так и не нашел среди современников. Сейчас я понимаю, как был прав Мандельштам. Загубили поэта, псы сторожевые, ежёвские последыши. Поздно мне доложили! Пришлось всю эту свору ликвидировать. Как тонко и точно сказано «тонкошеих вождей», «не чужа страны». Это можно только выстрадать. А Берии с толстой шеей я верю. Уж больно власть любит и за женщин готов, конечно, по неосторожности, пойти на виселицу. Мнит себя витязем в тигровой шкуре. Но я-то знаю, что в нем течёт шакалья кровь. Он следует всем моим указаниям и моей великой стратегии, а это покрывает все его слабости, амбиции и животные инстинкты. Для него, как и для меня, самое главное — это сильное государство!»

Когда Сталина вносили в мавзолей, мне показалось, что мраморные плиты почернели от негодования и стены загудели и задвигались, как гигантские губы. «Обезумели! Хотят из меня коммунальную квартиру сделать. Я — исторический монумент, а не партийный склеп!»

— Эй, москвичонок!

Подняв голову, я увидел Черчела на центральной трибуне мавзолея. В своем черном траурном мундире с веточкой желтой мимозы в петлице он стоял ровно на том месте, где обычно принимал парады Сталин.

— Ты слышал, что сказал одностенный пантеон, гранитный храм смерти?! Даже он своим каменным умом понимает больше, чем все вожди, вместе взятые. А этот цветок, — и он вытащил мимозу из петлицы, — эта златокудрая красавица подчеркивает женственность и обаяние прекрасной половины человечества. Сегодня женский праздник омрачен очень печальным событием, — и, выдержав гнетущую паузу, смахнув слезу зеленым платком, Черчел прогнусавил: — Предлагаю мимозу, как символ обожания и любви к товарищу Сталину, оставить на этом самом месте, откуда он приветствовал свой любимый народ, — и он демонстративно возложил цветок на парапет трибуны.

Раздались бурные аплодисменты, переходящие в овации. Я оглянулся, на площади стояла огромная толпа. Черчел вскинул руку и выкрикнул:

— Всё! — мгновенно наступила леденящая тишина. — Всё, товарищи, всё! Прощальная речь закончена. Аплодисменты здесь неуместны, это не зрелище, а похоронный ритуал. После таких оваций можно оказаться на Козьме. Я понятия не имел?

Все молчали.

— Ну вот, молчание это всегда знак согласия.

Двери служебного входа в мавзолей закрыла охрана, и в усыпальнице, похожей на камеру-одиночку, воцарилась мертвящая тишина.

Черчел, сойдя с трибуны, быстро подошел ко мне.

— Послушай, москвичонок, что думали и продолжают думать вожди мирового пролетариата. Это чрезвычайно интересно. В данный момент товарищ Сталин собирается с мыслями в новой обстановке, сейчас раздастся его голос.

— Владимир Ильич.

Тот молчит.

— Товарищ Владимир Ильич, вы меня слышите?

Ленин снова не отвечает.

— Это я — Коба, охрана уже закрыла двери, можем поговорить на чистоту, подслушивающей аппаратуры в мавзолее нет. Я ведь знал, что меня убьют.

— Чего ж вы хотите?.. — прошептал Ленин, едва шевеля губами. — А вы уверены, что нас не подслушивают?

— Ну, если только нечистая сила.

Черчел поперхнулся.

— Кто это кашляет, Коба, вы что простыли?

— Вам послышалось, — Черчел зажал рот рукой, сдерживая кашель, на минуту наступила тишина.

— Что же вы замолчали? В вашей смерти нет ничего удивительного. Убийцы всегда рядом с выдающимся человеком. Окружение завидует и ненавидит любимца народа, великого правителя и полководца. Вы же, Коба, во время войны были верховным главнокомандующим.

— Товарищ Ленин, не только во время войны, но и в мирное время.

— Коба, вспомните Цезаря и Брута, правда, после убийства он раскаялся и подставил себя под мечи врагов, — прошептал Ленин и вдруг громко заговорил, как всегда немного картавя: — Зачем вы отменили НЭП? И каким надо было быть идиотом, чтобы отменить партмаксимум. Пошли на поводу у стяжателей и мироедов, перекрасившихся в красный цвет. Я предупреждал, Коба! Вот и полезло всякое отребье в партию ради наживы, фанаберии и власти, одним словом, синекуры, карьеристы и всякая погань. Разве за них проливали кровь рабочие и крестьяне, передовые дворяне, интеллигенция, которая очистилась от говна? Коба, вы упустили шанс спасти государство. Во время войны перед смертельным боем люди вступали в партию. Те единицы, которые оставались живыми после атаки, надо было срочно отзывать с фронта и назначать на руководящие должности. Вы этого не сделали даже после войны. Это была историческая ошибка, Коба. А что вы натворили с пленными? А с генералом Власовым? Всю камарилью во главе с ним надо было объявить вне закона, а рядовым — объявить амнистию и сказать: «Кто перейдет на сторону Красной армии — медаль за отвагу, а кто захватит с собой связанного немца и трофейное оружие — орден Красной звезды. Политика держится на компромиссах, Коба, а вы с вашим «лес рубят — щепки летят» перестарались. Ещё немного и вместо леса в стране остались бы одни пеньки, что, правда, и случилось.

— Товарищ Ленин, если бы вы были рядом!

— Не подхалимничайте, Коба! Зачем вы после моей смерти гнобили Надю? Она же была вдовой великого Ленина. Свою довели необузданным хамством до самоубийства...

— Я не хотел, я любил ее.

— Зачем расстреляли Бухарина? Любимца партии! Вам не стыдно? Мне Бухарин все рассказал ещё до войны. Играли с ним в голодного кота и разжиревшую мышку!

— Виноват, товарищ Ленин. Виноват, не учел. Потом сам жалел, хранил его труды и перечитывал перед сном.

— Коба, я же предупреждал, чистота партии — залог ее бессмертия! Оторвались от народа, набрали в партию рвачей, торгашей, спекулянтов, лакеев, мечтающих стать за чужой счет буржуями. И вот результат.

— Каюсь, товарищ Ленин.

— Загубить столько невинных людей! Ну ладно, Гражданская война, которую навязала нам ненасытная буржуазия, но в мирное время! Коба, вы сошли с ума!

— Товарищ Ленин, — упавшим голосом произнес Сталин, — а вот здесь я не при чем — враги замучили. Изю всех щелей лезут, как тараканы, не успеваешь давить.

— Бросьте, Коба, вы же с этим народом, кишачим, как вы говорите, его врагами, одержали великую победу над ставленником самой алчной и бесчеловечной мировой буржуазии Адольфом Гитлером. Вы правильно сделали, что обратились к народу, вспомнили великих предков, поддержали церковь. Найти общий язык с иерархами помогло ваше семинарское образование.

— Товарищ Ленин, а как же все ваши безбожные высказывания? Несколько я помню, вы непримиримый атеист?

— Все непримиримые — дураки, Коба.

— Значит Бог есть, товарищ Ленин? Я всегда догадывался!

— А я — нет, поэтому Он меня так рано и прибрал, не дав довести дело до конца.

— А я Его увижу?

— Я пока сам не удостоен чести и не могу добиться разрешения на свидание. Но мы с вами профессиональные революционеры, Коба, и не должны отступать от своих идей ни на шаг. А сейчас в чистилище идет оперативное следствие.

— Так долго?

— Чистилище — это вам не ЧК, здесь на лжи, взятках и разнузданной власти далеко не уедешь.

— Этого не может быть, Владимир Ильич! И почему нельзя уехать куда-нибудь подальше?

— Потому, что преисподняя рядом. Одно нажатие кнопки, и падение в тартарары обеспечено. Самое страшное, что бы мы не сказали, нас не слышат.

— А что именно, Владимир Ильич?

— То, что знают все, кто уважает историю, а не корёжит ее ради сиюминутной выгоды. Народы, Коба, можно обманывать, какое-то время люди будут верить, но нельзя обманывать без конца! Тем более, сейчас, когда народ грамотный и считать умеет не хуже самых лжецов. Это не прежние времена, когда крестьяне, да и рабочие в массе своей были полуграмотными. Сейчас, если будут бесконечно обманывать, самый добрый народ не выдержит поработителей и раздавит, как тараканов!

— Это мы умеем, товарищ Ленин. Давить тараканов — мое любимое занятие. Этих толстосумов. У меня ведь никакого наследства не осталось, ни копейки, все народу оставил. Да и вы тоже, я знаю, товарищ Ленин.

— Кстати, Коба, как обстоят дела с золотом партии? Без финансов мировую революцию ожидает крах.

— Пока все запасы в надежном месте.

— Надеюсь, не в отхожем? Хотя для конспирации и это возможно.

— Я там ни разу не был. Для этого у меня есть доверенные лица. Всего-навсего три человека. Они проверены до пятого колена и умеют хранить тайну.

— Смотрите, Коба, когда о тайне знают двое, это уже не тайна, а у вас, как вы сказали, на объекте трое. Думайте о последователях наших идей. Если они будут нищими, любая революция будет обречена.

— Я с вами полностью согласен, бдительность должна быть на первом месте.

— Не забывайте, что тараканы размножаются со скоростью света.

— Я об этом не раз говорил на заседании ЦК. Мои речи напечатаны в газетах. Думаю, что партия будет следовать моим наставлениям.

— Вы слишком самоуверенны, Коба.

— Товарищ Ленин, утвержденная мною тройка, охраняющая золото, это настоящие церберы с бульдожьей хваткой.

— Ну что ж, Коба, будем надеяться. А сейчас давайте отдыхать, я утомился. Утром откроют мавзолей, и нам придется лежать тихо и смиренно. Не забывайте, мы мертвые. А что до вашего протеже Берии, подозрительная штучка, что-то в нем есть от политической проститутки. Кстати, зачем убили Троцкого?

— Вредил нашему с вами делу, товарищ Ленин.

— Коба, не впутывайте меня в криминал, или вы забыли, что я юрист? Я привык подчиняться только разуму.

— Но и разум подвержен ошибкам. Наверное, вас так же, как и меня, гложут сомнения? Пред глазами встает выдающийся мыслитель Томас Мор с его островом «Утопия». Вы, конечно, помните, что за свою принципиальность и честность он был казнен, но так и не стал оборотнем, что так типично для нашего времени.

— Может быть, действительно, все, о чем мы с вами мечтали, утопия?

— Может быть, и утопия... Но зато мы показали эксплуататорам и их демагогам, что народ нельзя превращать в бесправное быдло, иначе придет Спартак, немецкий Томас Мюнцер, австрийский солдат Фадинггер и наш Иван Болотников или сам Емельян Пугачев со Стенькой Разиным. Тогда не хватит мыла и веревок, и новоявленных господ будут вешать на сухую. А без смазки процедура становится ещё более неприятной. Так уж лучше мы, чем бессмысленный и беспощадный бунт.

— Пожалуй, вы правы, товарищ Сталин. К сожалению, мы, не осмыслив все до конца, ищем в море человеческих страстей несуществующий остров Томаса Мора. А теперь давайте все-таки спать. Хорошо отдохнув, может быть, и поймем, почему праведников обливают грязью и не прощают ни малейшей ошибки. Коба, не вздумайте открыть глаза при народе. Не забывайте, Воланд все видит!

— Владимир Ильич, об этом я знаю. Я разговаривал с писателем Булгаковым задолго до его смерти. А в канун ее он сообщил мне по телефону, что ему назначил свидание чёрный человек. От него же он узнал, что

меня должны отравить. Конечно, открывать глаза я не буду, притворюсь очоженевшим трупом. Лицедействовать я умею и разбираюсь в театре не хуже Станиславского. Если и приоткрою глаза, то незаметно, чтобы понаблюдать за настроением народа. Я думаю, Воланд меня поймет. А что касается Берии, не могу до конца поверить, Лаврентий всегда был моим самым верным соратником. Кстати, он тоже мне очень часто намекал на существование скрытого заговора. Так что я знал о нависшей угрозе, но ничего не предпринимал и преступно перестал быть бдительным, чем и воспользовались притаившиеся враги рабочего класса и трудового крестьянства. Ну, ничего, и на потустороннем свете я буду беспощаден к врагам передового человечества. Спокойной ночи, товарищ Ленин.

— Спокойной ночи, товарищ Коба.

— О каком покое вы говорите? — раздался в крошечной тьме истощенный шепот, и под потолком зазеленели два глаза. — Я прихожу перед смертью только к гениям, поэтому и решил посетить ваши трупы.

— Кто пропустил? — заорал Коба. — В охрану затесались предатели! Где часовые с оловянными мозгами? Никому нельзя верить!

— Успокойтесь, товарищ Сталин, это чёрный человек. Я узнал его по голосу, а для него не существует никаких преград.

— Зовите меня просто и возвышенно — Черчел, вы это заслужили, сами того не зная. А вашего верного сподвижника убьют и очень скоро. Ещё немного, и вы встретитесь с товарищем Берией, но так и не узнаете, кто же лишил вас жизни, по чьей недоброй воле исполнен вынесенный вам приговор. Я, конечно, знаю, но не скажу, догадайтесь сами. И вообще, я смотрю, вам убить человека, как прихлопнуть комара или обречь на голодную смерть муху, посадив ее на липучку.

— Товарищ Черчел, во имя светлого будущего мы и сами готовы на голодную смерть.

— Ой, только избавьте от лозунгов партийной пропаганды. По-вашему, и распределителей не было.

— При мне все было в пределах нормы, скажите, Коба.

— Все знают, что мы были призваны служить правде и справедливости, — заключил Сталин.

— Товарищ Ильич, вы заострили вопрос о Троцком, — и глаза Черчела сузились, почти закрылись. — Я никогда не пойму в этом вопросе товарища Кобу. Да, Лева был политической проституткой, но зачем же убивать, да ещё первобытно-пещёрным способом — при помощи ледоруба?

— Но я отстаивал правое дело трудящихся, — оправдывался Сталин.

Черчел, сверкнув щелчками зеленых глаз, прошипел:

— Помолчите, Коба, и кличка-то у вас разбойничья, и справедливостью от ваших дел даже не пахнет.

— Да я...

— Помолчите, налетчик Коба, я и так все знаю. Разрешаю вам ответить на вопрос: кто отдал приказ об убийстве царя и его семьи?

— Ну, товарищ Черчел, об этом знает не только ЦК, но и вся партия.

— Кто был первым лицом в государстве в 1918 году? Только не говорите, что Ленин.

— Правильно, — закартавил Ильич, — я был только председателем совнаркома и по закону подчинялся товарищу Свердлову.

— В этом и дело, что пламенный революционер, председатель ЦИКа с присущей только ему непоколебимостью дал санкцию на эту подленькую казнь, — заключил Сталин.

— Да, — стал оправдываться Ленин, — Яша очень часто принимал сумасбродные решения, а после информировал только для того, чтобы сделать нас соучастниками.

— Да, — загнусавил Черчел, — не учел ваш Яшка самого главного, что царь — помазанник Божий. Ну и получил то, что желал Воланд, который, узнав об этой мерзости, немедленно натравил на него заморскую заразу.

— Вот теперь все становится понятным, правда, Коба?

— Безусловно, Владимир Ильич.

— Ну вот и разобрались, — подытожил Черчел. — И потом, вы меня очень порадовали, товарищ Сталин, вы почти цитируете мысли из моего трактата «О шее и намыленной веревке». Если бы вы знали, с какими мучками рукопись пробивалась в печать. Вся чиновничья свора мечтала ее сжечь.

— Но рукописи не горят, — отрезал Сталин, — я не всегда понимал Булгакова, но его нужно знать! Надеюсь, вы посещали его перед смертью?!

— Я посещаю всех гениев. А рукописи не горят, пока их не подожгут.

— Товарищ Черчел, я, как основатель Советского государства и вождь мирового пролетариата, полностью согласен с вашими мыслями. Но в истории зафиксированы случаи, когда вешали и благородных людей, например декабристов.

— Что вы говорите, товарищ Ленин! Вы что забыли, что они сами, заранее сговорившись, планировали убийство императора. И более того, даже убили героя войны с Наполеоном. Так что их помыслы о благоденствии многострадального народа были, бесспорно, возвышенны, но действия — преступны. Вы же сами юрист. Скажу больше, если бы это случилось сейчас, их объявили бы хунтой, фанатичными экстремистами и фашиствующим элементом. А то, что задумали вы с Кобой и со своей партией — совсем не утопия. Просто вы совершили непоправимые ошибки и, как говорят в России, наломали дров, вернее, костей, во имя навязчивой идеи. А коммунизм можно построить в любой стране, как бы ее строй ни назывался. И это очень просто. Незначительная кучка предпринимчивых с цепкими когтями может всегда устроить для себя личный коммунизм за счет других. Вот вы говорили о финансах партии. Уверяю вас, золотишко обязательно попадет в надёжные руки. Я думаю в самый нужный момент Барбаросик отправит церберов на живодёрню.

— Коба, кто такой Барбаросик?

— Я сам не знаю, товарищ Ленин. Гитлер напал на СССР, осуществляя план «Барбаросса», а это, по-моему, просто кликуха. Я, как ведущий словесник, утверждаю, что блатной жаргон разьедает язык и общество.

— Похоже, воровская кличка, — утвердительно кивнув головой, сказал Ленин.

— Ну зачем же так несправедливо, — возмутился Черчел. — Я же только что говорил, «Коба» — это кличка, да и ваш псевдоним «старик», Владимир Ильич, близок по смыслу словам «главарь» и «пахан». Нехорошо так говорить о человеке, которого вы не знаете. Ещё не видя, вы его оскорбляете. А, между тем, из таких, как Барбаросик, верных самим себе, целеустремлённых и много говорящих, получаются универсальные кандидаты в члены любой партии.

— Извините, товарищ Черчел, но зачем применять такую жестокость к церберам, — закартавил Ленин, — может быть, их отправить на пенсию или в дом для боевых ветеранов?

— Но главное, кто будет стеречь золото? — процедил сквозь зубы Сталин, и веки его налились свинцом.

— Церберы будут заменены на шавок, ну а дальше — дело техники: в Индийском океане появится какой-нибудь архипелаг, утопающий в изумрудной зелени и россыпях жемчуга... Счастливчик назовёт его, конечно, не «ГУЛАГ», а как-то более благозвучно. Все свершится строго по плану. Барбаросик с ловкостью фокусника распорядится не только золотом! Не зря же Воланд спонсирует зарубежные курсы иллюзионистов, а рыжий уже заполучил чёрный сертификат в красной рамке. Уверен, что ограбят все народное добро с пользой для нашего дела сможет только он. Я представляю, как Барбаросик будет купаться в ласках красивейших женщин! Всех сфабрикованных звёзд он закупит, как говорится, до кучи и будет в розницу кувыряться то с одной, то с другой, пока не перепробует всех, после чего сдаст под проценты сутенёрам, этим блудливым стяжателям женской красоты.

— Да нет, его нужно немедленно расстрелять. Скажите Берии, что это мой приказ, — и Сталин, заскрежетав зубами, продолжал: — Это что же такое? Разве можно национальное достоинство доверять проходимцам?

— Вы правы, Коба. Мне этот тип не по душе.

— Да это же какая-то одноклеточная амёба. А где патриотизм? Где любовь к Родине? Расстрелять, а приговор оформить задним числом. А не то эта пиявка вырастет и высосет всю кровь из умирающей страны.

— Успокойтесь, товарищ Сталин, — загнусавил Черчел, — и вы, Владимир Ильич тоже не тревожьтесь. Лучше отгадайте, какие способы эксплуатации и грабежа ещё до вашего Маркса разработал и внедрил в жизнь Сатана. Даю подсказку: всё это происходило в библейские времена... Владимир Ильич, вы же закончили гимназию с золотой медалью.

— Но я никогда не признавал Библию.

— А зря, — едко вставил Черчел. — Там всё предопределено. А вы, Коба, что на это скажете?

— «И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его».

— Молодцом! Вы не зря учились в семинарии.

— Товарищ Черчел, мы боролись за освобождение рабочего класса, за справедливое распределение прибыли между рабочими и крестьянами, между товарищами всех сословий и национальностей. И я не был бы Лениным, если бы стремился к личному обогащению. Об этом все мои статьи, все книги моего собрания сочинений, вся моя искромётная речь с революционными тезисами, произнесённая с броневики у Финляндского вокзала перед толпой ликующих петроградцев.

— Я бы сказал, перед трудящимися всего мира, — добавил Сталин. — Разрешите выкурить трубочку, Владимир Ильич?

— Вы что, сума сошли, мавзолей — это не общественная уборная. Вы и так прокоптили весь кабинет в Кремле.

— От переживаний, товарищ Ленин, от незаслуженных обид.

— Но я верю, что, несмотря на то, что мы пали, сраженные врагами прогрессивного человечества, наше знамя всё равно восторжествует во всём мире, и никакая смерть не сможет подвергнуть смердящему тлению наши бескорыстные и светлые мечты!

— Да что вы говорите! Мне смеяться или плакать? Я не был бы Черчелом, если бы поверил вашим словам. Запомните: бескорыстна только смерть. Её высшая справедливость в том, что все люди, как один, смертны. Её решение необратимо. Его нельзя отменить никакой верховной властью. Смерть неподкупна, а душам нужен только покой, чтобы ощутить полное счастье. А вот брениое тело находит то, к чему стремится всю жизнь. Все знают, что от могильных червей можно сбежать в пасть крематория или стать проспиртованной мумией, нашпигованной ядовитыми травами и умащенной формалином. Ну что такое миллиарды, все эти роскошные виллы, белоснежные яхты на лазурных берегах Старого и Нового света, власть чуть ли не над всем миром или в какой-нибудь отдельной стране? Всё тщетно! Будет ли труп лежать в золотом гробу, увешенном бриллиантами, или на свалке среди битых бутылок — для червей это не имеет никакого значения. Наверное, это и есть самое справедливое, что пока ещё осталось на Земле: кто-то станет мумией, кто-то попадёт в крематорий, а кто-то — на холодную закуску червям. Это всё, чем различаются люди после смерти. А вы всё о народе! Жили бы, как нормальные хватистые люди, ну не мне же вас учить, что брюхо — ваша частная собственность, а нижнее бельё — ближе к телу, чем абстрактный народ. И совсем непонятна его любовь.

— Товарищ Черчел, что же тут непонятного? Всенародную любовь заслужить не так просто. Я её испытал, ну иногда под небольшим давлением — без этого нельзя. А товарища Ленина народ хоронил в лютый мо-

роз, греясь у костров всю ночь напролёт, чтобы только взглянуть на нашего Ильича. А меня хоронили без костров. Весна! Очень сожалею, что испортил праздник Восьмое марта. Такая печаль! Столько цветов, слёз и венков... Дорогие женщины, простите, — и голос его дрогнул, — что я не сберёг ваших мужей, сыновей, дочерей и родителей! Простите за коллективизацию...

— Ну, товарищ Сталин, нашли, о чём вспомнить. Коллективизация! — перебил Черчел. — Тут не за горами киллеризация всей страны!

— Что-что вы сказали? — удивился Ленин.

— Я говорю, что наёмные убийцы бесплатно не работают. Продолжайте, товарищ Коба, постарайтесь, чтоб в каждом слове ощущалась горечь пролитых слёз.

Пригладив усы, Сталин продолжал:

— Простите за ошибки. Я же хотел, как лучше, простите меня, простите, лучше поздно, чем никогда...

— Коба, что с вами? — опять перебил Ленин. — Вы стали слишком сентиментальны. Стали забывать, что вы закаляли людей в труде и в бою и делали из них нержавеющей сталь и броню.

— Товарищ Ленин, я ваш ученик, это моё подхалимское окружение бивало мне в голову, что я ваш учитель.

— Знаю, Коба, но вы же не до конца поверили.

— Товарищ Ленин, — будто впечатывая каждое слово, возразил Черчел, — сентиментальность — это не совсем плохо. Ну а жалость — это и есть любовь. А то, что говорил ваш буревестник Горький, мол, жалость унижает человека, это, извините, бред! Он мне сам в этом признался, когда я приходил к нему перед смертью.

— Я так и знал, что он гений! — воскликнул Сталин.

— Коба, вы не забыли, что он был и моим другом? Вот только с кончиной его не все так ясно.

— Это сплетни, Владимир Ильич.

— Ну, ну, Коба, хотелось бы в это верить.

— Товарищ Черчел, — быстро перевёл разговор Сталин, — у вас такой объём знаний, вы просто мировая энциклопедия! Я это сразу заметил.

— О вашей интуиции слышаны все члены партии, — заметил Ильич.

— Вот таких, как товарищ Черчел, нам бы в партию, да побольше. Тогда коммунизм был бы обеспечен всему народу, а не жалкой кучке эксплуататоров, в какой бы цвет они ни красились.

— Товарищ Черчел абсолютно прав: никакой масштаб и триумф похорон ещё ни о чём не говорит. Важно, чтобы после смерти время не уничтожило память о человеке, и на могилу бы не плевали, а приносили живые цветы.

— Владимир Ильич, что если мы без рекомендации примем товарища Черчела в ряды нашей партии?

— Спасибо за комплимент и за приглашение вступить в партию, но это мелко для меня. Партии — это удел барбаросиков, но за доверие — спасибо. За это вы заслужили право узнать истину, которую все знают, но никак не решаются произнести вслух. В чём-то товарищ Коба прав — тараканов, безусловно, нужно давить. Но причём здесь коммунизм? А вы, Владимир Ильич, с вашими умозаключениями и прожектами, как были кремлёвским мечтателем, так и остались. Но самое главное, после вопиющих глупостей, опытов, поставленных над людьми, вы дали страшное оружие не способным думать мутантам с искажённой совестью и тремя извилинами: одна для поглощения, другая для испражнения, а третья для наслаждений, как правило, в извращённом виде. После ваших экспериментов человечество живёт по принципу: если в голову пришла хорошая мысль, не вздумай сказать её вслух, если не хочешь лишиться головы. Пусть лучше один дурак придумает очередную чушь, а сотни тысяч «умных» напишут на эту тему диссертации. Люди действительно перестают мыслить. Абсурд возвели в ранг разума. Кликуши и сумасшедшие претендуют на роль пророков. Искривлённые души распространяют наркотики и кривые зеркала. Кривить душой стало подвигом и признаком героизма. Придёт время, и в России коммунизм сделают ругательным, непристойным словом, над величайшими умами человечества станут глумиться. Действительно, при чём здесь коммунизм, если у подавляющей части населения нравственный регресс. При чём здесь рай, если грехи в него не пускают! Если во главе мира становится всё больше и больше потомков Каина, забывших о раскаянии, если сознание людей опускается на уровень неандертальца, о каком светлом будущем может идти речь! Вы представляете, товарищи вожди мирового пролетариата, что бы случилось, если бы на Земле появилось хотя бы шестьдесят процентов неподкупных, высоконравственных людей? Не образованных, не начитанных, не натасканных, не с дипломами кандидатов и докторов наук, а просто от природы разумных, таких, как Андрей Рублёв, Фома Кампанелла, Томас Мор, Сергей Рахманинов, мать Тереза, Евгений Матвеев, Владимир Спиваков, Мстислав Ростропович, Галина Вишневская, Борис Пастернак, Анна Ахматова, Александр Солженицын, Мартин Лютер Кинг, Дмитрий Лихачёв, Андрей Сахаров, Жорес Алфёров...

— Больше половины из этих имён я не слышал, но к этой компании я прибавил бы ещё Робин Гуда, — с воодушевлением произнёс Ленин.

— Да, конечно, всех сразу не вспомнишь, но всё равно маловат процентик. Так вот, если бы шестьдесят процентов имели такое высокое сознание, такую самоотверженность в служении обществу, коммунизм давным-давно был бы построен на всей Земле. Это говорю вам я, Черчел! Весь калейдоскоп жизни и смерти вращается в моём колесе. Исчезают загнивающие цивилизации, появляются совершенно новые формы. Открытия и техника растут с каждым оборотом Земли, жизнь становится более комфортной и бессмысленной. Но душа не поддаётся экспериментам

учёных и новаторов, а тем более, партийных функционеров. Душа человека с её страстями и эмоциями остаётся такой же, какой она была при грехопадении Адама и Евы. И в любую эпоху она точно знала, где граница добра и зла. В ней сосуществуют Воланд и Бог, и никакие новые времена не могут изменить душу, созданную Всевышним. Это было, есть и будет всегда, пока это не надоест сами знаете, кому.

— А кто этого не знает, товарищ Черчел? Мы тоже хотели её переделать, для чего и был создан отряд меченосцев, охраняющих высшую социальную справедливость. И не забывайте, что моя конституция была самой свободной в мире. Вот Владимир Ильич может подтвердить.

— Коба, конституция разрабатывалась под руководством Бухарина.

— Но я усилил основные статьи о свободе и братстве. И потом, моим именем её назвал не я, а народ, и мои меченосцы стояли на страже самой демократической государственной системы.

— Ну, знаете, Кобочка, благи желания, но страшен результат, — и Черчел натужно засмеялся. — Ваши меченосцы, а точнее, сатрапы со своими топтунами, так старались, что принесли больше вреда чем пользы.

— А что с недоразвитых возьмёшь?

— Хотите примерчик?

— Не надо, — проямлил Сталин.

— Расскажите, расскажите, это интересно, — стал подзадоривать Ленин.

Черчел прокашлялся и начал издали:

— Вы, Владимир Ильич, настояли на унижительном Брестском мире. А ведь ещё царь предупреждал, что если Россия не добьёт германский милитаризм, он поднаберётся сил и нанесёт несокрушимый удар.

— Но мир, в первую очередь, был нужен нам, товарищ Черчел, скажите, Коба! Советская власть рухнула бы под натиском немецких штыков.

— Да что вы говорите! — картаво передразнил Черчел. — Советская власть? Вы ещё скажите — народная власть!

— Но это же неоспоримый факт, товарищ Черчел!

— А когда вы, Иосиф Виссарионович, в 1939 году заключили пакт о дружбе и мире с Германией, вы были уверены, что Гитлер вас не обманет?

— Конечно, такого вероломства я не ожидал. Но в тот момент надо было хотя бы создавать видимость партнёрства, ведь у нашей страны было совершенно недостаточно сил, чтобы дать отпор империализму. Для развёртывания военных проектов потребовалось бы несколько лет.

— Но ваши прихвостни и тогда перестарались, да так, что диву даёшься! Даже Воланду не часто удаются такие спектакли. Представьте себе, идёт партийная конференция, повестка дня — «Договор о мире и дружбе с Германией». Делегаты единодушны в своём восторге. Выходя на трибуну, каждый норовит продемонстрировать верность партии: сплошные выкрики и овации из зала и президиума, сидящего за кумачовым столом. Графины с водой вздрагивают и начинают дребезжать от лозунгов и

наигранной шумихи. Перебивая друг друга, делегаты кричат: «Слава СССР! Слава Германии! Да здравствует дружба великих вождей Сталина и Гитлера!»

В самый разгар постановки слово берёт ветеран партии, участник штурма Зимнего и гражданской войны.

— Что же происходит, товарищи? Как можно дружить с фашистами?! Я считаю, что наше правительство сделало грубую ошибку, если не сказать больше. Кроме вреда нашим народам, а точнее, трудящимся СССР и Германии этот договор ничего не принесёт. Гитлер — это же исчадие ада, человеконенавистник, взбесившийся пёс! Вы посмотрите, что он творит! А английский лев виляет хвостом и услужливо смотрит в глаза дрессировщика, у которого мозги сошли с рельсов и валяются под откос!

Наступила зловещая тишина, и было слышно только жужжание мух, прилетевших с помойки соседнего двора. Ветеран так увлёкся, так вошёл в раж, что уже не видел перепуганных глаз делегатов. Осипшим голосом он продолжал:

— Мы, большевики, не имеем права потакать проискам фашизма! Но пассаран! Неужели Испания нас ничему не научила? Адольф Гитлер — злейший враг и могильщик всего передового человечества! — и, взяв стакан, он стал с жадностью пить.

Онемевший от такой речи председатель, наконец-то перестав дрожать, почти шёпотом сказал:

— Может, хватит? Дайте выступить другим.

— Я закончил, — сказал ветеран и пошёл на своё место. Его шаги тонули в тишине оцепеневшего зала.

— Желающие выступить есть? — с обречённым видом спросил председатель. — Вот вы, я знаю, работаете на часовом заводе, я чувствую, вы, Марья Артуровна, хотите что-то сказать.

Делегатка, входившая в актив отдела агитации и пропаганды, которым на общественных началах руководил председатель, встала и решительно подошла к трибуне.

— Товарищи! Я не верю в Бога, но я очень благодарна ему за то, что он дал своё молчаливое согласие, чтобы нами руководил великий Сталин. Я категорически против доводов предыдущего оратора. Взять и оседлать внешнюю политику нашего государства — это не Зимний брат и махать оголённой саблей. Мы должны сказать истории самые благодарные слова за то, что два великих вождя, Сталин и Гитлер, несмотря на провокации, объединились! Слава народам СССР и Германии и их нерушимой дружбе! Ура товарищу Сталину и Адольфу Гитлеру!

И она вскинула руку, копируя нацистское приветствие. Один из делегатов тут же встал и заорал:

— Мы, политкаторжане, прошедшие застенки царского произвола, приветствуем исторический договор! Я, получивший ранение, с этими

наградами, — он показал на грудь с орденами, после чего бросил на ветерана уничтожающий взгляд, — заслуженными на полях Гражданской войны, всецело поддерживаю мудрое решение руководства нашей партии и осуждаю паникёров и провокаторов, которые вносят смуту в наши стройные ряды!

— Ну, всё, товарищи, всё, конференция закончена, — дрожащим голосом пролепетал председатель, вытирая лоснящийся лоб.

— Слава партии большевиков и мудрому руководителю нашей необъятной Родины великому Сталину! — закричала Мария Артуровна...

— Коба, а ведь это действительно культ личности.

— Владимир Ильич, это не культ, а любовь и обожание. Мой народ любит товарища Сталина, и чем больше меня обливают грязью, тем чище становятся мои дела.

— А, может быть, они просто боятся вас? — спросил Черчел.

— Нет, товарища Сталина любят за его ум, честь и непорочную совесть.

— Коба, это нескромно!

— Товарищ Ленин, так решил народ, а я его верный слуга. Я знаю, что вы запрещали тиражировать в печати свои портреты, избегали церемоний и почестей и не могли терпеть дифирамбов в свой адрес.

— Да, я не выношу индюков, восхваляющих себя и красующихся на фоне трудового пролетариата. Большевик обязан всегда быть архискромным, показывая пример рабоче-крестьянскому большинству.

— Не спорю, скромность украшает человека, тем более вождя, но я не могу запретить народу открыто выражать свои чувства.

Ленин хотел ещё что-то возразить, но Черчел недовольно перебил:

— Надеюсь, вы закончили дискуссию, потому что это выражение чувств может завести очень далеко, — многозначительно и лукаво взглянув на притихших вождей, Черчел стал продолжать рассказ.

Делегаты конференции неистово рукоплескали, аплодисменты переходили в овации. Мария Артуровна привычным жестом успокоила собравшихся, которые ждали окончания её выступления. После небольшой паузы она торжественно произнесла:

— Товарищи, нам выпало счастье быть пионерами на пути к сияющим вершинам коммунизма, — и она подняла руку уже в пионерском салюте.

Все встали и запели Интернационал...

Больше всех старался Барбаросик, который по моей просьбе изображал политкаторжанина и героя гражданской войны с двумя орденами Боевого красного знамени. Когда пение закончилось, активистка презрительно посмотрела на ветерана и сошла с трибуны.

— Ну всё, товарищи, всё, — умолял дрожащим голосом перепуганный председатель, — почему вы не расходитесь? Следующая конференция намечается на следующей неделе. Точная дата и время пока неизвестны, так

что заходите, уточняйте, всегда рад видеть, до свидания... — и он, по всем приметам и направлению, побежал в туалет.

Только тогда ветеран всеми клеточками ощутил щемящий вакуум, окруживший его. Даже близкие знакомые прятали глаза и проходили мимо. Увидев старого друга, с которым под пулями через колючую проволоку им удалось бежать из белогвардейской контрразведки, ветеран закричал:

— Сева! — и бросился к нему.

Но Савелий Тихонович, работавший освобождённым секретарём райкома, даже не обернулся и, спотыкаясь, побежал к выходу.

— Сева, стой! — но тот не останавливался.

Ветеран быстрыми шагами пошёл за ним, а делегаты при виде его расступались, пропуская его вперед. Было видно, что все боятся оказаться рядом, словно только что на его лице и руках появились пятна проказы. Возле выхода из обкома стояла черная «эмка». Из машины вышли два молодых человека в одинаково белых рубашках с чёрными галстуками. Их улыбки светились дружелюбием, отражаясь в никелированных фарах. Один из них любезно открыл дверцу машины, а другой жестом предложил ветерану сесть в салон.

— Да ничего, я пешком дойду, спасибо.

— Садитесь, садитесь, все знают о ваших заслугах. Партия чтит своих ветеранов...

— Ну и что? Очень обходительные товарищи. Правда, Владимир Ильич?

— Коба, давайте дослушаем до конца, архиинтересно, чем всё это закончится. Продолжайте, товарищ Черчел.

— «Эмка» не повезла ветерана домой. Обходительные товарищи привезли его на вокзал к арестантскому поезду, который через три часа должен был отправиться в Воркуту. Подводя ветерана к штабному вагону, один из молодых людей крикнул:

— Поезд до Воркуты?

— Так точно, — прошамкал полупьяный майор, начальник поезда.

— Вот, возьми очередного оратора и сдай под расписку. С тебя расписку не берём, ты знаешь, руки у нас длинные, так что головой отвечаешь. Если мы её отвинтим, то прикрутить обратно навряд ли получится. Скажешь, что приговор поступит позже: у нас завал...

Так что, минуя «троечку» трибунала, ветеран оказался в Воркуте. Позже он узнал от лагерного начальства, что осуждён по пятьдесят восьмой статье УК РСФСР.

— Но это же настоящее самоуправство — без постановления особого совещания направляют человека в лагерь! — возмутился Сталин.

— Коба, во время революционных событий и не такое бывало, ты сам это знаешь.

— Владимир Ильич, это тридцать девятый год, в стране изобилие и стабильность! Это уже не шкуродёрство, с которым я устал бороться. Это вредительство, направленное против меня и моего народа. Нужно немедленно отдать распоряжение Берии, чтобы нашёл и примерно наказал. Пусть перетряхнёт архивы и найдёт этих ублюдков. И к стенке их, к стенке, чтобы другим не повадно было.

— Коба, они, наверное, на заслуженной пенсии.

— Владимир Ильич, пулям всё равно, старый затылок или молодой.

— Ну вы дадите мне досказать или нет? — раздражённо фыркнул Черчел.

— Говорите, говорите, — закартавил Ильич.

— Отсидел ветеран предвоенные годы, всю войну и когда узнал о вашей смерти, товарищ Сталин, даже всплакнул.

— Это невероятно! Что же, он и сейчас сидит?!

— А как же! Сидеть ему ещё до 1956 года, когда на XX съезде партии Никита Хрущёв вашими грехами прикроет свои и общепартийные мерзости.

— Ай, каков подлец! Микита! Недоучка, моль подковёрная! Сколько товарищей, преданных делу революции, он лично подвёл под вышку!

— Успокойтесь, Коба, успокойтесь, ревизионисты всегда были и будут.

— Обидно, Владимир Ильич. Вытащил наверх, отмыл от вони, выдвинул в политбюро, а он, оказывается, оборотень, червивая поганка!

— Ну хватит ныть! — рявкнул Черчел. — Не даёте сказать. Змея не виновата, что её пустили погреться за пазуху, а потом стали дёргать за хвост. Что, товарищ Сталин, в погоне за тараканами гадюку-то просмотрели? Не заметили, что словарный запас вашей челяди не содержит слов «честь», «благородство», «милосердие»? Поэтому она будет мстить. Ваша дочь Светлана станет изгоем, сын Василий будет гнить в тюрьме, а потом умрёт в Казани в своей квартире-одиночке на пятом этаже, но не изменит вашему имени.

— Я это знал, я это чувствовал, — взревел Сталин. — У меня созрел великий план спасения государства...

— Ну хватит, хватит, после драки кулаками не машут! Ну, оклеветали вас, товарищ Сталин, оклеветали. Я в этом тоже почти уверен. Только после этого из Москвы в Воркутинский лагерь приедет инспектирующий прокурор, чтобы на месте выяснить, соответствуют ли приговоры совершённым преступлениям. Ещё недавно он и представить не мог, что придётся ездить по лагерям не для чёрной галочки, отметки о дополнительном сроке, а для серьёзного отчёта перед комиссией ЦК, что и сюда, в ледяную изморозь, просочится хрущёвская оттепель. А дело ветерана поручит ему взять под контроль сам генпрокурор. Прокурор, пока доберётся до Воркуты, всё время будет думать об этом деле. Он так до конца и не сможет поверить, что в определении приговора, написанного «трой-

кой» особого разбирательства, ничего не перепутано, и что всю войну и после приговор неукоснительно исполнялся. На другой день после приезда высокопоставленного чиновника, конвой доставит заключённого № 7496 в кабинет начальника лагеря. Прокурор будет сидеть за столом и держать в руках тоненькую папочку, совершенно непохожую на толстые тома, лежащие справа от него.

— Это ваше дело? — и он угрюмо взглянет на политзаключённого. — За что получили срок?

— Не знаю, гражданин начальник.

— Я не начальник, а прокурор.

— Прошу извинить, гражданин прокурор, но я, правда, не знаю, что написано в приговоре.

— Ну а что вам сказали, когда разбирали ваше преступление на особом совещании?

— Не было никакого совещания, и я никогда не слышал и не видел этого приговора.

— А на предварительном следствии?

— Не было никакого следствия, и судебного разбирательства тоже. Меня арестовали и сразу же этапировали в Воркуту.

Прокурор удивлённо посмотрит на ветерана, достанет пачку шикарных папирос «Северная пальмира», раскроет её и предложит арестанту.

— Да, чего только ни бывает, когда Бог спит. Послушайте, что они здесь написали: «За ярко выраженное антигитлеровское настроение, за оскорбление вождя немецкого народа, за клевету на национал-социалистическую партию Германии десять лет лагерей особого режима». Когда ещё в Москве я узнал об этом, я просто не поверил, но мои помощники раскопали в фашистских газетах предвоенных лет статьи, подтверждающие сообщение из СССР по линии гестапо-НКВД: «Во имя дружбы арестован и приговорён к десяти годам лагерей бывший член ВКП (б), участник штурма Зимнего и Гражданской войны за публичное оскорбление канцлера и фюрера Национал-социалистической партии великого Адольфа Гитлера». С этой формулировкой вы просидели всю войну и сидели бы ещё, если бы не XX съезд партии...

— Ну и фантазия у вас, товарищ Черчел! — сказал Сталин, подёргивая усами. — Вы хотите сказать, что после клеветы, вылитой из помойного ведра мне на голову, его выпустят на свободу? Неужели вы поверите в этот абсурд, Владимир Ильич?

— Коба, от чрезмерного усердия ваши меченосцы при явном сквозняке в головах могли натворить и не такое.

— Товарищ Черчел, скажите Владимиру Ильичу, что вы всё это придумали.

— Я рассказал только то, что видел сам и что, как я точно помню, предназначено у нас для всех этих людей. А память моя хранит всё со дня

сотворения мира и всё, что было до него, и всё, что будет после, — и губы Черчела растянулись в улыбке. — Скоро рассвет, очередь в мавзолей уже собирается в Александровском саду. Я порядком устал, и мне нужно поспать.

— А вы разве спите? — удивился Ленин.

— Бог, и то, как вы слышали, иногда спит, а я всё-таки на несколько рангов пониже. Как только Он засыпает, Воланд тут же спускает с цепей свои лучшие кадры. Все гнусности и преступления выходят на свободу, и тогда начинается шабаш! Но худшее впереди. Да, у Адика сорвалось, бывает.

— У какого такого Адика? — сверкнув глазами, спросил Сталин.

— Ну, — загнусавил Черчел, — неужели вы не поняли? Адик — это Ад и К°, а самый яркий представитель фирмы — Адольф Гитлер.

— Сукин сын, а не представитель!

— Если бы он победил, то сказал бы то же самое о вас. Да, у него сорвалось, и сам он попал на крючок. Но, можете не сомневаться, всё пойдёт своим чередом. Геббельсята уже зачаты, а многие уже вылупились в буржуазных инкубаторах, закупленных по всему миру головотяпами и откровенными ненавистниками существующего миропорядка. Они извратят историю и победы превратят в поражения.

— Скажите, где и какие профурсетки носят в утробах этих геббельсят! — закипая от гнева, вскричал Сталин так, что пудра посыпалась с его бледных щёк. — Свяжитесь с Берией, я очень прошу, и скажите, что я приказал произвести облавы по всему миру. Пусть подключит самых лучших сексотов. Вся агентура должна быть направлена на выполнение этой задачи. Всех шлюх, брюхатых геббельсятами, заставить сделать аборт. При малейшем несогласии — расстреливать.

— Круто, товарищ Сталин, круто! Я тоже презираю клеветников, особенно, когда они клеветают за деньги. Но так нельзя, без демагогов и либералов можно сдохнуть от скуки. Ну а мавзолей вам придётся покинуть.

— Не надо! В это я никогда не поверю. Народ не позволит глумиться над своим вождём.

— Придёт время, и Ильича будут дёргать за бороду и требовать, чтобы его выбросили из мавзолея. В оправдании и подготовке почвы для вашего выселения, Владимир Ильич, будут задействованы все телерадиокомпании ОБС.

— Это что, «организованная борьба советов»?

— Нет, ОБС — это «одна баба сказала». Приведу небольшой примерчик. Скажите, что было между вами и Инессой Арманд?

— Любовь, в какой-то степени несчастная, но настоящая.

— Вот-вот, правильно, я-то знаю, на то я и Черчел, когда она настоящая, ей почти невозможно стать счастливой. А с Надей Крупской?

— Это мой боевой друг, жена и помощник, и я её любил революционной любовью, которая гораздо выше, чем просто любовь мужчины к женщине.

— А как же вы ухитрились заболеть сифилисом и переспать со всеми дамами совнаркома?

— Что?! Это низкопробная ложь, рассчитанная на людей, не умеющих мыслить!

— А вы говорите — геббельсята, — заговорил, дрожа от негодования, Сталин. — Да это мог придумать только сумасшедший, маньяк, сбежавший из психушки! Ильич болел сифилисом, всех женщин загонял в свою постель или что — прямо в кабинете на диване?! И что-то не помню, чтобы кто-то заболел этой буржуазной болезнью после общения с товарищем Лениным.

— Спасибо, Коба, спасибо, — подавленным голосом сетовал Ленин. — Может, я и педерастом был? Не удивлюсь, если буржуазные лгуны будут говорить, что я насиловал овец, коров и даже быков. Политические проститутки, подрывающие нравственные устои нашего общества, всё валят с большой головы на здоровую.

— Что правда, то правда, товарищ Ленин. Здесь я с вами абсолютно согласен, даже мне и самому Воланду не может прийти в голову такая наглая и глумливая фальсификация. Но вас, товарищ Сталин, обязательно выбросят, и с вами, Владимир Ильич, постараются сделать то же самое.

— Значит, мало этих эксплуататоров и их агентов мы расстреляли, — сокрушался Сталин.

— Варвары! Гробокопатели! Это кошунство! — негодовал Ленин.

— Ну что вы, как дети. А называть учение о Боге опиумом для народа — не кошунство? А вербовать подающих надежды чертей из моего элитного подразделения — не кошунство! Делать из моих отличников номенклатурных болванов, способных только командовать — не кошунство? По законам генетики...

— А это ещё что за наука?

— Это не наука, это буржуазная лженаука, Владимир Ильич.

— Я понимаю, что в биологических науках вы разбираетесь не больше, чем кухарка в управлении государством. Да будет вам известно, генетика — это наука о наследственности, которая позволяет не только объяснить ход исторических событий в прошлом, но и заглянуть в будущее. Говоря языком фольклора, от бобра — бобрёнок, от свиньи — поросёнок, а вы со своим передовым учением решили, что от чертей родятся ангелы! А теперь я от всего моего чёрного, но справедливого сердца могу пожелать вашим трупам разве что лучика света в этом загробном царстве. Счастливо оставаться! — и два зелёных глаза мгновенно погасли во мраке гробницы.

Мёртвая тишина объяла печальный мавзолей, это внеочередное чудо света, пусть маленькое, по сравнению с пирамидами Хеопса в Гизе, но известностью превзошедшее славу всех других чудес.

После ритуального прощания с вождём, после причитаний и слёз не подкупленных плакальчиков, а простых людей, когда я пришёл домой, у меня сразу же родилось стихотворение:

Я вижу слёзы женщин и детей,
Трагичен голос диктора в эфире,
И чёрным стал от боли мавзолей,
Все чуда ждут от сотворенья мира.

В венках цветов кремлёвская стена,
На мавзолее в страхе полубоги,
От горя замерла великая страна,
Все ожидают воскрешенья бога.

Ещё немного, и воскреснет он,
Генералиссимус могучего народа!
Не верится в реальность похорон,
Все чуда ждут от признанного бога.

Ещё немного, мы умеем ждать,
Сейчас он встанет и подымет мёртвых,
Не даст приговорённых расстрелять
И воскресит тех, кто погиб на фронте.

Мы очень верим, мы умеем ждать.
Ещё чуть-чуть, осталось ждать немного...
Но он не смог из гроба даже встать,
Генералиссимус, похожий лишь на бога!

Прочитав написанное и взвесив всё происходящее, я, не задумываясь, на одном дыхании дописал:

Хоронят инквизитора свободы.
Наш альтруист в изысках похорон.
Он вылез над обманутым народом
И заслонил собою небосклон.

Он против был богатства и царей,
Кричал о равенстве и братстве,
Но это было только для речей —
Своим сатрапам он дарил богатство.

Он захотел идейным богом стать,
Хозяином народов всех и стран,
Учил людей друг друга убивать
Великий мизантроп и интриган!

Там, за бронёй стеклянных колпаков,
Предписывал, за что и как любить.
Он возвышал льстецов и дураков
И заставлял прислужников служить.

Пророчил, что он будет на века,
Над властью власть — железная рука!

Но смерть — экзамен, и для всех — одна.
Ей наплевать на званья и различья,
Нас не спросив, вторгается она,
Поправ законы страха и приличья.

Ползёт лафет без цели и конца,
А он в гробу с оскалом мудрой смерти
Не видит похорон и царского венца,
И самого себя на льстивом постаменте.

Да, смерть одна, и даже для царей:
Червяк вползает в каменное сердце,
Он превращает в сцену мавзолей
И делает законным людоедство.

Идёт спектакль лакейскою рукой —
В ливреях генералы тянут ноги...
А где народ? За чёрною чертой
Окаменевших идолов свободы.

Позже я ходил на Красную площадь, смотрел на мавзолей, на надписи «Ленин. Сталин». «Два таких разных человека. Они не смогут жить в этой коммунальной квартире», — подумал я. И Черчел опять оказался прав. Впоследствии под покровом ночи в мавзолей явилась похоронная комиссия ЦК. На шухере, как всегда, стояли топтуны и держали круговую оборону. Члены комиссии, дрожа от страха, вынесли гроб с трупом Сталина и поспешно закопали в землю. Говорят, когда его опускали, верёвки, извиваясь, как змеи, вырвались из рук, и гроб упал в могилу, раздался треск, будто он раскололся на две части. У одного из могильщиков случился инфаркт, у другого — инсульт, а третий, лично знавший товарища Сталина со времён нэпа, завопил:

— Он жив, он выскочил из гроба! Я видел, как он побежал и перелез через стену Кремля! Я видел на его теле чёрные пятна яда!

Подбежавший начальник почётного караула, похожий на петуха в аксельбантах, чертыхаясь, орал:

— Молчать! Именем закона, молчать!

— А я не буду молчать! Его отравили, но смертельный яд потерял силу и не тронул нашего великого вождя! Я видел, как он перелез через кремлёвскую стену!

— Зашейте рот бедолаге, он сумасшедший! — визжал тощий генерал, похожий на жука-долготела.

— Он живой! — не унимался спятивший соратник отца всех народов. — В последний момент ему удалось выбраться из могилы! Изверги! Вы решили закопать его живым!

— Почему не исполняется приказ?! — взревел генерал. — Связать мерзавца и засунуть кляп в глотку!

— Враги, кругом враги! — растерянно всхлипывал горемыка, когда несколько солдат навалилось на него.

Схватив верёвку, на которой опускали гроб, они скрутили бедняге руки-ноги, и, скомкав газету «Правда», затолкали её несчастному в рот. Он едва успел крикнуть:

— Враги советского народа просчита...

А генерал, забыв, что он генерал, а не ефрейтор, сквернословя на всю Красную площадь, стал командовать. Ему очень хотелось быть похожим на Суворова, но не знал генерал Дерюгин, что его кумир, помимо заслуг перед Отечеством, был высоко культурным и образованным человеком. Но ему хотелось, и он почти по-отечески сказал:

— Служивые, богатыри вы мои, завяжите-ка петлю на конце другой верёвки и накиньте-ка эту удавку психопату на шею, но до конца не затягивайте. Подполковник Могилевский, вы назначаетесь начальником конвоя.

— Слушаюсь, товарищ генерал!

— Этого душевнобольного экстремиста сопроводить в дурдом, а если не будет отдельной зарешеченной палаты, то в Лефортово! В одиночку и никаких свиданий, тем более переписки! Сотрудникам тюрьмы разъяснить и под персональную подписку. Запретить разговоры и вообще какое бы то ни было общение с заключённым. Подполковник Могилевский, вам всё понятно или повторить?

— Понятно, товарищ генерал!

— Чудо-богатыри, орлы вы мои, пристегнуть к карабинам штыки и вперёд! Могилевский, на вас смотрит Родина, командуйте!

— А может быть, сразу в Лефортово?

— Да, пожалуй, так будет лучше. Подполковник, исполняйте!

И, приложив руку к козырьку, генерал достал свободной рукой пачку «Казбека», вытащил папиросу и закурил.

На другой день по Москве поползли слухи, что кто-то из членов похоронной комиссии пытался разоблачить врагов советского народа, что Сталина пытались закопать живьём. Злые языки шептали, оглядываясь по сторонам: «Вы знаете, после таких разоблачений беднягу, случайно попавшего в компанию реставраторов кремлёвских мумий, объявили буйно помешанным и социально опасным и поместили в специальную звуконепроницаемую камеру. Вы знаете?.. Вы слышали?.. Не может быть!.. Нет, нет, это правда». И начались пересуды, что буйно помешан-

ный арестант на самом деле абсолютно здоров, что это человек, у которого проснулась совесть, не выдержавшая такого количества лжи, что он герой и истинный патриот нашей Родины, настоящий Данко, вырвавший свое сердце, чтобы осветить тьму в душах советского народа.

А ещё до того, как расстреляли Берия, приходилось мне ходить, и довольно часто, мимо его зловещёго особняка на садовом кольце. Он и сейчас стоит совсем рядом с площадью Восстания. Знакомые предупреждали меня по дружбе: «Будь осторожен! У него там кругом пулемёты и даже огнёмёты, и охрана ничем не брезгует. Говорят, они даже иногда для разнообразия человечиною питаются! Предпочитают женскую, говорят, она нежнее и очень долго не портится. Говорят, после того, как Берия натешится с очередной красоткой, чтобы она не смогла ничего рассказать, из жертвы делают холодец...» «Ну, ребята, хватит врать, я и в детстве в подобные сказки не очень-то верил». «А шеф человечье мясо не ест, он женщин в постели любит». Я смеялся и шёл на Садовое кольцо, смотрел на этот мрачный особняк, но, на всякий случай, почти бегом проносился мимо этого страшного места.

Представляете, что чувствовали наши милые женщины, особенно молодые и неотразимо красивые. Говорят, на приёме у всемогущего министра государственной безопасности побывали такие знаменитые красавицы, как Зоя Фёдорова и Татьяна Окуневская. Как им удалось вырваться из лап этой «рыжей бороды», которая, на самом деле, была синей и росла не как у всех, а внутрь? Актрисам сперва повезло, участь наложниц их миновала, но лагерей с колючей проволокой они не избежали. А простые женщины, проходившие мимо, я несколько раз сам это видел, с ужасом останавливались, смотрели на особняк знаменитого душегуба и стрелой перелетали на другую сторону Садового кольца. О пристрастиях Лаврентия Берии между собой на кухнях, а то и прямо на улице, понизив голос, говорили почти все москвичи. А в то же время, говорят, человек этот сделал очень много для обороны страны, имел высокое звание маршала Советского Союза, целую кучу орденов, в том числе, пять орденов Ленина. Такова оценка исторической личности, данная партийной номенклатурой.

Мне думается, Воланд в этой сфере имеет определённое влияние. Весь этот парадный фасад, как правило, обманчив. Что скрывается за ним — благородство или скотство — загадка. И когда ответом становится хрюканье или рычание взбесившегося тигра, возвращаться назад неоправдано поздно. Но загадку хотя бы можно разгадать, а вот за раскрытие подобной тайны чаще всего убивают. Из всего этого я усвоил, и не сомневаюсь в этом ни минуты, что все победители стараются облагородить свои низменные поступки и попросту оклеветать и унижить побеждённых.

— Очень правильный вывод. И, конечно же, Воланд имеет влияние, но только не определённое, а безоговорочное и неоспоримое, — ласково зашептала идущая рядом девушка.

На её выющихся волосах играли солнечные зайчики. Отблеск зеленых глаз озарял широко раскрытые ресницы. В её глазах я увидел отчаянный вызов. Неужели она разгадывает мои мысли? Может быть, она и есть та единственная, которую встретит наяву вряд ли возможно? Место встречи знает один Всевышний, поэтому идеально точных встреч без него не бывает. Я остановился и, стараясь скрыть любопытство, спросил:

— Откуда вы знаете, о чём я думаю?

Она остановилась и зашептала:

— Очень жаль, что ваши думы не обо мне. Вы думаете, я вас не знаю, в первый раз вижу? Вас зовут Вадим.

— Да, но я-то вас вижу в первый.

— Будем надеяться, не в последний. Оля, — и она протянула руку. — Может быть, прогуляемся по Садовому? — и в её глазах, в светящейся глубине я увидел своё тонущее отражение.

— Я не против. Даже рад.

— Я приехала навестить тётю, а она уехала на курорт.

— Вы не москвичка?

— А какая разница?

— Но я вижу, что вы не москвичка.

— А вы знаете, где бывший особняк Берии?

— Здесь, на кольце, совсем рядом.

— Неужели это правда? Помню, в детстве я очень боялась, когда слушала сказку о Синей Бороде.

— Не знаю, может, и правда. А вот то, что ложь, клевета и политика — сводные сёстры, в этом я глубоко убеждён.

— Вадим, а если я приглашу на чашечку кофе, здесь близко, через три дома, — и Оля заулыбалась всё поглощающей улыбкой. В её завораживающем взгляде переплелись изнеженность домашней кошки и свирепость голодной пантеры.

Я смотрел в её глаза, и мне казалось, что с каждой секундой я открываю в ней нечто новое и совершенное.

— Но-но! Так дело не пойдёт! — и она погрозила пальцем. — Ну-ка, закройте глаза. Так. А теперь откройте. Вот так-то лучше. И впредь скрывайте, что вы безумно голодный, и никогда не ешьте женщин глазами, если не хотите подавиться.

Раздался ехидный смешок и гундосый голос продолжил:

— Ну, что встал, как вкопанный? Пойдём, погуляем, побеседуем. А ты, оказывается, безоговорочно клюёшь на живца, мечтатель! Оленька, конечно, красавица и действительно не москвичка. Но разве я на неё похож? — и Черчел закашлялся, давась от смеха. — Ну и люди! Садовое кольцо — это же наше колесо, но они этого не знают.

На нём лоснился импортный спортивный костюм, но вместо эмблемы фирмы-производителя, ярко светилась бегущая строка: «Как выжить

в обществе сутенёров и проституток, лохов и кидал. Ведущий эксперт в области маниакальных извращений, прелюбодейства и венерических болезней. Прорицатель и колдун, профессор чёрной и белой магии удалит из совести болевые точки, не дающие покоя ни днём, ни ночью». Последней шла надпись, переливающаяся неоновыми огнями: «Генеральный менеджер по закупке, обмену и продаже живых душ. Мёртвые души не предлагать!»

— Ну как тебе, москвичонок, моя рекламка?

— Неужели есть желающие?

— Сколько угодно! Бронированные двери моей приёмной едва выдерживают натиск толпы, и все норовят сунуть взятку, чтобы пролезть без очереди. А то, что злодеи и победители свои грехи валят на побеждённых, я с тобой абсолютно согласен. Мыслишь ты верно, и мне за тебя не стыдно. А они зря стараются. История постепенно всё ставит на свои места. Я имею в виду не человеческую, а истинную, которая записана в анналах Всевышнего. Ты знаешь, что было дальше, когда Сталина удалось сбежать из могилы и перелезть через кремлёвскую стену?

— Но это же бред психически больного!

— Представь себе, нет!

— Ну пусть будет так, но на территории Кремля его тут же схватила бы охрана! — попытался возразить я.

— Товарища Сталина?! Думай, что говоришь. При его появлении все замирали и боялись пошевелиться. А чиновничья элита вообще с мякиной в голове. Эти акробаты и эквилибристы, которых заждался Гадес, в это время отсиживались в сортирах. Вождь спокойно садился на царь-пушку, раскуривал трубку мира и войны, а кремлёвская челядь, полотёры и судомойки, только и ждала, когда он ударит в царь-колокол.

— А где же он жил?!

— Неужели бомжевал? Главное — он выбрался на свободу, а пустить его переночевать каждый считал за честь. В общем, он прекрасно устроился, жил припеваючи и сейчас живёт среди нас. Иногда он появляется в коридорах Кремля и ночью запирается в своём кабинете. При этом все слышат, как он, листая страницы, скрипит пером, делая поправки в своих сочинениях. Товарищ Сталин великий конспиратор, места его явок и ночёвок засекречены. Мне гораздо проще самому пригласить его, чтобы ты мог пообщаться с ним лично и понять, что такие люди, как он, живут вечно! Тем более, что мы с ним в последнее время перешли на «ты» и стали если не друзьями, то товарищами, и почти по всем глобальным проблемам приходим к консенсусу. А вот с Ильичём посложнее, но и с ним я иногда нахожу общий язык. Мой новый товарищ Коба любит давать короткие интервью. Хочешь, он сейчас предстанет перед тобой, а я, соблюдая правила секретности и по законам жанра, исчезну? Давай, решай, и я его приглашу, а мы с тобой и так видимся довольно часто. Ты готов?

— Готов! Кто бы отказался встретиться с самим Сталиным?!

— Только тот, кому не о чем с ним говорить! Смотри!

И я увидел, как из подъездов и подворотен с лаем выбежала целая стая немецких овчарок, которые стали обнюхивать прохожих, цепенеющих от страха, обращая их в панику и заставляя спасаться бегством. Мгновение спустя улица опустела. Ко мне подбежал огромный чёрный пёс с рыжими пестринами на морде, всем своим свирепым видом выражая дикую неприязнь.

— Дурашка, что тебе нужно? — дружелюбием старался я успокоить его.

Но он зарычал, посмотрел на Черчела и залаял на всю улицу. Мне стало не по себе.

— Фу-у! — повелительно крикнул Черчел. — Не там террористов чуешь, Живоглот!

Но пёс становился всё агрессивнее.

— Фу-у, тебе говорят!

Но чёрный волкодав лаял, захлёбываясь пеной собственной слюны.

— У тебя что, прогрессирующее бешенство? Молчать! — вопил Черчел. — Тебе что, собственная шкура жмёт?! Я тебя сдам живодёрам!

Собака взвизгнула, притихла и виляя хвостом, скуля, поползла к Черчелу.

— К ноге! Место! Слушай мою команду! Доложи по инстанции о предстоящих событиях.

Пёс гавкнул и скрылся в ближайшей подворотне. В это время овчарки обнюхивали столбы, тротуар, урны с мусором, дымящиеся окурки и всё, что валялось на дороге.

— Смотри, москвичонок, смотри, как готовятся к встрече вождя! Учись! Учиться никогда не поздно. Вот это настоящие парфюмеры! Ату! — неожиданно гаркнул Черчел, и внезапно вернувшийся Живоглот стал лаять на овчарок. — Скажи, тебе никого не напоминает эта беспородная псина? Неужели не догадался?

— Почему же? Догадался. Только с нюхом у него что-то не в порядке.

— Да, у него на другое нюх. Ему говорят: «Ищи тротил, гексоген». Он послушно делает стойку, срывается с места и тянет изо всех сил. Ну наши думают: всё, сейчас террористов возьмут с поличным, а он приводит то к самогонному аппарату в чьей-нибудь квартире, то прямо на спиртзавод. Но мы его всё равно держим за собачью верность, и тебе, москвичонок, есть с кого брать пример. Вон, посмотри, как старается!

И я увидел, как пёс в одно мгновение превратился в Барбаросика, а овчарки в проворных и подтянутых ребят в костюмах мышинного цвета. Конопатый бегал от одного к другому и лаял, видимо, забыв, что он снова в облики человека. Черчел побелел от негодования:

— Ты что делаешь?! Государственные секреты выдаёшь?! Говори, как все люди, не выделяйся из масс! Прекрати дёргаться! Смирно!

Барбаросик вытянулся во фронт.

— Отдай распоряжения охране и немедленно возьми на себя командование подразделением «Кабала». Газ применять только если дубинки не выдержат и сломаются. Действуй!

Барбаросик надулся так, что веснушки расплзлись по его лицу, и зарол:

— Агенты, глаз не спускать с вождя! Улавливать каждое желание! Я иду на командный пункт «Кабалы». Не забывают, что кругом кинокамеры, которые автоматически фиксируют для документального отчёта всё, что происходит, и вы как на ладони. Исполнять!

От перенапряжения он гавкнул и исчез в пролете улицы.

— Опять сорвался, рыжий дебил, любит полаять. А вот без мата на этот раз обошелся, знает, что ни я, ни Воланд бескультурье и изьяны в элементарном воспитании не одобряем.

И тут тревожно и навязчиво завывли сирены. По улице промчалась целая вереница чёрных ЗИМов с вращающимися синими мигалками.

— Настоящая власть только тогда власть, когда она всех держит под колпаком. Это не моя мысль. Она принадлежит вашему генералиссимусу, корифею всех наук, величайшему мыслителю всех времён и народов. Всё идёт, как положено. Агенты как всегда на чеку. А «Кабала» на то и есть «Кабала», она отвечает за идейную стабильность и повиновение. Её зубы должны перекусывать всё, что угодно хозяину, но ни в коем случае не поводок, не ошейник, тем более, не намордник. А вот машины со спецсигналами не всегда соответствуют статусу их хозяев. Ну, эти промчались по делу, всё-таки генералиссимус, и надо проверить не только дорогу, но и окружающие объекты. Но ведь целая уйма фон-баронов ездит со спецсигналами, чтобы подчеркнуть свою значимость, а не по государственной необходимости. Могу привести пару примерчиков. Я знаю массажиста, поп-звезду и ещё одного портняжку, которые разъезжают под вой сирен с мигалкам по официальному разрешению! Первый массирует очень крупных начальников, аккуратно обходя все бородавки и фурункулы, второй поёт в бане, когда они моются, и одновременно ухитряется намыливать властные задницы, ну а третий их всех одевает. Я очень боюсь, что если дело и дальше так пойдёт, то скоро любая муха, посидевшая на дерьме высокопоставленного чиновника, будет разъезжать по городу со всеми атрибутами власти. Товарищ Сталин, хотя и перегибал палку и часто ломал её о чью-нибудь голову, но держал все эти мушинные полчища под гастрономическим контролем верных ему пауков. Да и у него всегда при себе раскладная автоматическая мухобойка, он носит ее в кармане кителя. Нажал кнопку — и прибил муху к стенке. И наши brave ребята знают своё дело, потому всегда будут востребованы при любой власти, запомни это, москвичонок! А Коба сейчас появится, ты увидишь, откуда!

Прямо перед нами на асфальте появилась черная тень, которая стала расти, и над проезжей частью завис изумрудно-зелёный аэростат. Из гондолы, висящей на упругих стропах, опустилась верёвочная лестница.

— Веревка, — торжествующе провозгласил Черчел, забираясь в гондолу, — великое изобретение! Оно имеет огромное значение, не меньшее, чем моё колесо. Пока, москвичонок! Я ещё успею встретиться с нашими информаторами из небесной канцелярии. А ты давай, встречай высокого гостя и не задавай лишних вопросов, он этого не любит.

Аэростат, набирая высоту, стал подниматься, а я, задрвав голову, смотрел, как он становился всё меньше и меньше, пока не исчез в облаках под звуки популярной песни моего детства.

Всё выше, выше и выше
Стремим мы полёт наших птиц...

И облака, как занавес необъятной сцены, раздвинулись. В сине-розовом небе стройными рядами летели самолёты. В первом ряду они составили слово «Слава», за ним летел краснокрылый гидроплан, а следом огромные, чуть ли не во всё небо, слова «Великому Сталину!» Когда гидроплан оказался прямо над моей головой, облака сомкнулись — занавес закрылся, и зазвучала новая песня.

О Сталине мудром родном и любимом
Прекрасные песни слагает народ...

Из ближайшего облака стал спускаться шар, похожий на парашют, в его куполе отражалось небо всеми цветами радуги. «Вот она, неземная красота! — думал я. — Но это, конечно, мираж. Черчел настоящий режиссёр-постановщик, мастер высшего пилотажа. Только не понятно, где же обещанный Сталин? Сам он никогда не летал на самолётах. Даже на конференцию в Тегеран ехал на поезде. Для его охраны через каждые сто метров железнодорожного полотна стоял часовой. А парашютист — это какой-то фокус. Вечно у Черчела какие-нибудь сюрпризы! Ну не Сталин же это? В лучшем случае — его вестовой или адъютант». Такого парашюта я никогда не видел: между куполом и человеком серебрился шар. Парашютист опускался всё ниже и ниже, пока, наконец, не коснулся земли в нескольких шагах от меня. На ходу он нажал светящуюся кнопку на ремне, раздался пронзительный свист выходящего воздуха, и шар стал стремительно съезживаться. Парашютист отстегнул стропы и подошёл ко мне — в кителе генералиссимуса, сверкая золотом пуговиц и погон, на меня смотрел Иосиф Сталин. Телохранители замерли на месте, по их собачьим глазам я понял, что всё это происходит наяву.

— Ну, здравствуй, доброволец, романтик моря и идеальной любви. Никогда не летал, не хотел рисковать безопасностью страны, а сейчас, по просьбам трудящихся, нужда заставляет. Во имя гуманных целей мне подарили этот гидроплан. Летаю под охраной моих соколов. Ведь меня

ждут на всех континентах. В наше время всё может быть, и на воду садиться приходилось.

Собравшись с духом, я спросил первое, что пришло мне в голову:
— А на сушу? — и сам испугался своего голоса.

По нависшей тишине я понял нелепость своего вопроса, и по спине побежали мурашки. Глаза Сталина сверкнули, но тут же сощурились в улыбку.

— Он сделан по спецпроекту. Мало того, что он имеет горизонтально-вертикальный взлёт и посадку, аварийную воздушную подушку, реактивный двигатель для стратегического маневра и эвакуационный модуль для полёта в любую точку галактики, это настоящее чудо техники, достойное ста пятидесяти моих премий. А это, — и он показал на сверкающий купол, — шаропарашют. Его мне подарили в придачу к самолёту. Пришлось самому осваивать это передовое изобретение. Он сделан из тысячи слоёв паутины и по прочности превосходит все существующие материалы. Шар надувается автоматически от малейшего перепада температуры и давления. Если купол будет повреждён, что практически исключено, шар возьмёт на себя его функции и обеспечит мягкую посадку. В ход пущены все системы безопасности. Ты же знаешь, сколько захребетников поработанных народов мечтают отправить меня в мёртвый штопор. Не дождутся! А вот мёртвой петли на свою шею им не избежать. В этом со мной согласен товарищ Черчел. Эти буржуи ради трёхсот процентов прибыли пойдут на геноцид своего народа, — и он пристально посмотрел на меня своим тяжёлым взглядом. — А о тебе я слышал, мне Черчел рассказывал. Что это ты там сочинил про мои похороны? Мало того, что прозой, ты еще ухитрился и стихами, ну что ты там накарябал? Что я не мог встать из гроба? А я, как видишь, не только встал, но и полетел. А сколько в мире желающих быть хоть чуточку похожими на меня! А союзников я держал вот в этих руках, — и он показал кулаки. — Английский король Георг вручил меч городу, носящему моё имя. И потом, какой же я инквизитор? Ты что-то перепутал, это Гитлер полуживых, затравленных людей сжигал в печах. А стихи в юности и я рифмовал, но не позволял себе писать небылицы и спекулировать достоинством честных людей. Ну и генералы не все в ливреях, иначе страны давно бы не было, а судить обо мне по совести смогут только независимые потомки. Неужели ты не почувствовал несправедливость и не смог отличить мои чистые, как горный ручей, мысли и бескорыстные поступки во благо угнетённого человечества от потоков зловонной жижи недобитых врагов народа?

Я стоял по стойке смирно, при виде живого вождя, и в моих глазах, наверняка, появилось что-то собачье.

— Как ты мог? И тебе не стыдно? Тоже мне, Манделыштам нашёлся, — придавил меня взглядом Сталин.

Я набрался смелости и через силу выдавил из себя:

— Но в этой жиже есть доля правды...

— Что ты мелешь? — глаза вождя стали похожи на прицелы снайперских винтовок. — Ты, наверное, во время войны слушал по радио речи Геббельса?

— Радиоприёмник мы сдали сразу, как только вышло постановление.

— Значит, сейчас слушаешь вражью агитацию?!

— Нет.

— Тогда почему ты со мной не поздоровался? С перепугу что ли?!

— Здравствуйте, товарищ генералиссимус Советского Союза!

— Отставить! — скомандовал Сталин. — Переходи на «ты». Для тебя я не генералиссимус, а просто Коба. Так хочется вернуться в революционную юность. Ну, что тебя интересует?

— Это правда, что вас отравили?

— Ты что, не понял моего желания? — недовольно спросил Сталин. — Мы разговариваем на «ты». Это моё распоряжение. Тех, кто не исполняет моей воли, а также всех изменников Родины, предавших светлые коммунистические идеи, ждёт... — и он сделал паузу, — внутренний двор Лубянской тюрьмы. Ты, конечно, не видел этого прекрасного зрелища. Нет, не аутодафе, слишком много чести. Всё же на кострах сторели Жанна Д'Арк и Джордано Бруно. А этих свиной можно было бы просто насадить на крючья и поджечь их заплывшие салом туши, как это сделал Адик, — и он опять сделал паузу, — надеюсь, ты знаешь, кто это. Адольф почти всех, причастных к покушению на его жизнь, отправил на скотобойню и приказал повесить их там за горло. Ты слышал про красного генерала Власова и белого генерала Краснова, так вот повесили — самым банальным способом. Ну, повтори ещё раз вопрос.

— В народе говорят, что тебя отравили.

По лицу Сталина пробежала довольная улыбка.

— А ты соображаешь. А насчёт отравы — всё может быть. Черчел говорит, что это можно будет определить не раньше, чем лет через сто, что к таким личностям, как я, применяется самый изощрённый яд, который нельзя обнаружить никакими методами анализа. А ты не хочешь спросить про отца? — и Сталин испытующе взглянул мне в глаза, он понимал, что задел за живое. — Он сидел по пятьдесят восьмой статье.

— Я знаю.

— Я прочитал его предвоенное письмо. Оно произвело хорошее впечатление. Было приятно, что у меня есть такие принципиальные и отважные единомышленники. А ты знаешь, что его освободили?

— Да, но потом...

— Замолчи. И прими мои извинения. Началась война: столько забот, столько ответственности. Ну а моё шакальё, как всегда без моего ведома завершило своё гнусное дело... Я вот сейчас в каждой стране, в каждом народе ощущаю страстное желание передать власть мне, чтобы я навёл порядок в их коррумпированных государствах. Буржуи вертятся, как червяки на раскалённой сковородке, лгут и изворачиваются — ни слова правды

народу. Я вот жду, когда же они, наконец, захлебнутся от своей алчности. Провозгласили себя экономическими мудрецами, говорят о будущем страны и росте благосостояния трудящихся, а на деле их мозги давно переехали в желудок! Когда я каждый день слышу своё имя, я ощущаю себя незаменимым, живущим в миллиардах человеческих душ. Вот это настоящее бессмертие! Никогда пустота, заполненная жратвой, не заменит человеческую душу. Хорошо сказано, правда?

— Да, великие слова!

— Не льсти, это сказал не я. Ещё вопросы есть?

— Очень много, и не только у меня.

— На все вопросы тебе ответит Черчел. Спрашивать можно в письменном виде. Ответ в течение месяца гарантирован. До свидания. Может быть, ещё увидимся. У меня всё рассчитано по минутам, порой и трубку выкурить некогда, тем более навестить родные места в Гори. Я до конца этой недели должен побывать в Китае, Америке, Англии и странах африканского континента.

Он повернулся и пошёл к своему летательному аппарату, но вдруг обернулся.

— Не спеши уходить. Черчел просил передать, что, как только я исчезну, сразу появится он. По-моему, ты ему симпатичен, — сказал он и зашагал прочь.

Подойдя к куполу, вождь пристегнул стропы к ремню, и, проверяя крепления-карабины, зашел:

Та-да-ди-да-ди-да-ди-ра-дай-рай-ра,

Где же ты, моя Сулико?

Пока он пел, я смотрел, как шар, наполняясь воздухом, поднимал великого учителя и вождя всех народов над землёй. Уже в небе шар вспыхнул ярким светом, превратившись в гигантскую шаровую молнию. Несколько секунд она висела неподвижно, приковав мой взгляд, после чего плазменный шар издал приглушённый треск и исчез, оставляя в воздухе густой, едкий запах озона. А в моей голове уже сложились строки:

И замкнулся разорванный круг.

Почернели душа и весна.

Много боли и праведных мук

Гениальность вождей принесла.

Пронесутся года и столетья,

Всё пройдёт и вернётся опять.

Сядут птицы на голые ветви,

Станем мы обо всём забывать.

Преуспеем, проникнем, завянем...
 На гвоздиках потухнет рассвет.
 В наших душах скрывается Сталин,
 Выползая на солнечный свет.

Облако въедливой зеленоватой гари опустилось на землю, глаза за-
 слезились, и я закрыл лицо руками.

— Открой глаза, ты что, не рад меня видеть? — с нескрываемой оби-
 дой загну савил Черчел. — Или недоволен встречей с вождём?

— Нет, нет, я очень доволен и благодарен вам!

— Быть неблагодарными, пообещать и не исполнить могут только
 эгоисты, стремящиеся на чужом горбу в рай. А вы что рты открыли, ис-
 кусствоведы в штатском, — прикрикнул Черчел на вытянувшихся в стру-
 ну МГБшников. — Думаете, хвостов ваших под плащами не видно? А ну
 марш по местам!

На моих глазах brave ребята, встав на четвереньки, принимали
 свой истинный облик, и вот уже стая собак с лаем неслась по пустынной
 улице.

— Послушай, мне очень интересно, как обстоят дела с твоим творче-
 ством? По-моему, ты заигрался. Так ведут себя только гении. Нескромно,
 москвичонок, нескромно! Ну отдай ты свои потуги в печать. Пусть лите-
 ратурная элита ублажает свою заштампованную душу, пусть блеснёт
 своими породистыми занятиями. Им и невдомёк, что всё решает Всевыш-
 ний и его нескончаемая вечность. Тебя же все близкие и друзья всю
 жизнь спрашивают: «Ну когда же ты напечататься? Сколько можно
 ждать?» Да и мне интересно увидеть в печати всё, что ты накропал. Дер-
 зай! — и Черчел, глубоко вздохнув, стал раздуваться, превращаясь в аэ-
 ростат. Воздух, выходящий через его аварийный клапан зашипел и стал
 горячим паром, в котором зеленели глаза Черчела. Они были полны гру-
 сти и очень быстро растворились, оставив на асфальте лишь мокрое пят-
 но, которое моментально высохло. Аэростат стремительно взлетел к об-
 лакам и исчез.

«Дерзай!» — громко сказано. Напечататься можно, тем более, если
 тебе предлагают и обещают любую помощь. Но что написано пером и раз-
 множено типографской краской, не то что топором, динамитом не
 взорвёшь. Как бы за эти «потуги» стыдно не стало. Много раз я едва-едва
 смог устоять перед соблазном публикации. Может, я и не прав, судите
 сами.

Ещё при советской власти из Латвии в Москву приехали два масти-
 тых критика. По крайней мере, они мне такими казались. Ознакомив-
 шись с моей писательской самодеятельностью, они сходу предложили
 мне подобрать примерно двести-триста стихотворений, уверяли, что га-
 рантируют, если я дам согласие, выпустить мою книжку в США. Еле ус-

тоял. Уговаривали, несколько дней предлагали валюту. Я колебался, но
 не сдался, а искушение было огромным.

Сидит во мне чуть ли не с самого детства какая-то двойственность.
 Если напишу что-нибудь новое, и мне нравится, и все кругом хвалят и го-
 ворят: «Нужно печатать», да и самому хочется, «Ну всё, — думаю, — зав-
 тра еду, рискну», — и абсолютно уверен, что опус мой примут на ура.
 А перед сном всё взвесишь, вспомнишь, сколько за всю историю челове-
 чества прошло замечательных и великих произведений через тернии сла-
 вы и веков, и сразу всё, мною созданное, кажется убогим и недостойным.
 Ну опубликую, ну тиснут типографской краской моё имя, кто-то прочи-
 тает и скажет: «Ну вот, ещё один графоман объявился. До чего же они на-
 доели, окончательно совесть потеряли!» Ну и, конечно, никуда не иду.
 Я ещё в школе не учился, а уже своими каракулями выводил строчки, пы-
 таясь их рифмовать. Из тетрадных листов, которые шивал при помощи
 иголки и ниток, я делал книжку и помещал в неё свои «шедевры». Мама
 посмотрит, прочтает, погладит меня по голове и скажет: «Чтобы стать
 настоящим писателем, да ещё и классическим, нужно хотя бы пять жиз-
 ней прожить, сложив их в одну. И прожить эти жизни, оставаясь всегда и
 во всём самым собой. И хлебнуть радости и горя своего и чужого, и чтобы
 горя было побольше, а радости поменьше, чтобы совесть не зачервивела.
 Вот тогда Бог, может быть, и поможет. Разума прибавит, упорства и, глав-
 ное, осенит вдохновением». «Мама, какие пять жизней? А Пушкин? Он и
 половину жизни не прожил! Ненавижу я этого Дантеса! Жандарм!» «Ещё
 хуже, сынок, к беде нашей, Дантесов и им подобных слишком много. А ге-
 нии — явление редчайшее. У гениев своё летоисчисление: месяц идёт за
 год. А самое трудное в жизни — научиться у Бога слышать всех — и дру-
 зей, и врагов. Любой человек на протяжении жизни высказывает выдаю-
 щиеся мысли, только он сам себя не слышит. А гению Бог даёт особый
 слух. Он не только себя слышит, но и всех людей и особенно прислуши-
 вается к детям. Те иногда такие откровения выдают, только слушай и за-
 поминай». Спасибо, мамочка, я до сих пор помню твои вещие слова. А о
 перипетиях моей публикации я вам сейчас расскажу.

Пушкин очень точно подметил: «Люди преклоняются перед славой». Рядом
 будет человек с талантом Овидия или Данте, его не заметят. В луч-
 шем случае снисходительно прочтут или вовсе читать не будут. Когда я
 пришёл с флота, у меня уже был небольшой чемодан со стихами. Прики-
 нул я всё, что тогда творилось на страницах печати, и у меня созрел план
 боевых действий. Я выбрал три стихотворения и принёс в редакцию од-
 ной из центральных газет. Кстати, эта газета и сейчас существует и очень
 знаменита. Прихожу:

— Здравствуйте. Я вот стихи принёс.

Дама в строгом костюме, с неприступно-серьёзным взглядом, в пер-
 ламутровых очках спрашивает:

— Печатались?

— Нет, вот принёс на пробу, может, напечатаете, — а сам руки прячу в карманы бушлата, я тогда ещё в нём ходил. «Не дай Бог, — думаю, — увидит наколки».

— Вы что руки прячете? Дайте разглядеть ваши художества. Вы что, в тюрьме сидели?

— Да нет, не пришлось, — смущённо улыбнувшись, отвечаю я, — это по молодости, шестнадцать лет было.

— Немного подождите, я тут должна сверить кое-что.

Возле неё за соседним столом сидел мужчина. Кудри его отливали рыжиной и издавали резкий запах одеколona. Он с любопытством разглядывал меня, потом, нахмурившись, спросил:

— Вы что, из моряков?

Ну, я без излишней скромности:

— В начале этого месяца сошел на берег с боевого корабля краснознамённой Балтики!

— Давно пишете?

— Да, ещё до флота пробовал.

— А как вы сами оцениваете вашу работу?

— Мне трудно судить. Знакомым нравится. А на флоте не я один писал. Мы иногда приходили в восторг. Нам даже не верилось, что это пишем мы сами.

— Ну-у, это несерьёзно, — встrepенувшись, запищала размазанного возраста, с подтёками недавней красоты и волосами канареечного цвета женщина и очень напыщенно сказала: — «В мире существует только одно искусство — поэзия!» По-моему, я правильно цитирую, Светлана Марковна.

— Совершенно верно, Ангелина Серафимовна, «все остальные виды искусства ценны настолько, насколько в них есть поэзия». Кто это сказал? — спросила она меня.

Я молчал, почувствовав что-то нехорошее в её взгляде.

— Не знаете, а неплохо было бы это знать начинающему поэту. Это сказал Самуил Маршак — представитель литературной элиты.

Наступила напряжённая пауза.

— Ангелина Серафимовна, а что сказал наш великий поэт Александр Сергеевич Пушкин о писателях?

— «Какой бы талант ни был, — подхватила канарейка, — без опыта жизни и упорного до изнеможения труда, не может родиться великое произведение».

«Как пишит, ну канарейка и есть, — заключил я. — Высказывает сокровенные мысли, жаль только, что не свои».

Теперь я ясно ощущал по отношению к себе ничем не прикрытую иронию. Я бы несколько не удивился, если бы эта троица сказала бы мне хором: «Ну, ты и нахал! Мы тратим на тебя наше рабочее время, а это уже большая честь для угольного склада. Что путного ты смог написать с мат-

росней на ваших кораблях?» Но этого они не сказали, по-видимому, опасаясь моей реакции. А я представил, как рванёт заготовленная мною мина. «Только бы сработала», — думал я.

После неопределённого молчания Светлана Марковна, переглянувшись с коллегами, снисходительно глядя на меня, сказала:

— Ладно, давайте ваши пробные шары, постараемся прочитать. Только придётся подождать. У нас, знаете, какие запасы этого стихотворного чтива. Ангелина Серафимовна, откройте шкаф.

Канарейка, как по боевой тревоге, вскочила со стула и услужливо распахнула дверцы.

— Видите, сколько? Две полки забиты до отказа начинающими авторами. Но ваши вирши мы, так и быть, прочитаем вне очереди. Интересно, что вы там под шум волны написали.

— Спасибо, Светлана Марковна, — набравшись наглости, я назвал её по имени-отчеству.

— Приходите через три месяца. Сегодня у нас вторник. Вот через три месяца во вторник и приходите. Бог троицу любит.

— Ещё раз спасибо.

И я ушёл в подавленном настроении. «Из Троицы «троек» понаделали! Куда ни придёшь, тебя разглядывают, как будто ты под следствием. И чего я с ними связался? Зачем мину заложил? Всё равно не сработает. Грамотные люди, всё знают. А, да ладно, чему быть, того не миновать». И я почти бегом поспешил к остановке троллейбуса.

Через три месяца, во вторник, являюсь в редакцию. В отделе — канарейка. Так и хочется сказать — «у её ног, уткнувшись кудрявой головой в её живот и колени...», но это будет неправдой. Кудрявый стоит и держит буквально перед её носом листок бумаги:

— Я с вами совершенно солидарен. Я подчеркнул те же места. Женская красота и ум почти несовместимы, как гений и злодейство. Но вы, Ангелина, ангельское исключение.

Канарейка явно тянется к нему и как бы нечаянно касается своими коленями его ног.

— Извините, — и она неохотно отводит ноги и так же неохотно подтягивает юбочку, закрывая голые с лёгким загаром колени.

Он берёт её за плечи.

— Ну что вы, Ангелиночка, какие извинения? Когда я рядом с вами, я чувствую себя в раю.

— А я? Сколько раз меня гнали и сбрасывали с неба! — и она пристально посмотрела на кудрявого.

— Ангелиночка, если придётся падать, то только вместе! Но я буду умолять, чтобы меня сбросили одного.

Они замолчали и стали смотреть друг на друга, как бы стараясь осознать происходящее. И мне показалось, что я вижу амурчиков, стреляющих из лука: вот они закружились хороводом над Ангелиной и неожидан-

но исчезли в её глазах... Так увлеклись и меня не замечают. Сейчас будут целоваться. Неудобно. Пойду в коридор и буду ждать. На цыпочках, стараясь не спугнуть, не разгушивать ауру, как мне показалось, зарождающейся любви, я незаметно вышел из кабинета.

Простояв у двери с полчаса, я так и не решился войти. «Ладно, приду завтра. Всё равно нет Светланы Марковны, интересно, что скажет она, по всей видимости, старшая в этой троице».

Направляясь к выходу, я чуть не столкнулся с человеком в тёмных тонированных очках.

— Ты что, так же под машину лезешь на безлюдном переходе? Не знаешь? — и он эффектно, явно любуясь собой, снял очки. Ядовитая зелень на этот раз полностью заполняла его глаза, он почти не гнусавил, но я его узнал. И в очках и без очков он обладал неизмеримым притяжением.

— Это вы, Черчел? Вас не возможно не узнать.

— Спасибо, москвиченок, что не забыл, — и снова заговорил в нос, показывая на дверь. — Что там происходит? Не отвечай. Эта пара занимается тем же, чем Адам и Ева. Но, подумай, у них была любовь, причём первая на этом шарике под названием Земля. Настоящая, всепрощающая, с огромным количеством детей. Если бы не они, тебя бы на свете не было. Ты бы просто не родился! И никто бы не родился, кто пока еще живет. Земная любовь — это единственное, что может спасти Вселенную. Ты знаешь, сколько в галактиках шариков, которые были такими же красивыми, с небоголубыми глазами, как эта Земля? Но все они сейчас мёртвые, с неприятным запахом. А знаешь, почему? Потому что, отдаваясь своим утробным желанием, так называемые инопланетяне напрочь забыли, что любовь — это не собачьи случки! Без любви всё погибнет, и Земля превратится в пустыню, где вместо песка будет сажа и пепел от сожжённых городов и их жителей, обращённых в прах.

И он замолчал, а в его глазах холодным светом замерцали гнилушки, и я увидел безжизненное болото, из которого торчали чёрные скелеты истлевающих деревьев.

— Но эта парочка льёт воду на колесо нашей подземной мельницы.

— Как? — изумился я. — Вам удалось подчинить себе и любовь?!

— Зачем так плохо думать обо мне? Во мне, как и в любом высшем существе, есть зло и добро. Вот скажи, зачем ты потакаешь моральным уродам?

— Я не помню такого случая!

— Нехорошо. Хочу тебя предупредить, что тебя взял на заметку сам Воланд. Нехорошо, москвиченок, плохо. Скажи, зачем ты, крадучись, вышел из этого публичного кабинета? Я понимаю, тебе не дают спокойно жить плоды твоего воспитания, знаю, что совесть сопротивляется насилью. Это хорошо, но, хотел ты или не хотел, своим молчаливым уходом ты благословил распущенность и разврат. Да будет тебе известно, что у кудрявого студента дома беременная жена с полуторогодовалым

ребёнком на руках. Канарейка тоже хороша, она предприняла уже четыре попытки выйти замуж, но всё безуспешно: мужики бегут от неё, как только поймут, что кроме читат, в её голове нет ни одной мысли. Ну а с миной ты придумал почти гениально! Когда я Воланду рассказал, он смеялся, и говорил, что надо сделать всё, чтобы она сработала: «Это мелочь, но приятная. Мальчик с хорошими задатками, — сказал он, — если что, ты ему обязательно помоги». А «троица», которая заседает в этом кабинете, неплохие кандидаты на роль судей в переходный период. Они давно на примете у его Сверхвеличества. Дело в том, что одну из «особых троек» своего самого справедливого трибунала Воланд хочет заменить и отправить на гильотину. Последнее время наши питомцы недоедают, а самые любимые могут и вовсе умереть от голода, поэтому червей надо срочно подкормить, они не так выносливы, как люди, и почти сразу погибают от дистрофии. Вот Воланд и желает одним точным выстрелом убить трёх хорьков. Причём, в отличие от барона Мюнхгаузена, он экономист, финансист и практик. У него созрел гениальный план реформирования мировой судебной системы, прогнившей до основания. Тысячелетия не проходят бесследно! А наслезено уже столько, что настала пора принять радикальные меры.

— С вами не поспоришь.

— А зачем со мной спорить? Я говорю то, что есть. Суды превращены в казино с беспроектными фишками для богатых негодяев. В судебный процесс введен ещё один элемент игры — состязательность.

— Слышал, но что это такое до конца не понимаю.

— Ну, москвиченок, тут и понимать нечего. Ещё баснописец Крылов сказал: «У сильного всегда бессильный виноват».

— Так это когда было!

— Слушай, ты когда откроешь глаза? Ты что, не видел, как подлец, цинично заявляет: «Попадавай в суд, жалуйся кому угодно, у меня на всех денег хватит! В твоём положении разумнее стать побирушкой и просить милостыню, лучше всего, около церкви. Туда частенько заходят сильные мира сего, молятся, свечки ставят. Я тоже туда забегаяю. Вдруг то, чего они просят у Бога, имеется у меня? Может, и тебе подам. А если не уймётся, пеняй на себя. Я человек не жадный, могу ведь и самую большую свечку за упокой поставить. Чуешь, где твоё место, босяк?!» Ты осмелишься с таким состязаться?

Я молчал.

— То-то и оно. Вот так и протекает ваша жизнь, москвиченок, — со вздохом заключил Черчел.

— Зачем тогда законы?

— Об этом и Воланд говорит: чтобы закон не был столбом, который можно обойти, каждая статья должна иметь свой железный подпункт, предусматривающий за её нарушение путёвку на зону лет на -дцать. За одну статью поменьше, за другую побольше, за третью просто отправить

на народную трудовую пенсию с прожиточным минимумом и потребительской корзиной — тоже мало не покажется, а за некоторые можно и на корм червям. Скажешь — произвол, но произвол закона, а не беззакония. В наше шкурное время судебный спектакль разыгрывается по заранее проплаченному и утверждённому сценарию. Только смотреть этот фарс неинтересно: финал один — жертва — за решёткой, преступник — на свободе.

— Но ведь не всегда судью, прокурора и адвоката можно купить?

— Среди юристов иногда встречаются бескорыстные служители Фемиды, вроде Плевако. Но на таких давно наплевали и продолжают плевать наши блюстители справедливости. За истекшие века судебная система выродилась. На что Римское право, и то не смогло устоять. Новоявленные вандалы его низложили и выбросили на свалку истории.

— Но это не совсем так, его пункты цитируют.

— Да что ты говоришь! Звучит красиво: «Закон не имеет обратной силы», а на самом деле? Что, примерчики привести? Законы давно стали краплёнными картами, так что респектабельные шулера всегда в прибыли. Разве не так?

— Наверное, так.

— Ну, откуда эта нерешительность? Я же знаю, у тебя есть стихи о суде. Ну-ка напомни, как там? Я с удовольствием послушаю. Смелей!

Шемякин суд, история России.
Кто нас спасёт от прихоти беды,
От торжества безмозглой силы?
Российские продажные суды!

Ни чести, ни достоинства, ни боли!
Не чтят законов ни в одной строке
Рабы-надсмотрщики без совести и воли,
Марионетки в шулерской игре.

Шемякин суд, Дубровский, Троекуров
И вместо птицы-тройки — трибунал.
От совести и Бога нет цензуры —
В почёте тот, кто больше расстрелял,

Кто обманул и ближнего ударил,
Донёс и всенародно оболгал,
Кто беззащитным слабого оставил
И кто чужое взял и не отдал.

Нет демократии — она лишь на бумаге!
Законный произвол — всемирная беда!
Мы продолжаем жить в невидимом ГУЛАГе
Без праведного Божьего суда.

— Москвичонок, а у тебя получается живописать действительность. А ещё что-нибудь более задушевное, про нас?

То, что увидел я в суде,
До иступленья поразило!
Россия, ты опять в беде:
Вместо ума — казна и сила.

Идёт с суфлёрами спектакль,
Как по написанному, точно!
Да, здесь умеют взять и лгать,
Изображая непорочных.

Судить, наверное, легко
С душою алчною и злою.
До Бога слишком высоко,
А дождь нам совесть не отмое.

Прогнав сквозь адовы круги,
Здесь черноту замажут белым.
В друзьях здесь спрячутся враги,
Здесь в трусов обращают смелых.

— Замечательно, москвичонок, но рыба гниёт с головы. Прочти что-нибудь о голове.

Верховный суд. О, Боже мой!
Куда я залетел по простоте?!
Мне показалось, за спиной конвой
Приказа ждёт в щемящей тишине.

Судья ворчит, уставший и глухой,
Лицо без маски отражает скуку.
Он раздражён — нарушил я покой
Судейской круговой поруки.

Верховный суд, а верхоглядыв — тьма!
О, сколько здесь пропало правдолюбцев!
Надеюсь, что поймут, не осудив меня,
Кто ненавидит мзду коррупций.

Страдают все, когда страна больна.
Быть может, я сужу Фемиду строго.
За что она пронырам отдана? —
Хочу спросить у праведного Бога.

Хочу просить не только за себя,
Чтоб рассудил по самой высшей мере.
Не верится, что не ошибся я:
Чем выше суд, тем выше лицемерье!

— Слушай, не в бровь, а в глаз! Я обязательно прочту Воланду. Уверен, ему понравится! Это лишнее подтверждение правильности его решения! Суды должны служить только законом, а не сомнительным знаменствам! Заговорился я с тобой, москвиченок, — и Черчел посмотрел на часы, — минут через десять она будет здесь одна, вон в том кабинете, такая краля, с такими формами, с такими ногами... Где эти гениальные художники? Неужели купились на наше фальшивое золото? А может быть, спиваются, чтобы найти в пьяном бреде ответ, почему благородное искусство зарастает чертополохом и раздевается донага на потеху бездушных и пустоголовых шарлатанов, строящих из себя знатоков? Они даже не догадываются, что живут по нашим законам. Это мы, пока они спали, незаметно ввели им в мозги сыворотку, и теперь во всём чёрном они видят только белое, и наоборот. Если бы сейчас Бог возродил Тропинина, Серова, Леонардо да Винчи и посланного им самим Рафаэля, они бы обязательно изобразили эту красавицу на портрете, назвав его «Сикстинская мадонна на рубеже двадцатого и двадцать первого веков». Ты представляешь, умна, целомудренна, такой была Ева, пока мы не уговорили её съесть яблоко на пару с Адамом. Воланд ищет такую уже несколько лет. Недавно увлёкся одной, ничего не могу сказать, есть, на что посмотреть, и не только. Он уже собрался взять её в свои чертоги, но бешая отговорила: «Вы что, Ваше Сверхвеличество, не видите на неотразимом бюсте значок ВЛКСМ? Забыли, наверное, как оно расшифровывается? — Тут они вспомнили мою старую шутку: всех люблю, кроме своего мужа. — Плюс ко всему, тщательно проверив её досье, мы не обнаружили в родословной ни одного племенного вождя со времён палеолита. Придётся Вам, Ваше Сверхвеличество, самим заклятье снимать, ведь произнесённое лично Вами, оно ни кем больше отозвано быть не может!» Да, ему ведь теперь неискушённую подавай! Красавиц черти наловят сколько угодно. Да их и ловить не надо, только намекни на несметные богатства, и они сами прибегут, через окно влезут, чтобы никто не опередил, и голенькими — прямо в постель. Но эта! Воланд просил поработать с её душой. Третий раз прихожу. У самого голова кружится! Такие глаза — утонуть можно. Я тоже в состоянии оценить красоту и невинность! Все свои приманки в ход пустил: и водочку предлагал, и травку залётную. Не поддаётся! Лучшие рецепты Воланда применял! Не поддаётся! Да, с такими ещё долго конца света не предвидится. Ой, смотри, идёт твоя редакторша, — и прижавшись к стене, Черчел слился с её зеленью.

По коридору действительно шла Светлана Марковна. Мне показалось, что она улыбается, но когда она подошла ближе, я увидел на её лице железную маску и холодный, какой-то блуждающий и безразличный взор.

— А, это вы, с Балтийского флота! Заходите, — и небрежно толкнув дверь, она вошла в кабинет.

Я нерешительно последовал за ней. Канарейка перед зеркалом тщательно причёсывала свои золотистые перья. Я про себя отметил: «Помады на губах нет — кудрявый постарался. Совет им да любовь».

— Светлана Марковна, — защебетала канарейка, — голос её срывался от радости, — вам звонил главный. Я сказала, что вы должны вот-вот прийти. Он просил, как только вы появитесь, немедленно к нему. Там идёт обсуждение рукописи, которую он принёс. Все завотделами собрались и кто-то из союза писателей. Всю рукопись хотят по косточкам разобрать и выслушать ваше мнение.

— Пардон, — выжав кислую улыбку, Светлана Марковна ушла.

— Садитесь, — заюлил кудрявый, — ну что вы встали? В ногах правды нет.

— Спасибо, — и я пристроился на краю стула.

— То, что вы служили на флоте, это замечательно! А я ведь тоже в юности мечтал стать капитаном дальнего плавания. Какое счастье было слышать, — и он, с явной усмешкой глядя в глаза канарейке, запел: — «Раз пятнадцать он тонул, погибал среди акул», — открыв рот, он лязгнул золотыми коронками. — Нет, Дунаевский — это божество! Кумир, ничего не могу сказать. «Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай запоёт. Кто весел, тот смеётся, кто хочет, тот добьётся, — неожиданно запнувшись и перестав петь, он торжественно продекламировал: — кто ищет, тот всегда найдёт!» Как точно, Ангелина Серафимовна, не правда ли? «Кто хочет, тот добьётся», — и он глухо и отрывисто засмеялся.

— Что вы хотите этим сказать, Альфред Митрофанович?! — резко спросила она. — Может быть, обойдёмся без намёков?

— Ангелиночка, ну не принимайте всерьёз. Что же, и пошутить нельзя?

— Можно, только без пошлой бравады, — и лицо её стало грустным.

Черчел меня не обманул, кудрявый оказался с червоточиной. По третьей заповеди Петра Великого, у нас на флоте таких два раза окунали и один раз вынимали. Я с отвращением посмотрел на него. Кудри его шевелились. «Да это же черви! Почему я раньше не замечал?» — подумал я и стал внимательно рассматривать, как они ползают по его голове. Но, приглядевшись, я понял, что это вовсе не черви, а обыкновенные бараньи завитки. «Так можно и с ума сойти», — и я съёжился, увидев уже привычное зеленоглазое облако, окутавшее мою голову.

— Юнгаш, — раздался утробный голос, — а ты знаешь, кто подсказал Петру заповеди с финальным возмездием? Ты, конечно, догадываешься. Да, но мы тщательно изучаем и анализируем процесс становления прохвостов, иногда очень медленный, но, бывает, и врождённый. Так и есть, два раза окунали и один вынимали. Эта забава достойна трансляции по всем каналам мирового телевидения. Ты убедился, что я никогда не обманываю. Альфредиков с канарейками я определяю сходу. Опыт! Да и ты наблюдательный, это хорошо. Продолжай в том же духе, — тут из об-

лака, видимого только мне, вылезла зелёная рука, запустила пальцы в кудри Альфреда Митрофановича, и они снова зашевелились. — Успокойся, москвиченок, черви тебе мерещатся, а у него банальная каракулевая причёска, — и облако, засмеявшись, вылетело в открытое окно.

А третью заповедь Петра пришлось исполнить только один раз. Каким-то образом прополз на флот шизик и в очередном увольнении на берег подкараулил девчонку. Паскуда, он угрожал ей, жёг лицо сигаретами. Эсэ-совец набросил, ей на горло её же чулок и, как паук, постепенно затягивая, не давал дышать, похотливая мразь. А она плакала, умоляла: «У меня братик маленький, мама, отца в Минске гестапо замучило!.. Отпусти!.. Прошу тебя, отпусти!..» — и слёзы, окрашиваясь кровью, текли по её израненному лицу. Не пощадил, изверг, задушил! Пришлось применить третью заповедь. Перед тем, как окупнуть, его спросили: «Как же ты мог? Тварь! Тараканье отродье! Или тебя саранча родила?» А он: «Я хотел по-хорошему, деньги предлагал! Она сама виновата, стала из себя целочку строить. Ну я и сорвался. Вы, мужики, должны понять», — и заревел, глотая сопли, слизняк. Вот такие Родину продавали. Они и сейчас позлают и без предательства жить не могут. Из этого, с кудрями, такой же получится.

Канарейка подошла к окну и стала смотреть на улицу. По её дрогнувшим плечам я понял, что она плачет. У меня комок застрял в горле, я с презрением и брезгливостью взглянул на баранью голову, наклонившуюся в тот момент к столу с бумагами, подумав: «Этот не служил ни на флоте, ни в армии. Наверняка, симулянт. Мокрица! Залез под блатной камень и сидит».

Кудрявый, извиняясь передо мной, крадучись, подошёл к окну и замурлыкал:

— Ангелина Серафимовна, если бы вы знали... Я бы вам сказал... Да вот морячок пришёл, ждёт ответа... Ангелиночка, обратите внимание.

Канарейка резко повернулась, глаза её были мокрыми и смотрели на меня с ненавистью. Достав косметичку, она подошла к зеркалу, платком стёрла следы туши, размазанные по щекам, и стала, нервно дёргая рукой, подкрашивать ресницы. Потом, не поворачиваясь, через плечо раздражённо сказала:

— Стихи напечатать хотите? Я их прочитала, но ничего пока не скажу. Не думайте, что вы у нас один — и самый выдающийся. О своих оценках я бы вам сказала прямо сейчас, но я ещё не знаю мнения Светланы Марковны.

Кудрявый заулыбался своей златозубой улыбкой.

— Наши оценки всегда совпадают, мы с Ангелиной Серафимовной единомышленники. А вот что думает Светлана Марковна, не знаем. У нас железное правило: пока не придём к консенсусу, — и он сделал многозначительную паузу. Я молча наблюдал за движениями его масляных глаз, по которым было видно, что он уже причислил себя к пресловутой элите, и на меня смотрел с высоты своего бесценного интеллекта. — Консенсус,

да будет вам известно, это латинское слово, — и стал меня просвещать, хотя я об этом не просил, — или даже изречение, которое заменяет блёклое русское «согласие». Вы чувствуете, оно мало, что определяет. Например, я даю согласие, чтобы пойти с Ангелиной Серафимовной в ЗАГС, а она говорит: «А я не согласна»...

— Может, хватит паясничать, Альфред Митрофанович, надоело уже, — и канарейка села за стол, вытащив листы с моими стихами.

Я их узнал сразу. Во многих местах они были исчерканы синим карандашом, а в нескольких местах красным.

— Ангелиночка Серафимовна, я не паясничая, а приобщаю бывшего моряка к цивилизации. Слово консенсус обозначает, что стороны во мнениях или в конфликтах пришли к общему знаменателю, то есть к консенсусу. Я правильно говорю, Ангелиночка?

— Ну хватит, надоело! И, если на то пошло, «согласие» звучит благозвучней и понятней. Все помешались на иностранных словах. Но ведь ума-то они не прибавляют! И, как правило, ими щеголяют краснобаи и фразёры. Ну смешно же, право! — и Ангелина Серафимовна рассмеялась. Наверное, так она смеялась только в далёком детстве. Потом, посмотрев на меня, уже серьёзно сказала:

— Приходите через неделю. Мы всё согласуем со Светланой Марковной, — и взглянув в сторону присмирившего и растерянного Альфреда, нарочито и отчётливо произнесла: — придём и к согласию, и к консенсусу, и вам сообщим наше общее мнение, — и опять засмеялась, — такая у нас договорённость. Вы не один, мы ко всем относимся одинаково, — и она, по-моему, пожалев явно подавленного и обиженного кудрявого, сказала: — Альфред Митрофанович, извините, если я вас обидела. Вы сами говорите, что больше всего обижают тех, к кому не равнодушны.

Кудрявый молчал, морщился и искоса поглядывал на меня.

— До встречи, — сказала она мне.

И пришлось уйти с мыслями, что в душе у канарейки ещё что-то осталось от непосредственного, естественного и открытого, что каждому человеку Бог даёт при рождении, и что Всевышний по какой-то роковой случайности вставил в кудрявую голову мозги канарейки.

Ровно через неделю я появился в редакции. Вся «троица» была на месте.

— Заходите, заходите, — кудрявый замахал руками, — мы только что кончили обсуждать вашу поэтику. Тщательно проанализировали каждое слово, — и кудрявый, сделав глубокий вдох и медленный выдох, продолжал: — представляете, мы пришли к согласию, — и улыбнувшись золото-коронной улыбкой, торжественно достал из стола мои стихи. Количество синих вопросительных и красных восклицательных знаков увеличилось раза в два. Отдельные строчки были зачёркнуты и синим, и красным.

«Всё, они меня сажают на рифы. Про мину они не догадываются. Это будет для них полной неожиданностью».

— Правильно мыслишь, — зашептал в ухо Черчел, голос его был весёлым. — Главное в профессии пирата не только ограбить, но и найти любителей сбавить сокровища, после чего войти в бухту необитаемого острова и ждать, когда разъярённые жертвы выдохнутся, скинут и, плюнув на всё, перестанут искать. И вот тогда, подмигнув чёрным флагом с белым черепом, можно снова выходить в море на поиски очередной жертвы. И, как говорится, дюйм нам под килем! У меня приподнятое настроение: красуля, про которую я говорил, согласилась пойти в ресторан. Как она сопротивлялась! Нет, я всё равно завидую Воланду. Представляешь, согласилась пообедать в «Метрополе», если я достану билеты в Большой на «Лебединое озеро». Дело дошло до смешного — говорит: «Если не сможете достать, — это я-то не смогу! — тогда купите у билетных спекулянтов», — и даёт деньги. Ну чудо какое-то, а не женщина! Если бы можно было скрыть, я бы попытался на ней жениться. Но от Воланда ничего не скроешь, в этом наша беда и радость, что мы служим корифею демократии всей Вселенной. И ещё. Москвичонок, не малодушничай, каждый должен получать по заслугам. Мина поставлена и ждёт своего часа.

Вся тройка смотрела уставшими глазами. «Да, тяжёлая работа», — подумал я. И тут кудрявый вкрадчиво, с нескрываемым пиететом заговорил.

— Светлана Марковна, вы у нас не только кандидат филологических наук, но и непосредственный руководитель, неоднократный лауреат премий наших самых престижных журналов. Ваша публицистика и оригинально-критические статьи всегда вызывали и вызывают наш восторг. Кому, как не вам, сказать первое и справедливое слово, — и он торжественно посмотрел на меня. Скажу прямо, вся эта тирада под фанфары произвела впечатление.

— Молодой человек, — сказала, улыбнувшись, обладательница высоких титулов, — не обижайтесь, но поэзия и Военно-морской флот — это совершенно полярные вещи. Ещё раз извините и не обижайтесь, но то, что вы написали, никуда не годится.

— Да, вы уж нас извините, — защebetала Ангелина Серафимовна, — я сама закончила МГУ, факультет журналистики, недавно показала свои работы в Литературном институте. Очень неудобно это говорить, вас обижать, — по-моему, она говорила это искренне и действительно жалела меня. — Не обижайтесь, но в ваших, если можно так сказать, стихах нет самого главного.

— Чего же? — спросил я, ощущая в душе нарастающее злорадство.

— Самой поэзии!

— Да, да, — подхватил кудрявый, — это, конечно, не имеет никакого отношения к поэзии.

— А откуда вы знаете? — уже с дрожью в голосе выпалил я. — Вы где учились?

— Я и сейчас учусь на сценарном во ВГИКе, — надменно взглянув на меня, ответил он. — Это моё второе высшее. Желаем успехов, — и протянул мне злополучные листы со стихами.

Месть переполняла моё терпение.

— А если я доработаю, может что-нибудь и получится?

Светлана Марковна встала и с менторскими нотами в голосе произнесла:

— Молодой человек, я высказываю общее мнение. Вы не один. Таких, как вы, очень много. Почти каждую неделю, а то и каждый день начинающие литераторы приносят работы, среди которых попадаются и талантливые, и даже очень. Таких мы уговариваем серьёзно заняться творчеством. Мы, конечно, сразу не публикуем, за редким исключением. Всегда следим за ростом молодого дарования. А если мы его сразу пустим в печать, может произойти головокружение, звёздная болезнь, и талант остановится в своём развитии.

Я слушал, стиснув зубы.

— Да, да, — встrepенулась канарейка. — «Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами.» Таланты надо беречь, правда, Светлана Марковна?

— Безусловно, Ангелина Серафимовна, когда есть хоть что-то, напоминающее талант, мы от всей души стараемся помочь. А у Вас, молодой человек, уж не взыщите, полный ноль! Не только плюсов, ну хотя бы был один небольшой минус! Чтобы войти в мир поэзии даже с обратной стороны, нужен хотя бы один «чёрненький квадратик» чего-то непонятного и бездонного. Скажу вам прямо и откровенно: то, что вы делаете — это не поэзия. Хватит заниматься чепухой, лучше займитесь чем-нибудь другим и обязательно полезным! Читайте Пушкина, у него всё написано, и не забывайте, что он закончил царский лицей — в то время самое лучшее учебное заведение Российской империи.

— Ну а если я всё-таки попытаюсь написать что-нибудь новое?

— Вы что, не понимаете, что мы здесь занимаемся серьёзным делом?! Послушайте, молодой человек, не обижайтесь, мы втроём прочитав ваши опусы — целых три стихотворения — пришли, не договариваясь, читая каждый по отдельности, к общему знаменателю. Рифмы может любой подбрать, это дело не хитрое. А поэзия — это полёт мысли, исповедь души и искренность в сострадании народу! Помните, как у Александра Сергеевича? «И милость к падшим призывал!»! Чувствуете?

Я уже ничего не чувствовал, но ясно видел, как мина взрывается, разнося вдребезги гордыню этих людей, которые решили подменить собой самого Бога и за него выносить решения, кто есть кто.

— Светлана Марковна, вы со своими уважаемыми коллегами окончательно утверждаете, что то, что я принёс в редакцию, ничего общего с поэзией не имеет?

— Ну сколько можно повторять!

А я молча стоял и смотрел этот бездарно поставленный спектакль. Да, прав Шекспир, все мы актёры.

— Светлана Марковна, а вдруг у меня получится? Вдруг вырастут крылья? У меня же вся жизнь впереди!..

— Вы мне надоели, у поэтов крылья не растут, они с ними рождаются! Не ломайте себе жизнь. Столько замечательных профессий! Вы, наверное, были неплохим моряком. Работайте, учитесь чему угодно, но поэт из вас не получится. Поверьте моему опыту. Я защитила кандидатскую по вопросам современной поэзии, не обижайтесь на меня, а радуйтесь, что Бог не наградил вас талантом. Истинный талант страдает всю жизнь. Его душа вмещает весь мир. В душе поэта зажигаются звёзды и взлетают на небо, чтобы осветить дорогу над пропастью. Поэт предупреждает нас, что дорога эта опасна, но только она ведёт нас к разуму и свету. Это выдержка, фрагмент, так сказать, из моей новой работы, моей докторской диссертации, которую я собираюсь защитить в следующем году.

Я слушал, а перед глазами стояла картина Брюллова «Последний день Помпеи». Там большинство пострадало ни за что, и это не справедливо. «А если жажнет моя мина, будет ли это справедливо?»

— Светлана Марковна, фрагменты из вашей докторской впечатляют. Но как я передам полезные советы и наставления автору?

— Какому автору?

— Автору вот этих самых сочинений.

— А вы что, не автор? И стихи не ваши? — немного растерявшись спросила Светлана Марковна.

— Конечно, нет. Вот задачка, как же я ему передам ваши неотразимые мысли и постулаты? — в душе моей всё негодовало, и я уже не скрывал, что издеваюсь над ними. Не на шутку разозлилась, я продолжал: — Как передам решение вашей особой тройки, тонкости вашей критики и ваш высокий профессионализм?..

— Что вы себе позволяете? — заорала Светлана Марковна. Её учёность слезла с неё, как кожа со змеи, когда та линяет.

Канарейка, давясь и заикаясь, еле выдвинула из себя:

— Да как вы смеете такое говорить?!

— А что я сказал? Я просто признался, что автор стихов, которые не имеют никакого отношения к поэзии, не я. Разве честное признание пощадит?

— Хватит нас разыгрывать! — верещала канарейка. — Гадкий вы человек! Если автор — не вы, тогда кто? И почему он сам не пришёл и не принёс свои работы?

— Ангелина Серафимовна, Светлана Марковна и уважаемый Альфред Митрофанович, не обижайтесь на меня. Я принёс его стихи, потому что он не может прийти сам.

Кудрявый вскочил и угрожающе рявкнул:

— Если вы не перестанете нас разыгрывать, я за себя не ручаюсь!

«Каракулевая шкура! Пугает меня, моряка! Элитарная крыса, — я чуть не рассмеялся ему в лицо. — Если бы он дорожил человеческим достоинством и повнимательнее читал бы то, что ему задавали в институте, его могли бы принять на работу в цирк, что было бы для него большой честью. Но сейчас наступили другие времена и в цирк краснобаев с канаречными мозгами не берут». Вместо всего этого я спокойно сказал:

— Не надо страшать и кудрями трясти, я не из пугливых.

И тут, не на шутку рассвирепев, кудрявый взвыл:

— Ну ты и нахал! Хочешь пингвинов из нас сделать?! Проваливай отсюда, пока милицию не вызвали!

— Очень вежливо. Не думаю, что этому учат во ВГИКе, — парировал я.

— Светлана Марковна, ну что мы с ним нянькаемся? Он просто издевается над нами. Какая-то матросня! Или что, теперь на Балтийском флоте уходящим домой выдают дипломы об университетском образовании? А может быть, ещё и ВГИКа?

— Давайте не будем ссориться, — примирительно сказала Светлана Марковна, — скажите, Вадим Геннадьевич, кто же этот анонимный автор и почему он предстал перед нами под вашим именем? Быть может, он хочет взять ваше имя как псевдоним? Скажите, кто он? Не отвечайте, я знаю, это вы!

«Смотри-ка, запомнила моё имя и отчество. А до этого не называла, значит, насторожилась. Опять кожу меняет».

— Вадим Геннадьевич, это вы! Ну сами посудите, если Бог будет таланты раздавать направо и налево. Хочется всем, но даётся не всем. Вы попробовали, у вас не получилось. Не вы один бумагу мараете...

— Не я один, Светлана Марковна, но я бы не знаю что сделал, чтобы стать таким же как он. Автор не я.

— Опять за свое?!

— Его знают все. Влюблённые назначают с ним свидания — и друг с другом заодно. Он стоит возле редакции «Известий», весь бронзовый. И не только люди, но и вечно бегущее время давно признали, что из величайших людей мира он занимает место в первом ряду. И есть на бронзе слова, которые вы, уважаемая Светлана Марковна, цитировали. Да-да: «И милость к падшим призывал»!

Все трое остолбенели, глаза у них стали стеклянными. Наступила приятная для меня пауза. Первой выскочила из клетки своих довольно условных знаний, зазубренных цитат и чужих мыслей канарейка и прерывисто зашептала:

— Не может быть, не может этого быть! Вы нас обманываете. Чтобы эти с горем пополам рифмованные строчки без чувства и мыслей написал Пушкин! Вы самый настоящий провокатор!

— Дорогая, позвольте так обратиться к вам. Это стихотворения нашего Пушкина. Слава Богу, что хоть вы знаете, где стоит его памятник.

— Ну, знаете, вы действительно настоящий хам! — заорала опять Светлана Марковна, и снова со всех трёх сторон понеслись оскорбления.

— Кто вам поверит?!

— Это плод вашего большого воображения!

— Да он хулиган. Это неправда.

— Нет, правда! И если Вы сами себя переоценили, я тут не при чем.

— Вы не при чем?! — злобно завопила канарейка. — Светлана Марковна, долго мы будем терпеть это свинство?! Чего захотел, печататься! Гонорары получать! Думаешь, тебе сразу корыто с едой перед носом поставят?!

— Ангелина Серафимовна, вы всегда не в бровь, а в глаз!, — подхватил кудрявый. — Корыто ему подавай с деликатесами, из Елисейского самое вкусное! А может быть, ещё и дефицита, и обязательно заморского? Молодой человек, убирайтесь по добру по здорову.

Я от злости чуть не подавился: «Да это же всё про вас! Это вы идёте на всё, чтобы называться элитой. Элитой чего? В скотоводстве со званием всё ясно: откормленный племенной бык покрывает равную по родословной корову, красивый статный жеребец — такую же красавицу кобылу. А вы-то от каких покрытий и случек произошли? Ваша самопровозглашённая элита, как в басне Крылова, живёт по принципу: «Ку-кушка хвалит петуха». Но это даже не смешно, просто глупо о себе так думать.» В это время на меня сыпалась брань. Как они меня не избили, до сих пор удивляюсь. Орала, как оглашенные, а я, по наставлению Черчела, подначивал: «Ну, давай! Давай ещё! Ещё!» Конечно, всех этих слов я не произносил, они так и остались в моих мыслях. Да, злорадство непристойно и никого не украшает. Оно, конечно, служит не разуму, а возмущает всё низменное в человеке. Я был уже не рад, что заложил мину.

Неожиданно наступила тишина. Наверное, уже не хватало эмоций. Канарейка подошла первой и, кокетливо улыбаясь, начала выводить трели:

— Вадим Геннадьевич, вы просто артист. Так разыграть сцену! У вас талант! — и она томно заморгала глазами.

Ангелина Серафимовна, не надо строить глазки. Он их не достоин. Если он сейчас не скажет правду, я вызову милицию.

— Светлана Марковна, ну у меня взгляд такой. Вот раньше бывало, как посмотрю на мальчика, только посмотрю, и он готов! Прилип! И сам никогда не отстанет, пока его не отдерёшь и не выбросишь. А сейчас от глазок одни слёзы остались.

— Не скромничайте, Ангелина Серафимовна, Вы и сейчас, если захотите, можете глазами наповал убить.

— Альфред Митрофанович, как можно убить, если вместо сердца камень или вообще его нет, — и канарейка продолжила выводить рулады. — Вадим Геннадьевич, скажите, что всё это придумано. Пошутили, и хватит.

Курчавый тоже стал уговаривать:

— Нехорошо обманывать, морячок. Ну не надо. Мы же официальные литконсультанты. Через наши руки проходит столько молодой поэзии! Талантам мы всегда помогаем. Ну скажите, Ангелина Серафимовна, скажите, почему вы замолчали?

— А что сказать, Альфред Митрофанович? «Единожды солгав...», ну вы знаете.

Я опять подумал, но не сказал — не хотелось обижать эту несчастную женщину. Ну не походила ни с какой стороны Ангелина на ангела, даже если её отец был шестикрылый серафим. Помолчав, я решил уйти. Но внезапно сменив гнев на милость, уже без спеси и снобизма Светлана Марковна стала меня уговаривать:

— Вадим Геннадьевич, ну успокойте вы нас, скажите, что это неправда, что эти стихи не имеют никакого отношения к нашему Пушкину. Вы их сами написали, ведь правда? — и она заискивающе посмотрела мне в глаза.

— Нет, обманывать я больше не хочу. И так взял грех на душу.

— Ну вот и хорошо, — с облегчением выдохнула Светлана Марковна.

— А я что говорила, — защебетала канарейка, — в элиту без таланта не попадёшь!

Кудрявый тоже старался замаслить свои выпады:

— Послушайте, у вас хорошая фантазия. Может быть, вам к нам во ВГИК попробоваться на сценарный. Надо же такое придумать! Я уже начал верить. Вот Ангелина Серафимовна наша, умница, до конца держалась...

— И зря, — отчеканил я. — Все эти стихотворения из академического издания 1937 года, выпущенного к печальной годовщине столетия со дня смерти Пушкина. Ну ладно, первые два вы не удосужились прочитать, но третье, переведённое почти на все языки мира — ай, ай, ай! Возомнили о себе и думаете, что вправе всех учить, при этом не зная самого главного! Только тот велик, кто остаётся самим собой до самой смерти и не различает, кто перед ним — бродяга или император. Так что попробуйте остаться самими собой, победите свою гордыню. Но я почему-то убеждён, что у вас не получится.

Первой опомнилась Светлана Марковна:

— Вон! Из редакции вон! — заорала она. — Бывает же такое хамло!

Я театрально поклонился:

— Не взыщите за правду. Правд очень много, а истина всего одна. На этот раз вам повезло, вы встретились с истиной. Поэтому читайте на досуге Пушкина, прежде чем проводить литконсультации, уважаемые эксперты. Если внимательно читаете, может быть, и поймёте, где поэзия, а где высосанные из пальца рифмованные выкрутасы. До встречи на небе в гостях у Александра Сергеевича!

И я почувствовал себя чуть ли не Гамлетом, а уж Чацким — несомненно. Победоносно задрал нос, я не вышел, а пулей вылетел из редак-

ции. Вслед мне неслось: «Бездарь, аферист, лжец, провокатор!» Не хватало только объявить меня диверсантом и врагом народа. Но выбежав на улицу, я уже не слышал непристойностей, которые летели в мой адрес. А в душе я сожалел и корил себя. Всё-таки это было нечестно, я их обидел, а они такие же смертные, как и я. Не могут же они знать всего. Черчел с Воландом, может быть, и знают почти всё, но не всё понимают. Всё знает и понимает только Всевышний.

С тех пор я обхожу редакции стороной. Боюсь опять обидеть кого-нибудь. Да и свои потуги нести не решаюсь, если на моих глазах стихи гения стали никому не нужным бумагомаранием и чепухой.

Ой, как прав Пушкин: «Гений и злодейство — две вещи несовместные» — так же, как несовместимы гениальность и чванство, разум и пошлость. Гения можно узнать и по поведению, и по особым приметам. Один композитор рассказывал мне о встрече с Народным артистом СССР Юрием Яковлевым: «Во время разговора к нам подходит молодой человек лет восемнадцати, не больше. Обращается к Яковлеву. Тот, извиняясь передо мной, подходит к парню, очень внимательно слушает и, немного смущаясь, что-то говорит в ответ. Я стою и думаю, кто же этот юнец. Такое впечатление, что Яковлев приехал из забытой Богом дыры и очень хочет стать абитуриентом, и мечта у него только одна — поступить в театральный ВУЗ. А этот юнец — маститый профессор и сверхнародный артист. По своей убогости, думаю: наверное, сынок высокопоставленного чинуши, может быть, даже министра или секретаря ЦК. А оказалось — всего-навсего начинающий рабочий сцены, то есть подмастерье и, по-видимому, не очень воспитанный и напористый». Вот, где такт и огромное уважение к простому человеку, без лозунгов и визгливых призывов. Вот это и есть, пожалуй, одна из главных примет гениальности.

Андрей Попов последнее время работал во МХАТе. Над ним, говорят, посмеивались и ехидничали. И немудрено, чёрные и рыжие в любом коллективе попадают. Главное, чтобы эти репы не залезли на здоровые грядки. Если прорастут — все соки высосут, а если ещё с крапивой породнятся, вообще всё полезное задушат. Эту историю мне рассказал совсем юный, робко делающий первые шаги в стенах прославленного театра выпускник школы-студии, мечтающий о главных ролях, но пока ещё не удостоенный чести сыграть хотя бы малюсенький эпизод. Как-то, ещё будучи студентом, он попал в массовку. Так и продолжал действовать, повторяя про себя как таблицу умножения: «Нет маленьких ролей, есть маленькие актёры». А в это время в театре готовились отметить юбилей великого Попова, и, как мне рассказал сам участник этого эпизода, дело было так: «Проходит мимо меня Попов, останавливается и очень вежливо говорит: «Извините, у меня есть желание с вами поговорить. Не возражаете?» Я растерялся и почувствовал, как стремительно расту вниз, превращаясь в лилипута рядом с этим великаном. Такое впечатление, что я самый народный из всех Народных, а его только что приняли во вспомогательный

состав театра. Стою и не знаю, что сказать. «Извините ещё раз, молодой человек, если найдёте время, — и, замолчав, смотрит на меня, не решаясь что-то сказать. «Ну всё, — думаю, — где-то он меня запеленговал. (Грешки за мной водились.) И чёрт меня дёрнул сорваться и нагубить моей однокурнице, с которой мы вместе пришли в театр. Точно, он как раз проходил мимо и всё слышал». «Извините, молодой человек, если у вас будет время, очень прошу вас принять участие в банкете в честь моей скромной персоны». Я потерял дар речи, даже голова слегка закружилась. «Обязательно приду», — чуть не подавившись нахлынувшими эмоциями, сказал я. «Приходите, я буду очень благодарен и признателен». Попов улыбнулся. А он действительно похож на взрослого ребёнка, правду говорят, — подумал я. Великан медленно пошел по коридору... А у актёра, который мне всё это рассказал, слёзы навернулись на глаза. Приметы, приметы, не всегда их замечают, а они на поверхности, только надо смотреть с открытым сердцем.

Анатолий Папанов на гонорары за съёмки в замечательных фильмах купил наконец-то машину, но стеснялся подъезжать на ней к служебному входу, останавливался на приличном расстоянии от театра. Ему говорят: «Уведут машину. И зачем вы это делаете?» А он отвечает смущенно: «Неудобно как-то. Наши актрисы колготки штопают, а я как фон-барон. Не прилично». А Качалов, когда подходил к театру, со всеми раскланивался и снимал шляпу. Как он стеснялся своего золотого портсигара! И хотя он его заслужил своим великим искусством, никогда не позволял себе продемонстрировать его перед коллегами или в ресторане, никогда не показывал его старым друзьям из периферийных театров, где он работал до МХАТа. Ну а то, что он анонимно раздавал деньги, кому нужно и не нужно, — это, по-моему, знают все. А Виктор Степанов, с которым я работал в театре на Сахалине — впоследствии он очень много снимался в кино и пользовался большой популярностью, — был абсолютным бессеребренником и каждому старался помочь. Думаю, если б ему дали премию в миллион долларов, он бы её раздал друзьям, а то, что осталось — нищим и обездоленным. Богатырём был и душой и телосложением: меня над собой подбрасывал, как мешок с сеном, и аккуратно ставил на землю. Глядя на него, я вспоминал корабли и Кузьму Ткачёва, не желавшего стать чемпионом. В Вите была та же сила и детская непосредственность. Тоскливо, что его уж нет на свете. Может быть, он с неба смотрит сейчас и читает, что я пишу...

Все знают, что Народный артист СССР Борис Андреев уступил могилу на Новодевичьем кладбище своему другу Петру Алейникову, не имевшему звания Народного. Но у Алейникова была такая слава! Народная, настоящая, не дутая, как сейчас у некоторых, завоевавших её при помощи мафиозных авторитетов и их грязных денег или используя узаконенный административный ресурс.

Талантливейшая актриса, красавица, настоящая звезда, спустившаяся с небес, а не то что нынешние, сделанные из папье-маше, а в лучшем

случае из жести, очаровательная Татьяна Окуневская — легенда советского кино, которая свела с ума Иосифа Броз Тито и, к несчастью, все-сильного шефа русского гестапо Лаврентия Берию. Да, она была недосягаемым кумиром не только для взрослых, но и для нас, мальчишек и девчонок. Знаменитая Татьяна Окуневская из тюремных камер и лагерной зоны приехала в Москву. Многие знакомые боялись с ней встречаться, тем более на улице, порой даже обходили стороной, особенно в людных местах. Время такое было — боялись, и не зря. Идёт Окуневская по Арбату — тогда Арбат был особой правительственной трассой, сам товарищ Сталин обязательно проезжал по Арбату на дачу и обратно в Кремль, улица, как червями, была напшигована МГБшниками в одинаковых серых плащах и шляпах — и вдруг крик на весь Арбат: «Таня! Ой, как я рад! Таня!» — и бежит к ней через дорогу Пётр Алейников. Соглядатаи сделали стойку, один присел на корточки, пролез через подворотню во двор и, подбежав к кирпичному забору, залаял в переговорное устройство, вмонтированное туда и отмеченное секретным знаком. Затем, приложив ухо к одному из кирпичей, внимательно слушая указания, он сумел с виртуозной точностью задрать заднюю лапу и справить нужду. Уверенно гавкнув, он пролез обратно на улицу и, виляя хвостом, встал во весь рост, поправил шляпу и вальяжно подошёл к толпе, глазающей на любимых артистов. В это время Алейников, обнимая Окуневскую, говорил:

- Танечка, милая, как я рад. Немедленно идём в ресторан!
- Алейников, Алейников! — разносилось вокруг.
- Это ж Ваня Курский... Молибога...
- А как он в «Александре Пархоменко» играл! Гений!
- А что за баба с ним?
- Не знаю... Да, по-моему, Окуневская.

— Скажешь ещё! Окуневская знаешь, какая красавица?! А у этой сибеагровые мешки под глазами. Она больше на шлюху из буржуазного кино похожа.

Алейников, никого не слушая, продолжал от радости кричать поставленным голосом:

- Танечка, я тебя не отпущу! Уважь, Таня!

Вокруг раздавалось:

- Нет, это не Окуневская, лицо какое-то серое, блёклое. У Окуневской лицо светится.
- Ну правильно, когда душа живая, оно всегда светится.
- Живая? А почему у тебя не светится? Ты же не покойник!
- Петя, где сейчас снимаешься?
- Ой, Танечка, не спрашивай, всё в ресторане расскажу.

— Но вообще-то, может, и Окуневская. Говорят, она срок отмотала, а там не только посереешь, но и синюшной станешь. Вот Петра Мартыныча я за километр узнаю.

- Так его все знают, как родного.

— И Окуневскую знают, а эта и рядом не лежала. Ей можно, не гририруясь, Бабу Ягу играть.

- Чего ты городишь? Разуи глаза! Это Окуневская.

Топтуны что-то тшательно записывали в блокноты. Наверное, всё, что говорила толпа, которая не подходила вплотную, а с почтительного расстояния наблюдала за Алейниковым и Окуневской.

— Знаешь, Петя, мне как-то с арестантской баланды и сразу в ресторан... Может, потом... Я ещё не привыкла к свободной жизни.

— Свобода-то есть, да только что-то я застоился. То от этих режиссёров отбоя не было, а тут — молчат. Предлагают, правда, иногда откровенную конъюнктуру или халтуру слащавую: «Слава! Ура-а!» Ты же знаешь, что я холуёв не могу играть. Душа у меня этого не терпит, — и глаза его наполнились грустью. — Я с Борисом собирался душу отвести, пока остатки гонорара не пустил на расцвет ресторанной промышленности.

- Да, кстати, как дела у Андреева?

— Снимается — Саша с Уралмаша. У него как раз сейчас съёмки. Ой, Тань, я так за него переживаю. Единственный друг, можно сказать. Ну ещё Бернес тоже душу пока не продал. Пойдём, Танечка, пока деньги есть, опрокинем коньячку. Не захочешь коньячку — шампанского, уважь бедного артиста.

Только не донесли агенты в своё гестапо о нежелательной встрече — видно, и они любили Алейникова и тайно преклонялись перед Окуневской. А риск был огромный, если не сказать, смертельный.

— Правильно, москвичонок, правильно! — одобрительно и, как всегда, неожиданно загнузил Черчел. — Есть у нашего барбаросика одна слабость: к искусству его влечёт. Ему всё время кажется, что он понимает смысл красоты. А его приспешники состряпаны из того же теста, так что отдельные атомы человека присутствуют в их запрограммированном механизме. Ты лучше скажи, тебе не доводилось бывать в Центральном доме кино?

- Бывал, а что?

— Ну тогда ты знаешь про их съезды. Мы всё держим под контролем, и в том числе, их сборища. Так вот, представь себе разгар перестроечных реформ, нарождающийся беспредел и на фоне всего этого — съезд кинематографистов. По моему указанию в назидание потомкам была сделана видеозапись этого судилища. Вот, посмотри, — и он протянул мне чёрную видеокассету. — Можешь включать, как только я исчезну, аппаратура настроена, — и он, набрав воздуха, поднялся метров на десять и, помахав рукой, испарился.

Я нажал кнопку и увидел знакомый зал, заполненный людьми, пребывающими в странном оживлении, как осы в улье, когда их потрево-

жишь. Было видно, что все они задыхаются от ненависти, словно объелись чертополохом. Среди сидящих я заметил и Черчела, и рыжего. Для них организация подобного рода мероприятии — не работа, а так, опохмелка и черновильский хлеб — потешаются, травят полуживые людские души. Черчел поёт, положив ноги на плечи впереди сидящего делегата: «Вставай, проклятьем заклеймённый!..» Рыжий, вскочив на кресло, кричит: «Неужели все беспартийные? Товарищи члены, почему не поёте? Это же наш и ваш гимн!» Черчел орёт ему на ухо: «Не задавай глупых вопросов! Они и раньше не пели. Сейчас-то им чего бояться? Они вон даже не встают», — и продолжает: «Мы наш, мы новый мир построим! Кто был ничем, тот станет всем!» Рыжий, вторя ему, подпевает: «Это есть наш последний и решительный бой, последний бой, он трудный самый, и значит, нам нужна одна победа... мы за ценой не постоим! Энтузиасты, подпевайте!» Но никто их не слышит, каждый норовит побольнее укусить. До шакалов дошло, что лвы действительно дохлые, а те, которые живы — оклеветаны и преданы завистливыми сородичами. Теперь можно показать и свои гнилые зубы или частокол из золотых коронок, не останавливаясь перед корифеями советского кино. И если бы был жив Сергей Эйзенштейн, то его бы тоже не пощадили, закидали бы грязью «Броненосец Потёмкин» — лучший фильм всех времён и народов, и «Александра Невского» эти горе-модернисты облили бы куриным помётом, и «Ивану» бы досталось, несмотря на то, что он Грозный.

«Приготовились! — Черчел вскинул руку. — Фас!» — и вся стая бросилась на наших замечательных мастеров, всеми признанных метров. А ведь ещё вчера перед ними шаркали ножкой и услужливо заглядывали в рот, пуская слюну. Попал на костёр модерн-инквизиции и замечательный артист и выдающийся режиссёр нашего времени Сергей Бондарчук. Со всех сторон раздавалось ядовитое шипение, щёлканье прокуреными клыками, и было уже не различить, кто больше похож на мокрицу, кто на могильного червя, а кто родом из террариума. Двудликий Янус награбил личной медалью саму госпожу Гнусность за её усердие в вербовке такого количества лицемеров. Скромные и совестливые, с ещё не изъеденным червями талантом, пытаются что-то сказать, но так и не решаются перекричать наглых и самоуверенных. Каким же нужно обладать мужеством и теми приметами, о которых я говорил, чтобы выйти на трибуну и сказать этим неменяемым те исторические слова: «И это всё вы говорите о художнике, который поставил «Судьбу человека» и «Войну и мир»? Да только за это имя Сергея Бондарчука навсегда останется в истории мирового искусства! — и сделав паузу, продолжить. — А кто мы? Мне стыдно за нас». Все знают его по актёрским и режиссёрским работам, так что он поскромничал, имея в виду и себя. Сказал это, не побоявшись разъярённого зала, Никита Михалков. Вот вам и приметы. И ещё добавлю. Никита Сергеевич Михалков служил на флоте. Дорого стоят его слова: «Я друзей выбираю не по занимаемым постам и должностям, а по веле-

нию души». И все знают, что слова его с делом не расходятся. Если бы у всех было так...

Александр Исаевич Солженицын, прошедший смертоносную войну, сатанизм лагерей, гонения советско-партийной номенклатуры, оклеветанный и высланный за пределы своей родины, был вынужден жить в Соединённых Штатах Америки. Его несколько раз приглашал на приёмы сам президент, так называемый хозяин Белого Дома. Не пошёл, не поддавался соблазну блеснуть на страницах прессы рядом с властителем Америки: «Мною всё высказано в книгах и статьях. Повторяться и муслировать я ничего не буду и, тем более, придумывать небылицы». Вот так. Представляю, как некоторые наши знаменитости союзно-самогонного разлива, мечтающие за кусок мяса лизать руки и петь дифирамбы президенту самой богатой в мире страны, поползли бы с ведрами помоев, чтобы вылить их на Россию. Когда Солженицын с триумфом вернулся на Родину, он проехал через всю Россию и видел, как над его народом издевается чиновничий класс — эти мозоли и бородавки, выросшие на креслах и стульях, попирающие элементарные законы нравственности, не ведающие, что существуют рамки приличия. Это те, кто услужливо улыбаясь, сгибаются в поклонах перед вышестоящими и обижают и унижают простой народ. Скользкие, омерзительные, они порочат величие России, её великих писателей, музыкантов, полководцев и флотоводцев, учёных, государственных деятелей, педагогов и врачей, воинов, трудолюбивое крестьянство и рабочий класс.

Ещё древние говорили, что страшнее всех египетских казней, когда у власти стоят самодуры и невежды. В Москве живой классик нашего времени рассказал о вопиющей несправедливости и чиновничьем гнёте. Он от всей души предложил путь, как обустроить Россию. Гений, наверное, надеялся, что президент разгонит свору смакующих гурманов, любителей покрасоваться и покомандовать, да ещё и проповеди народу почитать. Но откуда невеждам знать, что ещё в добиблейские времена знали все: чтобы иметь право читать проповеди людям, надо жрать не больше, чем они. И когда первый президент России награбил писателя высшей наградой — Орденом Андрея Первозванного, Солженицын отказался его принять, сказав: «Вот когда Россия встанет с колен, и я увижу искреннее стремление власти обустроить Россию, тогда можно будет получить наивысшую награду». Вот ещё одна примета гениальности.

Мой личный опыт общения с именитыми говорит, что среди них редко можно встретить хотя бы какую-то заинтересованность, а тем более, желание чем-то помочь, пусть даже добрым словом. Всё это неправда, что режиссёры, эти магистры его величества театра, всюду ищут новые пьесы, новых авторов. Все они встречают новичков с холодным носом и ледяным сердцем. И я их понимаю, у каждого свои планы, свои амбиции. Но часто за новаторством стоит одно примитивное и бездарное желание — шокировать, только шокировать. Чтобы привлечь зрителя, они идут на

любое тошнотворие. Вплоть до того, чтобы заставить актёров на виду у всего честного народа в декорациях театрального храма справлять нужду, причём не только малую, но и большую, или раздеться догола и показать двухполусферную голову, на которой нормальные люди сидят. И тут же появляются персонажи из сказки Андерсена о голом короле, чокают губами и даже намекают автору на его гениальность. Это и происходит в музеях, на передвижных выставках, в творческих союзах, на заседаниях комиссий по присуждению незаслуженных премий, которые размножаются со скоростью мух, живущих в сортирах или в навозных кучах. В своей похвале они дошли до того, что похабникам и ценителям смердящих слов присуждают звания лауреатов, внушая окружающим и самим себе, что автор следует стезёй Льва Толстого! Господа, побойтесь Бога и самой разумной галактики Вселенной! Если автор, страдая слабоумием, считает, что его бесноватые мыслишки нужно печатать и тиражировать, то его время точно настало, правда, в Институте имени Сербского эта болезнь не поддаётся лечению.

Хочу отвлечься от этих кичливых деятелей псевдоискусства, но память не даёт забыть о приглашении на премьеру в Дом кино. Приехал, как и большинство, на метро. Приглашение было на два лица, а из знакомых никто пойти не пожелал, поэтому я остановился у входа и стал наблюдать. Одна за одной подкатывали машины — в основном, стандартный набор, но некоторые шикарные иномарки особенно выделялись. Из таких обычно вылезали напомаженные дамы с пренебрежительным, но манящим взглядом в сопровождении наскоро испечённых буржуа, важно ведущих своих невест, прелюбодеек, а может быть, и жён — на лбу не написано — под руку. Вокруг вертятся ещё не вполне созревшие девчонки школьного возраста. Контролёры на входе, как вратари, готовы стоять насмерть. Безбилетных больше, чем приглашённых, все лазейки и даже служебный вход перекрыты особым вниманием администрации. В Доме кино премьера и встреча со съёмочной группой! Почти все отзывы кинокритиков переполнены восторгом. Пресса старается: «Фильм эротический и сделан классно!» Я в это не верю, думаю — очередная обнажёнка сексуально озобоченного недоумка. Персонажи из «Нового платья короля» на такие премьеры приглашаются первыми. Смотрю, подъезжает надменный чёрный «Хаммер», из двух машин, сопровождающих буржуа, выскакивает охрана и становится в каре. Двое с ярко выраженными способностями лакеев открывают сверкающую чернотой дверь и помогают человеку в сером лоснящемся костюме выйти из авто. О, Боже, на лацкане пиджака знакомый обрывок верёвки, завязанный замысловатым узлом.

— Свободны! Массажисткам не спать! Все получают на чай ночью, когда я вернусь с премьеры. Можете не приезжать, я доберусь один. Вы же знаете, как я люблю ночную Москву. Ну, что рты пораскрывали? Или я непонятно сказал?

— Но вы рискуете, — процедил сквозь жвачку водитель.

— Я рискую? — он чуть не подавился от смеха. — Это несерьёзно!

Лицо водителя, разбухшее от жира и бессонницы, покраснело.

— Виноват! Но служба...

— Заткнись, быдло! Нахлебники, паразиты захребетные! Пшли вон! — и, набрав воздуха, он дунул вокруг так, что всё почернело, и я увидел, как из-под земли вырвался смерч и, просверлив небо, исчез.

Когда тьма рассеялась, ни «Хаммера», ни машин сопровождения, ни подобострастных рож с высунутыми языками на улице не оказалось. С распростёртыми объятиями ко мне шёл Черчел.

— Кого я вижу! Москвичонок! Стареешь, юнгащ, стареешь. Надеюсь, ты переписал плёнку с хроникой скандального съезда?

— Да, и сделал три запасных копии.

— Умница! А то ведь киношники такой народ — всё переврут, ты же знаешь.

— Теперь знаю. Но не все же такие.

— Согласен. Кого-то ждешь?

— Не знаю.

— Ты посмотри, сколько малолеток! И всем хочется на премьеру, а ещё больше — на экран. Любая разденется, где угодно: хочешь, в метро в час пик или на свадьбе перед гостями, а могут и на похоронах, лишь бы попасть в кадр к какому-нибудь развратнику, любителю женской натуры.

— Мозги некому вставить — ну что с них взять?

— В этом смысле мы с тобой единомышленники. Ну никак не может человечество усвоить, что обнажать женщину в искусстве имеют право только гении. А их, как известно, единицы, я это не понаслышке знаю. Вчера случайно залетел на кастинг. Такого я ещё не встречал: на невольничьем рынке хоть какие-то нормы соблюдаются, а тут сидят эксперты с глазами каракатиц и изображают представителей чуть ли не самого Господа Бога. В воздухе — запах пота, денег, и, кажется, сама разомлевшая Похоть сочится изо всех щелей. А температура от этого разогрева, как у нас в ведомстве, да и участники чертям подстать. Развалится в кресле такой пузырь, пенел от сигареты на пол стряхивает, не отводя глаз от интимных подробностей женского тела, у самого голова трещит после вчерашней тусовки, а в мыслях — стратегия вертится «Как убрать коллегу».

— Убрать, то есть убить?

— Ну, если хочешь, нейтрализовать, физически устранить, а попросту — замочить. Бизнес-план современного продюсера должен включать расходы на личную охрану, а в случае чего и на устранение конкурентов.

— Как, штатные убийцы?

— Ну, у нового тысячелетия своя романтика. Теперь их называют киллерами. Мокрушник — это неблагозвучно, да и непристойно. Кстати, о бизнес-планах. Ты, конечно, не знаешь о новом проекте нашего барбаросика. Это надо же придумать завод по выведению глянцевых червей! Так

можно и воландовскую премию оттяпать. Ну что, пойдём, посмотрим на мечты извращенцев?

— Нет, я передумал.

— Брось! Нужно знать и гнилую сторону жизни, москвичонок! Или что, на тех писклявок потянуло? На свежатинку?

Я попытался возразить.

— Можешь не отвечать, я шучу. Пока! — и он, расталкивая толпу локтями, ринулся к стеклянной входной двери.

А я остался стоять и с грустью думал о безостановочной жизни, и в ушах у меня скрипел голос Черчела: «Стареешь, юнга, стареешь». Как было бы хорошо, если бы её можно было остановить и поехать обратно, выбирая самые счастливые остановки! Я зажмурился от предвкушения зарева заходящего Солнца.

— Папочка, не побалуете сигареткой?

Я вздрогнул и открыл глаза. Передо мной стояло очаровательное, совсем ещё юное существо, всем своим видом показывающее, что оно уже не существо, а неотразимая женщина. Глаза её, не спрашивая разрешения, лезли в душу. Они были огромными, и в них отражались не только ресницы, но и закат, и моё растерянное лицо. Волосы, уложенные волнами, несмотря на экзекуцию, устроенную им, были красивы и горели магическим светом.

— Извините, ошиблась, вы ещё совсем молодой. Я бы не удивилась, если бы вы учились в выпускном классе, а я в девятом. Вы оберегали бы мою честь? Отгоняли бы назойливых и самовлюблённых ухажёров?

— Если бы всё это было так, думаю, что да.

— Значит, я решила правильно, что в вас есть что-то от рыцаря Айвенго. Только сейчас рыцари не в почёте, а над Дон-Кихотом смеются.

— Кто смеётся?

— Да все!

— Ну не все же недоумки! Слава Богу, ещё не конец света, и возрождение возможно.

— Интересно, это кого же?

— Человека.

— С вами не соскучишься. Угостили бы лучше сигаретой.

— Угостил бы, если б были.

— Значит, вы курите.

— Курю, но собираюсь бросить. Думал, куплю в Доме кино.

— А у меня есть свои, дамские «Эссэ», слабоваты, но для плюмажа* — что надо. Хотелось покрепче, вот и решила к вам подойти. Пожалуйста, молодой человек, — и она протянула раскрытую пачку, — слабоваты, но других нет.

— Спасибо, — сказал я, и мы закурили.

— Вы работаете в Доме кино?

— Нет.

— Но вы вхожи в эту обитель. Вы член союза?

— Да, но не кинематографистов. У меня пригласительный, могу уступить. Вам же очень хочется попасть на премьеру.

— А вам не надоел официоз? Это никак не сближает. Переходим на ты?

— Это серьёзно?

— Я девушка самостоятельная и отвечаю за свои слова.

— Ну хорошо. Держи билет и поспеши, к началу опоздаешь.

— А ты?

— Что я?

— Ты разве не пойдёшь?

— Послушай, пока я стоял и ждал, чтобы кого-нибудь пригласить...

— Ну вот и дождался. Пойдём. Я что, тебе не нравлюсь?

— Нравись, нравишься, даже слишком.

— А чего же мы стоим?

— Понимаешь, девонька...

— Ой, ещё никто так не называл. Даже папа, хотя он сбежал, когда мне не было и пяти, но я его помню.

— А мама?

— Да она в вечной командировке. Раз в год появляется. Побудет недельку и на взлёт. Вот бабушка у меня! Но она заболела. Приходится самой её навещать. «Девонька» — сколько ласки в этом слове, правда?

— Правда, если его от всей души говорят.

— А почему ты не хочешь идти на премьеру?

— Пока я здесь стоял, пришлось выслушать слишком много хвалебных отзывов об этом псевдошедевре. Да и по самой публике видно: в основном, это фанатики общих бань, слава Богу, хоть туалеты пока разные — «М» и «Ж». Вот и меня заносит: хочу показаться интеллектуалом, но ослоумие своё берёт. Прямо досада какая-то.

— Успокойся! Мы уже на ты, а я ещё не знаю твоего имени.

— Вадим Геннадьевич.

— Вадик! А моё — Анжела. Вадюша, я с тобой согласна и на премьеру не пойду! Что я, себя обнажённой не видала? Поедем лучше к тебе, а хочешь — ко мне. Ну, чего ты так смотришь? Запала я. А тебе разве меня не хочется? Ну поедем?! Хочешь поцелую?

Я буквально ошалел. Её дыхание притягивало. Я уже ощущал её губы и дурманящую сладость прикосновения.

— Вадик, поцелуй меня. Я хочу целоваться. А это и есть зелёный свет перед входом в тоннель, в конце которого сбываются мечты. Я ещё в школе учусь, а это уже знаю.

И она, встав на носочки, как балерина, раскрыв дрожащие губы, потянулась ко мне и замерла в ожидании.

— Анжелочка, прости. Ты самая красивая. Я уже люблю с третьего взгляда.

— А я с первого, — она отошла в сторону, и глаза её наполнились грустью. — Ты не хочешь ехать? Почему?

Я молчал.

— Поедем, а там будь, что будет! Ты такой несовременный. Я хочу познакомиться ближе.

— Для коллекции? Мой образец войдёт в раздел ископаемых?

— Ну что ты говоришь? — и она рассмеялась ещё беззаботным детским смехом, потом, помолчав, посмотрела убивающим взглядом и очень серьёзно сказала: — Это мужики коллекционируют, а мы ищем и выбираем самого доброго и надёжного. Я хочу тебя испытать, это моё женское право. Ты ничем не рискуешь и ничего не теряешь. Всё обоюдно и бесплатно. В тебе нет ничего от альфонса, а сутенёров ты презираешь, ведь правда?

— Не то слово! Они как вши. Чуть ли не весь мир педикулёзом заразили!

Она снова засмеялась.

— Что ты смеёшься? Эти гниды ещё вшами не стали, а уже кровь чужую сосут!

— Ты прав, поэтому я и хочу, чтобы ты поехал со мной.

— В другой раз, Анжелочка, в другой раз.

— А может, все-таки поедем?

— В другой раз обязательно.

— Эх, Вадик, Вадик. Придётся побыть одной, мне не привыкать. Лягу в постель, размечтаюсь и усну. А утром вспомню тебя и нашу встречу. А ты, как только я уйду, забудешь...

— Тебя?

Анжела молчала.

— Нет, самую красивую я никогда не забуду!

— Вадик, я согласна на другой раз. Я готова встречаться в любое время по твоему желанию. Вот мой телефон, — и она протянула розовый листочек, на котором чернели цифры.

— Анжелочка, я готов встать на колени! Ты одна! Ты неповторимая! Я знаю, что больше такой не встречу, и это правда! Я обязательно позвоню.

— Вадик, а может быть, ты ангел?

— Да, конечно, из кукольного театра, за что и сбросили с седьмого неба, чтобы покаяться и грехи замаливал.

— Не верю! Ты оговариваешь себя! Мне сердце говорит, что ты настоящий. А сердце не обманешь. Буду ждать звонка!

И она встала на носочки. «Какие стройные ноги, — думал я, — ей бы в «Лебедином озере» на пуантах!» Она поцеловала меня в щёку и стала медленно уходить, и я почувствовал, как рвётся душа.

— Анжелочка, постой! — закричал я, но она убежала, вернее, взмахнув крыльями, улетела.

А я остался один на один с безостановочной жизнью. Как было бы хорошо, если бы ее можно было остановить и поехать обратно, выбирая самые счастливые остановки!

Где сейчас Анжела, и что с ней? Вышла ли она замуж за самого доброго и надёжного, или она одна? Я так и не позвонил, испугался её непосредственности. Все мы, мужики, трусы! Так и живу в неведении. Но и она не знает, что в память о нашей встрече я написал вот эти стихи:

Ты подошла, спросила сигарету.
Как непреклонно я на мир смотрю!
По старому библейскому завету
Я всей душой тебя боготворю.

Мы не одни. Спасите наши души!
Девичий стыд — оборванный цветок.
Ну неужели нас никто не слышит?
Я заклинаю болью этих строк.

Твоих волос Саргассовое море,
Красавица с отрезанной косой...
Сквозь горе прозревают зори,
Не притворяйся грубой и босой.

По-новому, но также безответно,
Страдая, бьются души и сердца.
В твоих губах сгорает сигарета,
Касаясь дымом нежного лица.

И на губах, горячих от проклятий,
Следы любви, продажной и святой.
Я не боюсь клейма твоих объятий,
Боюсь креста над грешною душой.

По Старому и Новому Завету
Себя и Бога обмануть нельзя.
Не притворяйся пошлой и отпетой,
Я всё равно боготворю тебя...

— Браво, москвиченок, браво!

И я увидел стоящего на пишущей машинке Черчела.

— Я решил ощутить себя лилипутом хотя бы на день. Представляешь, я всегда это знал, а сейчас проверил на себе: ум не имеет никакого отношения к росту. Мал золотник, да дорог. А ты тогда правильно сделал, что не пошёл на премьеру. У меня, видевшего оргии Калигулы и Нерона, от стыда багровели уши. А что ты не спрашиваешь про малявку? Молчишь? А Анжелочке бы стихи понравились. Боготворить женщин повелевает сам Бог. Ты хочешь узнать её судьбу?

— Нет! В любом случае я желаю ей счастья.

— Может быть, хочешь встретиться с ней на небе?

Я колебался. Черчел с нескрываемым сочувствием посмотрел на меня. В его глазах я увидел весы, чаши которых склонялись то в одну, то в другую сторону. Стрелка на какое-то мгновение задрожала и замерла. Тогда он сказал:

— Не бойся, я не могу этого сделать. На небе у меня нет никакой власти. Такие чудеса умеет творить один Всевышний. Но не грусти, я хочу обрадовать тебя. Ты обязательно встретишься с родными и близкими.

— На небе?

— Ну а где же ещё?! Москвичонок, поверь, я знаю, что говорю. А о магистрах бессмертного театра и прочих публичных деятелях ты сказал слишком мягко. Они просто помешались на сексе, все эпитеты заменив всего одним англицизмом «сексуальная»! Ты сам должен понять, что власть может испортить кого угодно, но не гения. Истины все боятся, поэтому делают вид, что её нет. Зачем рисковать, когда есть обьеженные скакуны! Они надёжней, и если подсуется, а главное, знать, на какую лошадь ставить, можно выиграть приз. Титулованные букмекеры, которые гонятся за золотом и побрякушками, не подозревают, что мы произвели столько фальшивок, что хватит на несколько поколений. Ты понял?

— Стараюсь.

— Учись, пока живой. Давненько я не инспектировал крысиное государство, — и он, спрыгнув с каретки, шмыгнул в крысиный лаз под комодом, который я собирался, но так и не заделал битым стеклом.

Да, с Черчелом не поспоришь. Главной целью в искусстве для многих является удовлетворение собственной гордыни, когда удастся выклянчить какую-нибудь закордонную статуэтку с окаменевшими крыльями, в которой никогда и не было живой души.

Не знаю почему, но мне всегда хватало нескольких слов, чтобы понять, жива у человека душа или нет. Когда-то давно, ещё в Омске у меня была встреча с Арменом Джиграханяном, и я сразу понял, что его душа не только жива, но и возвышена в самом высоком смысле этого слова. То же самое могу повторить с любой трибуны и перед самим Богом о Евгении Матвееве, Николае Мордвинове, Олеге Ефремове, Иннокентии Смоктуновском, Евгении Евстигнееве, Инне Чуриковой, Михаиле Ульянове, Юрии Никулине, Георгии Вицине, Николае Сличенко, Евгении Леонове, Николае Караченцове, Исидоре Штоке, Булате Окуджава, Галине Соколовой, Олеге Дале, Марине Неёловой, об актёре и спортивном комментаторе Николае Озерове, о вратаре Владиславе Третьяке. И совсем недавно Господь Бог преподнёс мне бесценный подарок: я познакомился с Галиной Филадельфовной Забугиной. С удивительно цельной и возвышен-

ной душой, она, конечно, много раз награждённый ветеран Великой Отечественной войны, хирург, оперировавшая раненых, вернула меня в воспоминания моего военного детства. Она рассказала историю, от которой слёзы в глотке пересыхают и становятся осколками раскалённого металла. В больнице стоял рояль, на котором она, по просьбе раненых после тяжелейших операций, играла классику. В госпиталь поступил совсем ещё юный боец. Раны его были несовместимы с жизнью. Она сделала всё, чтобы спасти его, всё, что Бог разрешает сделать смертному. Бойца привезли в палату. Галина Филадельфовна в окружении медицинских сестёр пришла к нему. Ей было очень больно, но она держалась и, улыбаясь, говорила: «Ничего, ты меня ещё на свою свадьбу пригласишь!» Боец смотрел на неё своими васильковыми глазами и, с трудом шевеля губами, шептал: «Музыка... музыка...» И Галина Филадельфовна играла Грига до тех пор, пока солдат не закрыл глаза, чтобы никогда их не открыть на этом свете.

Но сколько же она спасла жизней! Только она знала это и Господь Бог. Галина Филадельфовна всем своим существом излучала невидимые флюиды добра и, конечно, вдохновляла меня на творчество. Я посвятил ей несколько стихотворений, но думаю, что они далеко не так совершенны, как совершенна была её замечательная жизнь.

Ещё мне хочется вспомнить добрым словом моего загорянского друга Юрия Шаха, человека с умным сердцем и добрым умом абсолютно талантливый во всём. Это был кладёз новейших идей, неутомимый изобретатель, никогда не искавший никакой выгоды, а бесстыжие махинаторы-«перестройщики» пользовались его идеями. Он погиб по нелепой случайности, а может быть, и по чьей-то злой воле. Я был в Екатеринбурге, когда случилась эта трагедия, и теперь до конца жизни в моей душе в том месте, где жил Юрий, будет зиять и болеть незарастающая рана.

У Юры жил кот, любимец всей семьи, и, конечно же, он был рыжим, с мужественным взглядом слегка раскосых глаз, а как недавно установили учёные, все рыжие коты отличаются особенной добротой и умом, в то время, как у людей такой закономерности не выявлено. Звали его Чубик. После трагедии он стал бегать по помойкам и даже иногда там ночевать. Но на бомжа он не походил, может быть, потому, что у него было целое море поклонниц, голубоглазых и с зелёными или карими глазами, пушистых или почти голых с короткой шерстью. В общем, Чуба держал марку изысканного кавалера. Все коты, жившие на нашей улице, страшно завидовали ему и ревновали до умопомрачения, и очень часто, когда у Чубы возникал очередной роман с какой-нибудь смазливой кошечкой, на всю Загорянку раздавался истошный вой отвергнутых соперников.

Всё было бы хорошо, но у него не было собственного дома. Все его жалели, старались подкормить и зазывали под свою крышу на постоянное место жительства. Но Чуба то ли из гордости, то ли боясь, что его запрут — а волюшки он уже хлебнул, — решил раз и навсегда остаться независимым, и потому неподкупным. Несколько раз моя жена пыталась

заманить его в дом, причём применялись самые разные кулинарные изыски, но соблазнить его не удавалось: кот с большим удовольствием всё съедал, но в дом не шёл. Ни дожди, ни морозы не могли заставить его изменить своему решению.

Но однажды он соизволил прийти в гости. Тщательно обнюхав всё помещёние, съев деликатес, специально для него приготовленный, он улёгся на мою кровать. С тех пор кот регулярно приходит полакомиться, а иногда и поспать, причём в любом месте, где он пожелает, ни от кого не скрывая своих барских привычек, в любое время суток заставляет выпускать себя на улицу. Оглядится вокруг и, если его не ожидает хотя бы одна поклонница, взглянув на солнышко, если это день, а ночью на луну, начинает гортанно взывать к своей зазнобе. После нескольких серенад, не дождавшись ответных песен, кот, не теряя достоинства, с гордо поднятой головой возвращается домой и начинает выпрашивать у моей жены очередное лакомство. На самом деле он избалован сверх предела и часто воротит нос от царских угощений, которые не сняты кошачьему населению даже по великим праздникам. Отвернувшись от еды и мурлыча очередную песню, он крутится у ног хозяйки, а если она садится — сейчас же прыгает на колени, только она приляжет — он уже на груди. «Чубонька, иди покушай, твоя любимая рыбка, ветчинка с домашней сметаной!» Но кот не обращает никакого внимания на её заботы, всем своим равнодушным видом демонстрируя, что для него главное — духовное общение и бескорыстная любовь, а не обжорство. Ну настоящий романтик, путешественник и искатель любовных встреч!

Кот понимал, что все его загулы — грех прелюбодеяния, но природа брала своё, пока в одну из зим он не ухитрился познакомиться с мисс «Самая очаровательная киса». Очаровательная, ничего не скажешь! Глаза с бирюзовым отливом, стройная и грациозная, пунцовые полоски на спине тянутся до самого кончика хвоста. Кто ей только ни предлагал сердце и лапу с туго набитым кошельком! Да что там говорить, самые жирные коты сулили ей эксклюзивную свадьбу, усыпанную лепестками роз, и полное обеспечение несгораемыми счетами «Котбанка». Но она предпочла нашего Чубу.

Я им, конечно, горжусь и отношусь к нему с огромным уважением, а жена его просто боготворит, и он отвечает нам взаимностью.

Теперь представьте себе, перед тем, как я решил написать мою исповедь, Чуба мне приснился во сне. Банальный, конечно, случай — кому только что не снится! А тут чувствую, как кот водит лапами по лицу, когти убрал и гладит. Я испугался: «Ну, — думаю, — сейчас цапнет». Открываю глаза, а он в них смотрит и мурлычет. Думаю: «На улице что ли просится?» Да нет, лежит рядом с моим ухом на подушке и мурлычет, и я в этом мурлыканье вдруг начинаю улавливать слова:

— Тебе Юра Шах просил передать привет, — говорит кот.

— А что, сам он не мог прийти?

— Не мог. На него сейчас навалилась очень ответственная задача. Он что-то новое изобретает. Если удастся, то все счастливыми станут. Его сам Всевышний на это благословил.

— Но это же там, а здесь это невозможно!

— Возможно, возможно. Попытка — не пытка. Если всё получится, Всевышний подберёт достойного человека и во сне внушит ему гениальную идею. А ещё он сказал, что тебе давно пора начать свою исповедь.

— Чуба, я знаю, что ты снишься.

— Ну, вот ещё! — и я почувствовал на щеке его когти.

Открыв глаза, я увидел на пишущей машинке кота.

— Чуба, это правда, что ты сейчас сказал?

Кот молчит, только жмурится и зевает. «Ну, — думаю, — нечистая сила попутала. И сумели же чёрного кота в рыжий цвет перекрасить!»

— Ещё чего! — мурлыкнул кот и, спрыгнув с машинки, стал ходить вокруг меня.

— Нехорошо, нехорошо, — кот зевнул, широко открыв пасть.

— Чубонька, иди ко мне!

— Не пойду, — промяукал кот, — я на тебя обиделся. Я самый честный и чистый кот в мире, нельзя так думать о своих друзьях.

— Но я только подумал!

— Ещё не хватало в жёлтой прессе опубликовать! — он фыркнул, залез в кресло и стал облизывать лапы, потом ударил хвостом по подлокотнику, и передо мной предстал Черчел.

— Какая нечистая сила? — загнусавил он. — Я, например, делаю всё чистыми руками, с холодным умом и горячим сердцем.

При появлении чёрного человека кот соскочил с сиденья, уступая ему место, и когда тот откинулся на спинку, прыгнул к нему на колени.

— А твой Чуба, между прочим, прямой потомок любимого кота Воланда Капитона и самого Каллистрата. Он, как и его прапрадедушка, не поддаётся перевоспитанию — ты сам в этом убедился, — он горд, самостоятелен и чист, как слеза брошенного котёнка. Так что Чуба, хотя и рыжий, но душа у него светлая. Я думаю, ты понял и не будешь даже в мыслях допускать непристойного отношения к нечистой силе. Капитон, благородный и свободолобивый, всю жизнь был благодарен Его Сверхвеличеству за то, что он вытащил его из алкогольной лужи. А погиб он, как настоящий герой. Какая-то дурёха со своим кошачьим выводком переходила улицу. Неожиданно из-за поворота выскочил грузовик. Всё решали секунды, Капитон со страшным воем бросился на котят, те с перепугу разбежались, буквально выскакивая из-под колёс. А кот не успел. Воланд до сих пор носит в нагрудном кармане его портрет в чёрной рамке. И я его понимаю: потерять преданного без лести, неподкупного друга, всегда говорящего в глаза только правду — это трагедия... А вот ты кое-кого забыл.

— Не думаю, может быть, в суете что-то и уходит из памяти, но потом всё равно возвращается.

— Верю, москвичонок, верю, — поддержал Черчел, глядя кота. — Вспомни о замечательном художнике, мастере по керамике Юрии Козлове. Помнишь, как ты попал на выставку? Ты был там со своей внучкой Полиной. Ну, я пошёл! Я, как всегда, спешу. Дверей не закрывай, я сам закрою.

Он ушёл, а кот, проводив его взглядом, долго смотрел ему вслед. Повернув голову ко мне, он укоризненно сказал:

— Вот так. Теперь всё понятно?

Кот прошествовал к двери, я пошёл за ним. Мы вышли на улицу. Я посмотрел на небо, среди скрывавших его туч ярко светили две зелёных звезды. Да, Черчел знает то, о чём мы иногда забываем.

Проходит время, но память восстанавливает всё, каждую деталь, как будто это было только вчера. Юра Козлов. Разве можно его забыть?! Он меня пригласил в филиал «Третьяковки», расположенный в Центральном доме художника, на открытие выставки претендентов на Государственную премию России. Его символические работы под общим названием «А что есть истина?» были великолепны. Иконы из керамики светились изнутри загадочным светом, причём это было видно под любым ракурсом. Как он этого добился? Не знаю. Думаю, что в этом ему помогли его светлая душа и фанатичное трудолюбие. Выставку открыл министр культуры Сидоров. После краткого выступления он прошёлся по галерее и осмотрел работы соискателей. Уже уходя, он остановился возле Юриных работ. Он то подходил ближе, то удалялся на какое-то расстояние и долго смотрел на божественные лики. Среди лиц, изображённых Юрой, был и поэт Гарсия Лорка. Было такое ощущение, что он сотворён из огнедышащей лавы извергающегося вулкана. Тут я решил пойти на абордаж и, недолго думая, спросил министра:

— Нравятся ли вам работы Козлова?

Мне приходилось и раньше встречаться с чиновниками от культуры. Почти все они играют в свои должности, причём очень посредственно — о школе переживания Станиславского и речи нет, — они обычно даже не подозревают, что фальшь их примитивной игры видна, как на ладони, и они просто смешны, если бы всё это не было так грустно и противно. Но на сей раз чиновник такого высокого ранга, к моей радости и, по-видимому, к великой радости всей нашей культуры, оказался по-настоящему эрудированным и действительно высоко образованным человеком. Он прямо, без всякого наигрыша признался:

— Мне очень нравятся эти безусловно уникальные работы. Я недаром задержался, чтобы ещё раз вникнуть в душу художника и постараться понять её.

Разговаривая с министром, я сразу почувствовал его тонкую, нечиновничью душу, и даже не верилось — неужели России на этот раз повезло и культурой занимается человек, действительно достойный её великого предназначения? И в это время появляется сам автор, Юрий Козлов.

Я тут же запросто предложил ему познакомиться с министром, сказав что-то вроде того, что очень редко встречаются родственные души, что такими встречами нужно дорожить и, попросив извинения, ушёл в соседний зал. Вернувшись через некоторое время, я не нашёл в зале ни министра, ни Юры. Я подошёл почти вплотную к одной из икон и стал смотреть в её керамические глаза. За светящейся лазурью просматривалось что-то необъятное и бездонное. Тут за моей спиной я услышал недоумённые возгласы:

— Министр уехал, а этот, с бородкой, остался.

— Он что, художник?

— Да нет, наверное, эксперт из Академии художеств.

— С министром на короткой ноге.

— Я его где-то видел.

— А я первый раз вижу. Наверное, всё-таки какой-нибудь закордонный деятель.

— Точно! Я слышал, что министерство пригласило из США знатока новейшего мирового искусства.

И тут началось. Ко мне веером стали подходить журналисты всех средств массовой информации.

— Вы говорите по-английски?

— А зачем, если я по-русски говорю с самого детства?

— Вы, наверное, эмигрант или его потомок?

— Ни то, ни другое.

— Вы диссидент, борец за права человека? Интересно, сколько вам платят за ваши убеждения?

— Мы очень рады, что после неумытой России вы наконец-то отмылись в светочке разума западной цивилизации!

— Получить политическое убежище — мечта любого честного гражданина.

— И ещё иметь от этого доход! Это шедеврально!

Я совсем растерялся. Журналисты оказались из различных стран, но большинство из России.

— Я русский, — повторял я, — и ни в каком убежище не нуждаюсь.

— Вы давно знакомы с министром?

— Ну что вы, конечно нет!

— Не скромничайте. О чём вы разговаривали? Интересно, что из экспонатов он особенно выделил?

«Ну, — думаю, — пообщался прилюдно с министром, и меня сразу стали принимать за какую-то сверхважную персону!» Где же затоптанный чиновничьим произволом наш современный Гоголь? Уж он бы написал правду-матку, как на моём месте повёл бы себя герой нашего времени Хлестаков! Уж он бы вошёл в роль по системе переживания, а не представления, и мог бы сыграть не только академика, но и самого министра!

— Каково мнение министра о керамике Козлова?

— Кого он видит лауреатами?

— Простите, но этого я вам сказать не могу. А личные мысли министра принадлежат только ему, и его мнение на данный момент является государственной тайной.

— Ну скажите! Вы не имеете права скрывать от народа информацию!

— Всё, интервью закончено, — отрезал я, и вся эта ватага с недовольным повизгиванием разбежалась по залам.

Несмотря ни на что, я всё-таки увидел свой неприкаемый образ на одном из каналов телевидения. Я стоял и рассматривал художественную работу, конечно же, не Козлова. Моей фамилии, тем более занимаемой должности, не называлось, да этого никто и не знал. Главное — со мной общался министр, и этого оказалось достаточно для пишущей братии. Уж чего-чего, а свободная фантазия, не имеющая разумных тормозов, у журналистов всегда опережает проверенные факты. В кадре я стоял на фоне экспоната и, пощипывая свою бородёнку, рассматривал подsunутый телевизионщиками шедевр. Кому-то всё-таки удалось зацепить меня видеокamerой в запланированном месте и в нужное кому-то время. Но самое интересное, пока транслировали мою персону на фоне полухудожественного неоседевра, за кадром звучал бодрый, жизнеутверждающий голос: «Выявить достойных лауреатов Государственной премии России доверено специалистам самой высокой квалификации. Наш народ надеется, что они сделают единственный совершенно правильный выбор». Ну что ещё сказать о нашей неподкупной, служащей только истине, с чистой, как слёзы пресвятой Мадонны, совестью, свободной прессе?!

Ещё на этой же выставке была представлена работа очень известного художника со знаменитой фамилией Мессерер. Это был макет изумительных в своей лёгкости и ажурности декораций МХАТа к спектаклю «Вишнёвый сад». Борис Мессерер со своей супругой Бэллой Ахмадулиной находились рядом. Поэзию Ахмадулиной я всегда безоговорочно принимал умом и сердцем. Я всю жизнь сомневаюсь в справедливости скоропалительных выводов, но начинаю думать, что истинным поэтом народ может признать человека только спустя пятьдесят лет после его смерти. Но Бэлла Ахмадулина — счастливое исключение, которое не подчиняется этой закономерности. Не знаю почему, но мне показалось, что эта самой гармонией обвенчанная пара была чем-то опечалена. Огромные глаза Бэллы были распахнуты. Они совершенно по-детски выражали удивление происходящему вокруг, они как будто долго искали что-то невидимое и, наконец, нашли. Мессерер, словно замороженный, смотрел на её лицо. Я набрался отложенной, как всегда, про запас наглости и, подойдя к ним, спросил:

— Ну а вы-то зачем здесь? У вас что, вдохновение пропало?

Бэлла от моей невоспитанности и хамства изменилась в лице. В глазах её засверкали молнии. Но сквозь стрелы молний я видел всю её беспомощность и незащищённость от паранойи торжествующего зла.

— Что вы этим хотите сказать? — едва скрывая негодование, спросил Мессерер.

— Я хочу сказать, что вы уже переросли все эти тусовочные конкурсы, и что давным-давно пора учредить премию имени Бориса Мессерера!

Бэлла заулыбалась, а сам Мессерер, явно стесняясь моего предложения, сказал:

— Ну, это уж слишком.

— Ничего лишнего! Я уверен, что вы с вашей супругой присуждали бы премии по чести и совести.

Бэлла хотела что-то спросить, по-видимому, кто я такой и где возвращают такие охамевшие экземпляры. Но я, опередив её вопрос, почему-то сказал:

— До встречи! — и, не оглядываясь, почти бегом вылетел из зала.

Уже выходя из здания «Третьяковки», я почувствовал, что кто-то обгоняет меня слева. Я обернулся, услышав знакомый голос:

— Ну что ты там опять нагородил? Что ты везде суёшься со своей принципиальностью? Какая честь? Какая совесть? Ты где живёшь?! — и глаза его от злости засверкали зелёным пламенем. — Премию твоему Козлову не дадут.

— Почему?

— Чересчур талантлив. Да ты не расстраивайся, его одновременно пригласят в Рим и в Лондон.

— Я бы хотел, чтобы он работал в России! — возразил я.

— России сейчас нужны менеджеры и финансисты, которые могут в один момент из миллиона сделать один рубль. Они живут не Вечностью, а одним днём. Ты понял, москвиченок? Пока! — и он исчез так же внезапно, как и появился.

А что сейчас с Юрой Козловым, я так и не знаю. Может быть, он действительно уехал в Англию, а может, в Италию. А премию, как и предсказывал Черчел, ему не дали.

Я посмотрел в окно, ни вернулся ли Чуба? Ночь отступила, и с рассветом на землю вернулись полусонные тени. Чуба сидел на крыльце и умывался. С тех пор я стал угадывать желания кота по выражению его раскосых глаз и как ни пытался с ним заговорить, кот только снисходительно улыбался, но больше никогда не проронил ни слова.

Мне очень хотелось написать о моих родных и самых близких, которые сейчас, чем только могут, оберегают мою уже уходящую за горизонт жизнь. Ничего не пишу о моей любви к ним и благодарности за их терпение, помощь и заботу. Когда я уже сел за стол и стал писать о моей огромной любви к ним, настольная лампа неожиданно включилась и засветилась ярким зелёным светом.

— Остановись! И порви! И не вздумай больше писать об этом, — Черчел погрозил мне пальцем. — Можешь признаваться в любви к кому угодно.

но хоть каждый день утром и вечером, но в сокровенном чувстве к самым близким и родным признаваться очень рискованно. Они и без признаний должны чувствовать твою любовь каждое мгновение, — в ту же секунду лампа погасла.

Поэтому я и не пишу. Боюсь, что, появившись на бумаге, любовь перестанет быть сокровенной и личной. Слово «Любовь» самое любимое Богом, и бросаться им всуе напоказ даже перед вами, дорогой читатель, страшно.

Память бежит от грустных мыслей и возвращает меня в переполненную мечтами и надеждами молодость.

После службы на флоте моё серьёзное соприкосновение с искусством произошло не сразу. Однажды, проходя мимо театра имени Ленинского комсомола, я увидел объявление: «В цирковую студию на отделение клоунады и разговорного жанра объявляется набор». Что-то в душе ёкнуло, и я решил попробовать. В приёмной комиссии, вы не поверите, сидел кумир моего детства — Карандаш. Когда я его увидел, пол закачался, как палуба корабля в десятибалльный шторм, и я еле устоял на ногах. Я прочитал стихи Маяковского о советском паспорте, басню Михалкова «Заяц во хмелю». Изображая зайца, я выползал из-под стола, стоящего у стены, и играл изрядно захмелевшего начальника. Комиссия хихикала, но было непонятно, смеются ли они над профессиональной беспомощностью или над моей самоуверенностью. И тут Карандаш спрашивает:

— А что вы ещё умеете?

У меня аж дыханье перехватило: «Сам Карандаш общается со мной, ущипнуть себя что ли? А вдруг это сон?» Да нет, это его маска невозмутимости на лице, пронзительный голос и очень добрые смеющиеся глаза.

— Что, больше ничего не умеете? — и он посмотрел на меня с упрёком.

Тогда я понял, что в искусстве создавать великое может только очень добрый человек. Я набрался духу:

— Могу чечётку сбачать.

— Ну что это за слово — «сбачать»? А нельзя ли сказать: «Я могу станцевать степ»? Давайте, — сказал Карандаш и задумался. — Попрошу музыку — какой-нибудь вальсок.

Зазвучала песня «В городском саду играет духовой оркестр», кстати, одна из моих любимых, ну я и пошёл выбивать чечётку. Какие только колёнца я ни выкручивал и, как михалковский заяц, совсем раздухарился, пока дело не дошло до того, что я схватил графин с водой и стакан со стола приёмной комиссии и стал стучать ими в такт прямо перед носом обожаемого Карандаша. А он и говорит:

— Осторожно, это казённый инвентарь, а у нас бухгалтерия строгая: разобьёте, обвинят во вредительстве, а там можно и присесть на пенёк ка-

кого-нибудь лесоповала, отдохнуть минуты две и опять за топор или пилу.

Лица членов комиссии вытянулись и стали похожими на раскатанное ржаное тесто, глаза от страха не знали, куда сбежать. Песня закончилась, я перевёл дух и сказал:

— А я помню, как во время войны на манеже, сидя на мешке с картошкой, вы сказали: «Москва на картошке сидит, да и вся Россия. Почему бы и мне не посидеть?» Голодное время было, но все смеялись и радовались, когда вы выходили на манеж.

— Да, меня за мои шуточки несколько раз таскали на Лубянку, морально подготавливая для отправки за полярный круг.

Члены комиссии молча слушали наш диалог.

— Ещё хорошо, что у меня реприза была, где моя любимая Клякса изображала Геббельса, а чаще самого Адольфа. Выйдет к микрофону, повертит хвостом и начинает брехать, такой лай подымет, хоть из цирка беги. Вот Гитлер и объявил на весь мир, что как только освободит Россию от большевиков, сразу же повесит Юру Левитана и меня. А Сталин всегда симпатизировал комикам, ну и клоунам тоже. Когда он собирал на своей даче ближайшее окружение, то любил повторять: «Настоящая вечеринка — это пьяная ночь до утра. Окружили меня одни клоуны и шуты, а это значит, жить стало лучше, жить стало веселей. Только я бы всё это клоунское бюро на одного Карандаша променял. Клоун — это философ с детской душой, мудрец, хранящий самое лучшее в своей голове. А у моих циркачей всё наоборот: ну все видят, что они далеко не мудрецы, а сыграть умных никак не получается — Бог таланта не дал».

И тут члены комиссии засмеялись.

— А Сталин-то с юмором был, — не переставая смеяться, сказал сидящий рядом с Карандашом.

— Да, только не понять было, когда он шутит, а когда выносит приговор, — и Карандаш едва заметно улыбнулся. — Повторите музыку, а вы постучите степ ещё раз.

Тут я сорвался с якоря, не знаю, как ещё сказать, но все лучшие колёнца Балтийского, да и Северного флота были пущены в оборот. Решившись, наконец, сделать «мёртвую петлю», я немного не рассчитал и шлёпнулся на пол.

— Послушайте, — выкрикнул Карандаш, — у нас пол тоже казённый, не застрахованный! Не дай Бог, проломите, что нам делать тогда?

— А можно заказать железную палубу корабля на судостроительном.

— Но на такой палубе можно и насмерть разбиться, а денег на похороны бухгалтерия не даст, у них экономия превыше всего, — очень серьёзно и строго сказал Карандаш, потом, переглянувшись с членами комиссии, добавил: — А что если его обработать и снять стружку, может, что-нибудь и получится? Ну заштампован немного, но мы когда-то все со штампов начинали, — и я впервые увидел светящуюся во всё лицо

улыбку. Его маска серьёзности — да, да, настоящая маска — лежала на столе!

— Москвичонок, у тебя галлюцинации, — раздалось откуда-то сверху, — это не маска, а тарелка с крыжовником!

— Спасибо, пока вы свободны, ожидайте результатов, — объявил сидевший рядом с Карандашом.

Я вышел в коридор, как из парилки, еле волоча ноги, и направился к выходу.

— Куда ты торопишься? Понравился ты Румянцеву, юнгаш полосатый. Когда тельняшку-то снимешь? Что, на море тянет? Ностальгия заела? Если бы ты знал одну потустороннюю тайну, давно бы успокоился и всё принимал, как должное. Вспомни День ВМФ, как твой корабль пришёл в Москву, как в Парке культуры вращалось моё колесо, как ты решил покататься и обозреть панораму столицы с высоты, обычной для моих полётов и людских фантазий! Вспомнил?

— А я и не забывал.

— Так вот, все, кто в тот день поднимались на нём, были обречены на бесславную и внезапную смерть. Их всех объединяли низость и порок. Воланд уже утвердил чёрные списки. Барбаросик лично подсказывал ему имена. Рыжему, с его вечно сдвинутыми мозгами, очень хотелось укокошить тебя раньше срока. Чтобы он вовремя заткнулся, мне пришлось засунуть ему в рот горсть жевательной резинки, а Воланда вообще еле уговорил. Не пришло ещё твоё время, поэтому сейчас комиссия имеет возможность обсуждать твою персону.

— Что-то они слишком долго.

— Не переживай, это они для проформы. Всё равно последнее слово за Румянцевым. Можешь считать, что первый тур ты прошёл. Желаю успехов, москвичонок. До встречи! Спешу уточнить списки желающих прокатиться на колёсах.

— На колёсах?!

— Послушай, знаешь, сколько пороков выдерживает одно колесо? Очень мало. Поэтому неисчислимое множество их крутится во всём мире... Ну, кажется, они договорились, сейчас позовут обратно, и к тебе обратится сам Карандаш. А я полетел к Воланду. Пока!

Скрипучий голос Черчела ещё дребезжал в моих ушах, и я не помню, как снова очутился перед дверью, из которой один за другим выходили члены комиссии. Улыбаясь во всё лицо, на меня смотрел Карандаш.

— Приходите на второй тур, — сказал он.

И вот тут не только пол подо мной закачался, но и стены заходили ходуном, в глазах прыгало и кружилось Черчелово колесо, скрипя, оно жаловалось на то, что его опять плохо смазали. Колесо знало, что Барбаросик ворует не только машинное масло, но и буквально всё, что плохо лежит.

— Совершенно не понимаю человеческое общество, — скрежетало оно. — Все всё знают, мало того, каждый день об этом говорят и ничего не предпринимают. Видимо, каждый думает, что на нём бронжилет непогрешимости и человеческого достоинства, и весь этот криминал его не коснётся. Да, когда мозги ржавеют и начинают прокладывать отходные пути через служебный выход прямой кишки, становится всё равно, что станет с миром, когда они окончательно порыжеют и сбегут от своих владельцев. Мне уже надоело скрипеть по этому поводу. Я лучше тебя покатаю. Залезай! Не бойся, твоё время ещё не пришло. Скажу тебе по секрету: все, кто сегодня решит прокатиться на мне, должны ещё немного пожить.

И я закружился над Москвой с её златоглавыми соборами, никогда не спящей кремлёвской стеной, остроконечными высотками, Москвой-рекой с её мостами и одетыми в гранит набережными, над уставшей от полуденного зноя зеленью парков и садов, зеркалами прудов, хранящих тайны мироздания. Когда моя кабина достигла крайнего верхнего положения, лучи заходящего солнца, прощаясь, ласково коснулись моего лица, и мне стало грустно: кажется, совсем недавно наш тральщик стоял здесь, празднуя День Военно-морского флота.

В цирковую студию на второй тур я не пришёл. Скажу честно, сдрейфил, и потому так и не научился разговорному жанру. А Карандаш с довоенного детства и беспощадной войны так и остался несбыточной мечтой. Память об этом легендарном человеке, об экзамене и нашем диалоге я так и ношу в сердце.

Вскоре в Сокольниках со мной произошёл такой курьёз. Прямо на улице прихватил аппендицит, и меня на скорой привезли в больницу. Проверили. «Срочно на операцию!» — говорят. Я, конечно, переживаю: страшновато, одно слово — «операция» — не внушает оптимизма. Подвоят на каталке к операционной, а навстречу выкатывают девушку. Помню её весёлые глаза. Спрашиваю:

— Что?

— Аппендицит, — смеётся она, — боли и не почувствовала. Под местным наркозом делали. Так, комарик укусил.

И только я почувствовал прилив энергии, как, въехав в операционную, увидел, что вокруг меня выстраивается целый отряд студенток. «Пропа, — подумал я, — все равно, что вдруг оказаться нагишом в магазине женского белья». Да и хирург — ещё совсем молодая женщина с умным открытым лицом. В общем, барбос среди роз. Девчонки смотрят почти в упор и очень внимательно, это и понятно: им же надо как-то экзамен по клинической практике сдавать. Стараясь держаться, я весело спросил:

— А мне операцию, — и голос мой дрогнул, — будут тоже под местным наркозом делать?

— Не бывает местного наркоза, бывает местная анестезия, — строго сказала хирург.

«Всё. Конец, — подумал я. — Прощайте, скалистые горы». Пообсуждали они мой эсминец на груди, посчитали все якоря, и операция началась. Сперва, правда, комариные укусы, а потом, как калёным железом зажгло. Одна из практиканток подошла ближе, и из-под её марлевой маски сверкнули зелёные глаза Черчела.

— Терпи, терпи, держи марку адмирала Кузнецова! Понимаю, приятного мало, когда скальпелем в кишках ковыряют. Видишь теперь, чем прогулка на моём колесе обернуться может? Помнишь, как несколько месяцев назад в Мытищах ты стоял на мосту?

— Конечно, мы с мамой не знали, на какую платформу придёт наша электричка, и ждали объявления по радио.

— А что дальше? — и Черчел заглянул в разрезанный живот. — Фу-у, какие отвратительные петли! Твои кишки похожи на мозги наркомана, которого тут недавно из реанимации перевели в морг.

— У нас же наркоманов нет, — сквозь боль пытался возражать я, — они же все в капстранах!

— Неужели?! Это сейчас их раз, два и обчёлся, а через каких-нибудь тридцать лет наркомания швырнёт под колёса нашего ада миллионы заблудших душ!

— Это если с ней не бороться!

— Зарубежный опыт так называемой борьбы с наркоманией включает три главных способа: запретить, легализовать или не обращать внимания. Главное, вовремя направить в нужное русло финансовые потоки от оборота зелья, при этом создавая видимость непримиримой борьбы. Так будет везде и всегда. Бизнес есть бизнес.

Я не мог спокойно слушать, как Черчел своим кликушеством предрекает нам гибель. В это время он, зажав нос рукой, снова посмотрел в мою брюшную полость.

— Надо же, аппендикс-то как разбух! Ещё бы чуть-чуть — и гнойный перитонит! Не пришло ещё твоё время. А про мост ты всё-таки вспомни.

Я, чтобы отвлечься от нестерпимой боли, начинаю вспоминать подробности происшествия. Мама говорит:

— Сынок, а мост-то качается!

— Да мосты все от ветра покачиваются!

— Боюсь я, сынок, не дай Бог, упадёт! Помнишь, в войну?

— Пушкинский мост?

— Да, да. Сколько там людей ни за что пострадало!

Тогда, так же как и сейчас, рядом с моим ухом раздаётся гнусавый голос:

— Ни за что?! — шипит Черчел. — Это неправда! Там всё было выверено по спискам. Тогда мост быстро восстановили, но в этот самый момент, когда вы сокрушаетесь по поводу невинных жертв, тот же самый мост в Пушкино снова падает на землю.

— Ну зачем? Не делайте этого! — вслух закричал я. — Неужели нельзя остановить падение?!

— Поздно, москвиченок, поздно. А зачем — это, как говорится, одному Богу известно. Ну и не только ему. Список жертв утверждён Его Сверхвеличеством.

— Как такое могло произойти? Опять будет столько погибших!

— А всё дело в том, что за месяц до случившегося злополучный мост отремонтировали, и по доброй воле бригадира Харитона Спирина были украдены десятка два чугунных балок и дюжина мешков цемента. И вот незадача! Другой бы убоился по такому мосту и шаг сделать, а Харитон — ничего, бежит, сквозь толпу протискивается, на работу спешит, в уме соображает, чего бы ещё присвоить. Тут-то опоры и не выдержали, и тот же мост в том же самом месте снова будет обвинён в убийстве ни в чём не повинных людей. А ещё говорят, два ядра в одну воронку не попадают!

— Теперь их всех ждёт Гадес?

— Ну что ты! Мы очень строго придерживаемся морали!

Боль от манипуляций хирурга не унималась, воспоминания отступили, в ушах шумело, и я спросил Черчела:

— К чему ты заставил меня вспомнить про этот злосчастный мост?

— А к тому, что тебя всё ещё гложет чувство несправедливости... Да пойми же ты наконец, всё в мире имеет свои корни: зубы, деревья, люди, их идеи и поступки... Тебе кажется, что кто-то уходит безнаказанным, а кто-то страдает ни за что ни про что, но моё колесо знает, в какую сторону вращаться, ибо на то есть причина! — и, сверкнув зелёными глазами, он растворился в ярком свете медицинских ламп.

Я скрипел зубами, но терпел, не кричал — стыдно было, одни женщины вокруг. Спасибо, одна студенточка всё руку мне гладила и повторяла:

— Ещё немножко потерпи. Вот тут ещё. Вот ещё. Всё. Выдержала флотская душа. Умница!

Как я это всё вытерпел?! Мужское достоинство не позволило орать.

На другой день зашла ко мне в палату хирург и спрашивает:

— Ну, как настроение? Как чувствуешь себя?

— Хорошо, — говорю, — только одного не понимаю: передо мной девушку оперировали, тоже аппендицит, она мне сказала — никакой боли, так, комарик укусит. Ко мне этот комарик прилетел с крокодильей пастью и акульими зубами.

Александра Ивановна засмеялась:

— Весь в наколках, моряк, держался неплохо, а вот с женщинами себя сравнивать не надо. Боль, при которой мы ещё можем смеяться, у мужчины вызывает потерю сознания. Сравнил себя с женщиной! Рожать не приходилось? — и она снова засмеялась, поправляя белую косынку. — Запомни, если бы каким-нибудь чудом попробовал родить какой-нибудь храбрец, он сразу умер бы от болевого шока. Усвоил?

— Спасибо, Александра Ивановна.

Я и сейчас говорю ей спасибо.

Тогда я быстро поправился и через несколько дней уже шагал по весенним Сокольникам. Проходя мимо клуба Русакова — сейчас там театр Романа Виктюка, — я увидел афишу с объявлением: «Театральная студия проводит дополнительный набор. Требуется прочитать басню, стихотворение и прозу». Сердце у меня остановилось на мгновение. Стою, как заворожённый, читаю дальше: «Проверяются актёрские способности, танец, пение. После сдачи экзаменов — собеседование на тему мирового искусства».

Студию эту организовал известный в творческих кругах борец против Моти Горбунова, ректора ГИТИСа, смутьян и бунтарь Скоморовский — безусловно, неординарная личность, за что его и выгнали из ГИТИСа. Конкурс в студию был огромный, чуть ли не с тремя нулями. Из девчонок не взяли никого, из мужиков — троих. Володю Голуба, красивого и вальяжного, обладавшего бархатным баритоном: как запоёт, все женщины на глазах тают. Я смеялся: «Тебе, Вова, стоит только взглянуть на женщину и, если ваши глаза встретятся — она уже в положении». Ну, действительно, красавчик. В последствии он организовывал встречи на кинофестивале, встречал Джину Лоллобриджиду, флиртывал с турецкой звездой Хамамамой и её дочкой. Ну Рус-Жуан, и всё тут! Второй — фамилию не помню — потом работал в театре Гоголя, получил всякие звания, не знаю, жив ли он. Ну и я, непонятное, чудное существо, прочитал худсовету «Глухаря» и выдал по всей программе чечётку, точнее, степ, как сказал Карандаш. А я ещё во время службы чемпионом был, не зря в ансамбль Балтфлота звали. Но мы же плавсостав, да ещё и с минами целуемся. Нет, это ниже нашего достоинства! А степ у нас каждый второй выбивал, матросики такие дробы закручивали! С каждого флота можно было шутя набрать человек по пять, и каждый мог стать чемпионом по степу — братья Гуськовы позавидовали бы, а они были мастера наивысшего класса. Смотрю, как сейчас бьют степ, и смешно и больно. Утерян ключ! Так били салаги, участь у мастеров, только что взойдя на палубу боевого корабля. Мельчает жизнь.

В общем, очередной рубеж был взят, я в студии, и не в какой-нибудь, а в театральной. Первое время даже не верилось. Скоморовский вскоре что-то не поделил с худсоветом и ушёл, задрвав свой нос с римским профилем. И приходит к нам замечательный человек, преподаватель режиссёрского и актёрского факультетов ГИТИСа имени Луначарского, очередной режиссёр театра имени Моссовета, сподвижник Юрия Завадского Борис Никифорович Докутович. Я как услышал и увидел его в первый раз, с тех пор рот не могу закрыть от восхищения. Опять мне повезло. Вот, где настоящая эрудиция, терпение и классическое мастерство театрального метра! Даже из меня кое-что смог слепить. Никогда его не забуду!

Помню и наших студийцев. Учился со мной чернобровый обаятельный Николай Афонин. Он, правда, потом поступил в училище при Ма-

лом театре. Великая Пашенная спросила: «Молодой человек, что же вы к нам так поздно пришли?» Уж больно он ей понравился. А Коля ухитрился ещё в два ВУЗа поступить, но после такого радушного приёма, не задумываясь, остался в училище имени Щепкина и, несмотря на это, всё равно посещал нашу студию, не пропуская ни одного занятия. Ещё был Володя Огурейкин, тоже учился в Щепкинском на курсе Царёва и тоже не бросал студию. А Николай Афонин долго работал в театре Моссовета, получил звание и сейчас к нему не подступиться: он ректор того самого училища, в котором с первого тура покорила Пашенную. Здорово он читал «Зодчие» Дмитрия Кедрина, а когда читал Есенина «Дай, Джим, на счастье лапу мне» наступала горькая тишина. Талант есть талант. Женился Николай на нашей студийке, очаровательной Леночке. Она жила на Котельнической набережной в высотке. Мы иногда всей ватагой забегали к ней. Мама у неё была сама доброта, всю нашу артель обязательно кормила и поила ароматным чаем с лимоном. Если мы приезжали неожиданно, она отваривала макароны, заправляла их вкуснейшим сыром, и мы набрасывались на эту роскошь. Встречала она нас по-матерински и на даче, куда мы тоже имели наглость приезжать. Папа Леночки был архитектором и занимал очень высокий пост. Работал он, если не ошибаюсь, председателем комиссии по архитектуре и строительству при ЦК КПСС, а при Сталине министром строительства. У него были собственные художественные работы.

Вспоминаю о международном фестивале молодёжи и студентов, а это был самый первый фестиваль! Сколько было радости! Наши девчата как с ума посходили. Были и такие, которые шли напролом, только бы познакомиться с иностранцем. Их ловили и «нулёвкой» выстригали на уложенных волосах полосу, не щадя даже косы, символ девичьей красоты. Перепуганные девчонки от стыда закрывали голову чем попало и бежали, как обезумевшие, подальше от людей. В этом было что-то от упрощённой ритуальной казни индейских племён, когда с человека снимали скальп. Но наши комсомольские вожаки всё прощали только себе — и блуд, и растление. А девушек с клеймом нуля высылали из Москвы за сто первый километр.

Кругом звучала музыка. Мы с Николаем решили прогуляться по парку Сокольники. Стояла прекрасная погода. Николай сходу придумал розыгрыш: стал очень выразительно изображать какого-то иностранца, непонятно из какой страны. Говорил с каким-то посвистывающим акцентом на тарабарском языке, а я с почтительными поклонами изображал переводчика. За нами ходила толпа, в основном девушки. Не мудрено! Такой статный и элегантный иностранец совсем рядом! При желании, как бы случайно, можно было до него дотронуться. Николай тарабарил, я переводил:

— Как прекрасна Москва! А девушки! Девушки ещё прекрасней! Боюсь потерять голову и влюбиться. Я же одиноко живу в своей изумруд-

ной стране. Если бы мне встретилась настоящая подруга, я бы пронёс её на руках до самого аэропорта.

Вдруг одна симпотяжка обратилась ко мне:

— Спросите, из какой он страны, и есть ли там море?

Я хотел протарабарить, но Николай, оборвав меня, пробасил:

— Переведите ей, что я из Калуги.

Вот смеху было!

А потом с негром, увешенным фестивальными флажками, мы танцевали «барыню», «яблочко» и «цыганочку с выходом», и я думал: «Чёрный весь, а душа белая, полная противоположность Черчелу».

А в ГИТИС к Докутовичу мы всей студией ходили на все просмотры его студентов. Помню Вадима Бероева, игравшего Маяковского, совсем юную Валентину Талызину, которую Докутович ставил нам в пример. А походы в театр Моссовета, где мы передвигались, как тени, боясь спугнуть величие театра! Ещё бы, когда видишь Любовь Орлову, Веру Марецкую, Николая Мордвинова, Фаину Раневскую или Ростислава Плятта, невольно оторопь берёт. Я уже не говорю о Юрии Завадском, который иногда смотрел наши работы, наверное, из уважения к Докутовичу, а его было за что уважать. Он поставил в этом прославленном театре несколько спектаклей, в том числе, «Дали неоглядные» вместе с Завадским. И ещё очень хорошо запомнил Бориса Новикова, немножко странного, временами грустного или искромётно и весёлого. Его талант не вмещался в его сердце, ему не хватало простора. В общем, мне опять повезло. Бывший юнга Балтийского флота увидел с близкого расстояния и даже попытался коснуться настоящего, истинного искусства великих мастеров.

Казалось, ничто не предвещало беду, которая свалилась на нашу студию. Докутовича назначили главным режиссёром в какой-то крупный театр, и он уехал из Москвы. Кто-то, сейчас не помню, поехал с ним. Я лично надел свой морской бушлат в знак траура и никак не мог разобраться в самом себе. Посмотрел я на прощанье на царь-пушку, на царь-колокол, на Кремль величавый и уехал на периферию в театр города Лысьва — Уральский Кронштадт, как писали о нём в революционных газетах. А театр там был основан ещё при царе. Там и суждено мне было набираться сценической практики. До сих пор я храню добрые воспоминания о людях, с которыми работал тогда.

Судьбы актёров порой зависят от стечения всяческих случайностей. Театром тогда руководил Хлюпин, жена которого уже была заслуженной артисткой. Труппу украшала примадонна московской оперетты Пантелеймонова-Смирнова. Ради репрессированного мужа она покинула столицу. Герасимов снял в своём «Тихом доне» актёра Лысьвенского театра А. Благовестова в роли Степана Астахова. В театре блистал комедийный актёр Арбитман, который всячески мне помогал в освоении ролей. Молодой мальчишка, Саша Миронов, работавший электриком, оказался подарком для театра, сейчас он уже заслуженный артист.

Потом режиссёр Чодришвили взял меня в Пермский ТЮЗ. Со мной уехали А. Дмитриев, с которым мы учились в студии, его жена — талантливейшая Г. Промптова, Л. Ватутина с супругом Трушниковым, любителем поэзии. В Перми, где я родился, но никогда до работы в театре не жил, в то время гремел на всю страну наравне с балетной труппой Большого театра пермский балет. Его солистку, Павлову, позже пригласили в Большой театр, где она долгое время танцевала ведущие партии. На пермской сцене служил актёром, играя короля в одном из спектаклей, знаменитый теперь руководитель и главный режиссёр театра «Ленком» Марк Захаров. Пермь ещё до революции слыла городом высокой культуры и после прихода советской власти она осталась очень театральным городом.

Проработав в городе моего рождения сезон, я уехал по приглашению в город Челябинск и участвовал в открытии новорождённого ТЮЗа. Открывались мы спектаклем «Золотой ключик». Олег Потоцкий, о котором речь впереди, играл Кота Базилио, а я Дуремара, и самые первые слова вновь рождённого театра достались мне. Занавес поднимался, я выбежал на сцену и кричал: «Внимание! Внимание! Впервые в нашем городе открывается новейший театр великого Карабаса Барабаса. Внимание! Внимание! Все на открытие замечательного театра корифея театрального искусства гениального Карабаса Барабаса!» Главными режиссёрами, по воле судьбы, были Борис Скоморовский, Эдуард Сорокин, Тенгиз Махарадзе. С ностальгией вспоминаю наши репетиции, гастроли, спектакли. Берегу память о дружбе с артисткой театра и кино Валентиной Ивашовой. Она приехала из Киева со своим мужем Валерием Кропичевым. Ивашова снималась у легендарного Сергея Эйзенштейна в «Александре Невском», у Николая Экка играла главную роль в самом первом советском цветном фильме «Груня Корнакова», играла у Марка Донского в «Радуге».

Часто я вспоминаю моих друзей и партнёров по спектаклям Людмилу Васильеву и Нину Петрову. Как-то они в очередной раз пригласили меня в гости. В этот день директор Дворца спорта удружил мне контрамарку на встречу-концерт с артистами кино, приехавшими к нам в Челябинск. Я пообещал девочкам после концерта обязательно прийти. Как только концерт закончился, я поспешил в гости. Любочка с Нинолей встретили меня с присущим им гостеприимством и тут же представили мне очаровательную незнакомку в элегантном брючном костюме, подчёркивающим стройность её фигуры.

— Нина Ульяновна, — представилась она.

— Вадим Геннадьевич, — подыгрывая ей, отрапортовал я.

«Чего она такая молодая, не больше двадцати трёх, а себя велит по отчеству величать? Серьёз нагоняет, для важности, не иначе», — безоговорочно решил я.

— Ну, как прошла встреча? Расскажи!

— Ой, Людочка, тоска зелёная. Николай Крючков вообще не приехал, говорят, запил, как всегда.

— Что вы говорите?! Он совсем не пьёт. А вы по молодости верите всяким сплетням, — сказав это, Нина Ульяновна засмеялась и от этого стала ещё моложе.

— Нина Ульяновна, а если без напускной солидности, просто Ниночка, знаете, болтают ещё и не то, только успевай подставлять уши.

— А вы не засоряйте уши и не слушайте завистливых дураков и невежд. Чаще слушайте Моцарта и нашу великую русскую музыку. А то, что говорят, вернее, злословят, я это знаю, — и она с какой-то отчаянной грустью посмотрела мне в глаза. — Обо мне тоже всю жизнь болтают, распространяют всякие грязные небылицы.

— Ну, куда уж вам, Ниночка, вы только жить начинаете! И кто и что о вас может говорить? Это несерьёзно.

— Значит концерт вам, Вадим Геннадьевич, не понравился?

— Да, Ниночка, да! Тоска, чуть не заснул. Спасла положение Алисова. Ворвалась на сцену, как свободный ветер. На ней была шаль всех цветов радуги. Как только она запела, сон как рукой сняло, и зрительный зал перестал зевать.

— Алисова? — и Нина Ульяновна снова засмеялась.

— Да, представьте себе, та самая Алисова, исполнительница главной роли в классическом фильме Якова Протазанова «Бесприданница». Я отбил все ладоши, аплодируя этой божественной актрисе.

— Так это вы сидели в пятом ряду и, срывая голос, кричали «браво»?

— А вы что, Ниночка, тоже были на концерте и сидели где-то недалеко от меня? Что-то я вас не помню.

— А я обратила на вас внимание после того, как спела романс, от которого Вы в таком восторге.

От этого заявления я чуть не подавился:

— Не надо меня разыгрывать. Может, вы ещё скажете, что вы и есть Алисова? Простите за нескромный вопрос: сколько вам лет? Да и так видно, что вам не более двадцати трёх. А сколько должно быть Алисовой, считать умеете? Этот великий фильм появился в то время, когда я ещё был несмышлёным мальчишкой, но уже тогда меня покорила неподдельная женственность и целомудренная красота. А Вас, простите, наверное, тогда и на свете не было. Так что, многоуважаемая Нина Ульяновна, пожалуйста, не разыгрывайте меня. Всё равно не поверю.

И тут в разговор вступила Васильева.

— Вадим, ты же знаешь, что когда я училась в театральном училище, то актёрское мастерство нам преподавала Нина Ульяновна Алисова, и сегодня она у нас в гостях.

Я слушал, медленно соображая, сопоставляя факты и никак не мог поверить, что это именно она, та самая Алисова из чёрно-белого кинофильма «Бесприданница», в котором она так ярко выделялась, ничуть не

уступая в мастерстве своим виртуозам-партнёрам, заслуженным мастерам театра и кино. А ведь это была её первая роль. После просмотра фильма Качалов, Тарханов, Москвин и все корифеи МХАТа восхищались и удивлялись её таланту.

Да, это была она, Нина Алисова. Она поразила меня своей скромностью и вниманием, с которым она слушала наши пассажи о новом искусстве. С чем-то соглашалась, а про остальное говорила:

— Всё, что кажется вам новым и прогрессивным, давно уже было. Всё новое в искусстве — хорошо забытое старое со всеми взлётами и падениями. Искусство, не несущее свет, обрекает нас на жизнь во тьме.

Да, в ней было море обаяния, как сейчас сказали бы красобои, она обладала харизмой. И всё-таки я ещё сомневался и не мог до конца поверить! Уж больно молодо выглядит. А темперамент? Ну сама Гармония! «Нет, не любил он, нет, не любил он меня!..» — пела она под гитару. Её глаза, переполненные страданием, так до сих пор и смотрят в мою душу. После этой удивительной встречи уже поздним вечером я провожал её до гостиницы. На Алисовой была газовая косыночка, в которой отражались городские огни. Я не мог отвести глаз от моей спутницы. «Да ей не больше семнадцати», — думал я. При расставании я поцеловал её руку. Нина Ульяновна действительно с лёгкостью семнадцатилетней взбежала по ступенькам и, обернувшись ко мне улыбающимся лицом, сказала:

— А имя Вадим для меня самое сокровенное. Вы умеете слушать и делать выводы. Мне это понравилось. Будете в Москве, звоните, возьмите номер у Людочки Васильевой. До свидания! — и она помахала рукой.

Когда-то я восхищался ею на экране кинотеатра, но и представить не мог, что мне суждена эта замечательная встреча.

Когда я возвратился в Москву, у меня было огромное желание позвонить Нине Ульяновне, но я так и не решился, не набрался наглости. А вот познакомившись на Арбате с дочерью знаменитого оператора А. Головни, снявшего фильмы «Минин и Пожарский», «Суворов», «Нахимов», кинорежиссёром Евгенией Головнёй, я всё-таки обнаглел и пришёл по её приглашению в Дом кино на презентацию её фильма «Лимита». Фильм мне очень понравился и не только мне! Помню, с каким темпераментом и искренностью его хвалил один из плеяды особо мною любимых актёров — Ролан Быков.

Но тогда я продолжал работать в Челябинском ТЮЗе. Наш театр находился на гастролях в Оренбурге, где я чуть было не пропал. Спектакли шли в помещении Театра музыкальной комедии. Примерно за неделю до конца гастролей на выходе из театра ко мне подошла очень симпатичная девушка и, как-то ненавязчиво и смущённо улыбаясь, сказала:

— Спектакль мне очень понравился, особенно вы.

— Спасибо, — говорю и вижу, как щёки её розовеют: «Хороший признак. Значит, стесняется».

- Я хочу сделать вам предложение, — сказала она и опять улыбнулась. — Я знаю, что вы равнодушны к поэзии.
- Да, но кто вам об этом сказал?
- А ещё я знаю, что вы и сами сочиняете.
- Пробую. А вы сами что-нибудь написали?
- Нет, что вы, я не пишу. У нас в Оренбурге только два человека в какой-то степени стремятся к совершенству.
- Два — это уже здорово, так поэзия и выживет. А вы с ними знакомы?
- Да, они мои друзья.
- Хорошие у вас друзья. А сами чем занимаетесь?
- Служу в театре музыкальной комедии.
- Да?
- Пока начинающая балерина. В прошлом году закончила хореографическое. И о вас я знаю почти всё. Во-первых, интуиция — это безо всякого хвастовства, а во-вторых, о вас мне рассказали ваши коллеги, и я решила пригласить вас на поэтические посиделки. Там будет очень много интересных людей.
- И ваши поэты тоже?
- Обязательно, только нужно ехать сейчас же, чтобы успеть к началу. Начало всегда бывает самым интересным.
- А где это? В каком-нибудь клубе или дворце культуры?
- Ну что вы, встреча состоится на частной квартире. Кстати, хозяин с женой милейшие люди! Сам хозяин пробует что-то сочинять, но пока считает себя только поклонником и любителем. У них очень уютно, вы даже не можете себе представить, как! Кстати, меня зовут Марина. А ваше имя, Вадим, я знаю. Ну что, едем?
- А может, пригласим кого-то из моих друзей? В нашем театре я не один увлекаюсь стихами. Гостиница, где мы живём, почти рядом — всего три остановки на автобусе.
- С удовольствием, но сегодня время не ждёт. На этой неделе должны состояться ещё две встречи, и если у них появится желание, мы их обязательно пригласим.
- Я смотрел в её очаровательные глаза с ненакрашенными ресницами и думал, какая целомудренная, ну прямо ангел. Такой совершенно не нужна парфюмерная штучка. Зачем она ей? Её солнышко красит.
- Ну что, Вадим, поехали? Это не совсем близко.
- С такой, как вы, хоть на край света, даже если дорога будет лежать через ад!
- Это комплимент?
- Нет, что вы, я просто засмотрелся на вас и говорю о том, что вижу, и предложение мне ваше понравилось, так что будьте лодыжником, я готов идти за вами в кильватере*.
- Вы что, служили на море?

- Было дело. А вы разбираетесь в морской терминологии?
- Мой дедушка всю войну прослужил на подводной лодке. И не на одной. Из двух затопленных ему удалось выйти через торпедный аппарат. Знаете, я так и подумала, что вы служили на флоте, когда увидела ваши разрисованные руки.
- Да, похвастать нечем. Вы бы упали в обморок, если бы увидели наколотый на моей груди корабль.
- Интересно!
- Да ничего интересного. В юности в голове ветер. Если и появляются более или менее разумные мысли, их сдувает моментально. Ну что, берём курс на ваши посиделки?
- И мы поехали — сперва на троллейбусе, потом на трамвае. Заехали, по-моему, дальше некуда, на самую окраину, подошли к многоэтажному дому. Рядом, за забором, который еле держался, находилось очень старое кладбище. Через проломы была видна целая гора сваленных в кучу сломанных крестов и разбитых могильных плит. Полиэтиленовые пакеты с ржавыми консервными банками и бутылками разного калибра валялись на осколках битого стекла. Вокруг всего этого росла жирнющая крапива, по которой ползали навозные мухи с зелёными выпуклыми глазами.
- Марина, это что, городское кладбище? Это же надо уметь довести память об усопших до такого состояния!
- Да нет же, Вадим, это давно уже свалка. Когда-то в старину здесь был очень престижный погост. Но время неумолимо, как говорила моя прабабушка.
- Слушайте, Мариночка, а может быть, там ещё сохранились неразбитые кресты и надгробия?
- Уверена, что нет. Сейчас эта свалка стала прибежищем бродячих собак, спившихся бродяг и непойманных душегубов. Совсем недавно слышала, что там обнаружили три трупа. Два молодых парня с выколотыми глазами. У одного была записка во рту, где печатными каракулями было выведено: «Смотреть на голых женщин неприлично. А вы смотрели и за это получили возмездие и наше щедрое вознаграждение». Дело в том, что перед этими несчастными висела обнажённая с явными следами пыток и изнасилования совсем юная девушка. Тело её было привязано к стволу чёрной рябины, а окровавленные руки к ветвям. Говорят, всех троих проиграли в карты. И совершенно не понятно, как они попали туда? Кто их заманил, или они сами пришли? Но на эту свалку не то, что ходить, подойти к забору и то бояться.
- Я ещё раз посмотрел на крапиву и на ползающих мух. Одна из них, самая жирная и пучеглазая, увязалась за нами. Она назойливо жужжала, кружась возле моего носа.
- А месяц тому назад, — продолжала Марина, — нашли труп, объеденный собаками. Пол-лица съедено...

От этих рассказов по спине пробежал холодок. «Опять Черчеловы черви заползали», — подумал я и тут же услышал возмущённый шепот Черчела.

— Не смотри по сторонам! Видишь муху, летающую вокруг твоей головы? Представь себе, это я. Зачем так плохо думать обо мне? Обижаешь, москвичонок, обижаешь! — жужжала муха. — Я на такие иезуитские зверства не способен. Да и Воланд, Его Сверхвеличество, наш властелин, маг и повелитель никогда не одобрял людоедские выходки нелюдей. Каждый получает то, к чему стремится всю жизнь. Даже страшно подумать, что ждет этих потрошителей, даже не знаю, с чем на земле это можно сравнить. Это уже за космическими рамками заразного зла. Барбаросик когда-то начинал на этой свалке, ещё когда она была престижным кладбищем. Он тут не одну лопату сломал. А вот спутница твоя действительно неотразима! Но будь осторожен. Даже мы зачастую не можем разгадать женщин. Эти создания сотворены из живой плоти Адама, поэтому мы и совершаем непоправимые в нашем ранге грубейшие ошибки. С мужиками проще: они сляпаны Всевышним из грязной глины. Кстати, из того же материала делаются ночные горшки, ну иногда и амфоры, которые раньше клали в могилы рядом с усопшими, черепки от которых так любят раскапывать археологи. В общем, так, хотя время твоё ещё не пришло, всё равно, будь осторожен. Как говорит Всевышний, на Него можно надеяться, но и самому не надо плошать. До встречи, — и муха, пожужжав у моего носа, улетела.

— Вадим, о чём вы задумались? Эти мухи не дают покоя. Со свалки летят в открытые окна. На них не действует никакой дихлофос. Ну вот мы и пришли.

Поднявшись на лифте, мы подошли к двери, обитой чёрным дерматином. Марина нажала на кнопку звонка, но двери никто не открывал.

— Неужели мы пришли раньше всех? — и она достала брелок с ключами.

— А что, самих хозяев нет дома?

— Они сегодня прилетают из Москвы. Если самолёт не опоздает... Кстати, который час?

— Половина одиннадцатого.

— Они должны вот-вот появиться, — сказала она, открывая двери. — Заходите, пожалуйста.

Окинув взглядом квартиру, я сразу понял, что хозяйева, по-видимому, надолго задержались в Москве. Она была совершенно не ухожена. Какой уж там уют! Хотя с первого взгляда в квартире было всё необходимое, и рядом со старой стояла новая современная мебель. На полу лежал ковёр с бурными пятнами и подтёками. Было такое впечатление, что его не пылесосили, а стирали. На стене висела картина Левитана «Над вечным покоем».

— А где же весь народ, ваши друзья, поэты? — недоумевая, спросил я.

— Вадик, я забыла сказать самое главное: посиделки будут ночными. Нам удалось прийти первыми, скоро соберутся и все остальные. Или что, боитесь заснуть?

— Да нет. Но как-то всё это неожиданно.

— Не стесняйтесь, садитесь в кресло, а я расположусь на этом бархатном диване. Кстати, это диван-кровать и если его разложить, можно уместиться вдвоём.

Наступила неловкая пауза. Марина пристально посмотрела на меня и отвернулась, затем, немного покраснев, как будто боясь чего-то, спросила:

— Может, выпьем, пока не пришли остальные? На этом диване мне очень нравится бархат. Он такой нежный и ласковый, от него веет дружеским уютом и теплом. Вадим, давайте выпьем!

Я был совершенно ошарашен. Стройная и удивительно женственная, ну настоящая красавица, что там говорить, она была совершенно не похожа на феминисток, которые почему-то решили, что мужикообразность — признак интеллекта. Странные девицы, больше похожие на замысленных кавалеристов, чем на женщин...

— Напиться, конечно, можно, и даже до почернения, но что скажут ваши друзья? — спросил я, чувствуя, как краснею до самой макушки своей лысой головы.

— А что они могут сказать?

— Мы же предстанем перед ними в не очень нормальном виде.

— А зачем пить до почернения? У нас есть «Мускатель», а запивать можно шампанским.

— Мариночка, извините, но я пришёл порожняком. Вагончики-то мои пустые.

— Зато мои переполнены — некуда девать. Айн момент, — и она принесла с балкона несколько бутылок. — Бокалов нет, но зато, — и она достала из тумбочки два гранёных стакана. — Хозяин говорит, что во время войны такие стаканчики не очень ценились, потому что фронтные градусы весом в сто граммов, по сравнению с этими стекляшками, стоили чересчур дорого. А сейчас это реликвия, хозяин не каждому разрешает пить из этой посуды.

— А вам? — спросил я.

— Мне в порядке исключения и то только в случае, когда я приближаюсь к счастью на опасное расстояние.

— А вы приближались?

— Почти никогда. Как только я делала первые шаги, оно исчезало, как мираж. Но сегодня мне хотелось бы рисковать не напрасно.

— Мариночка, я чувствую себя неудобно, я не хочу пить на халяву, я же не альфонс и не могу приходить к женщине с пустыми руками.

— Ай, бросьте! Вы живёте в позапрошлом веке. Кругом скупердяи, рыцари с душой сутенёров, глазами ловеласов и навыками синей бороды

так и норвят захомутать, а потом ещё и навьючить на женские плечи всю тяжесть и заботы. Такие сразу предлагают создать семью, спят и видят, как бы поскорее выйти «зажену»... А бутылочки-то нас заждались. Закусывать будем конфетами, благо они завалились в моём ридикюле, — и она высыпала из сумочки на стол «Грильяж в шоколаде», «Мишку на севере» и «Белочку» с «Петушком». — Это, между прочим, преподношение не ловеласа, а нашего главного балетмейстера. Мне кажется, я ему немножечко нравлюсь, а он мне ни капельки.

— Мариночка, как вы можете не нравиться? Да я никогда не поверю, что мужики, пройдя рядом с вами, не оглядываются. Сколько человек шею сломало, не считали?

— А зачем они мне все нужны? Мне нужен один, неповторимый. Только о таком я мечтаю с детства. Вадим, у вас есть семья?

— Конечно, есть.

— Наконец-то хоть один попался не одинокий. А то ведь, кого ни спроси, одни холостяки. Будьте тамадой и раскупорьте бутылочки.

И она, погладив бархат, села на диван, поджав под себя ноги.

«Вот это метаморфоза, — думал я, — как она преобразилась.» В её глазах заиграли черчелинки желаний и соблазнов. Более того, она несколько раз подмигнула:

— Ну, Вадим, за поэзию! — и она подняла стакан.

— За женскую красоту, — стараясь быть спокойным, и я высоко поднял стакан.

— Спасибо, Вадик, только пить будем на брудершафт, но поцелуй будет воздушным. Согласны?

— Служу и повинуюсь, Ваше сиятельство!

— А вы не боитесь попасть в рабство?

— Нет, но очень рискую ослепнуть от красоты. Это единственное, чего я боюсь.

Мы выпили, и я сразу стал читать стихи Сергея Есенина, потом перешёл на Блока, конечно, не забыл и Пушкина. Марина смотрела на меня изумлённо, явно соперничая.

— А своё? Вы же пишете. Прочитайте своё, — прошептала она. — Я хочу услышать ваши стихи, — и она закрыла глаза.

— Влетела в сердце разрывная пуля
И расцвела таинственным цветком,
И я упал, и ждал, когда умру я...
В разлуке вечной молния и гром.

Спросил я пулю, как она узнала
Про сердце одинокое моё?
А пуля, улыбнувшись, прошептала:
«Я женщина — спасение твоё».

— И это вы написали сами? — спросила она и открыла глаза. — Если пуля попадает в сердце, наступает мгновенная смерть.

— Не всегда. Часто, превратившись в алую розу, она спасает нас от одиночества.

— Ой, я хочу выпить! Давно уже не хотелось выпить до почернения, но с вами я готова на всё. Благо на балконе найдётся и водочка, — и Марина, быстро сбегав на балкон, поставила на стол две бутылки «Столичной» и тут же, раскупорив одну, налила в стаканы. — Значит, вы жены-ты. Думаете, я не разгадала ваш маневр? Хотите показаться честным и благородным? Думаю, ваша откровенность уже многим вскружила голову. Сколько попало на вашу удочку? Пьём за вашу безгрешность. За неиспорченную душу!

— Да что вы, Мариночка, там столько несмываемых пятен.

— Вадик, я начинаю понимать, почему вы ведёте себя так наивно. Вы просто не знаете себе цену. Я пью за вас! К сожалению, все мы грешны.

— А я — за вас! Что-то друзья ваши не спешат.

— Придут, придут. Но что же мы не пьём?

— С вами я готов выпить, но как-то неудобно получается...

— Неудобно трезвой догола раздеваться, а всё остальное можно, начиная с поцелуев. Мне так хочется увидеть корабль на вашей груди. Я хочу упасть в обморок, Вадим.

— Да ради Бога, — и я расстегнул рубашку.

— Эсминец!

— И это вы знаете!

— Нет, в обморок я не упаду, а вот с ума сойти — это реально. Мне надоело рисковать и разгадывать чужие судьбы. Спасибо, Вадим, давайте ещё выпьем! Как вы относитесь к моей тёзке — Марине Цветаевой?

Вчера ещё в ногах лежал,
Равнял с Китайскою державою.
Враз обе рученьки разжал.
Жизнь выпала копейкой ржавою...

— Да, Мариночка, это божественная поэзия! Как ещё можно к ней относиться? За неё обязательно нужно выпить, — и мы продолжали пить. — А о кончине Цветаевой я узнал, когда служил на флоте. Сборники её стихов хранила моя бабушка. Один был издан ещё до революции. Так что я знал, что Цветаева — поэт от Бога, поэтому и написал стихи на её смерть.

Не верю крестам на стихах!
Не верю в покой и могилы.
Какой-то неведомый страх
Даёт нам бессменные силы.

Не верю, что ты умерла,
И крест на соборе не верит.
Поэзия вечно жива
И в смерть никогда не поверит.

Помолчав, Марина спросила:

- Сколько вам было лет, когда вы это написали?
- Шестнадцать.
- А вы сказали, когда служили на флоте.
- Да, я тогда ещё был юнгой.
- Вадим, после этого придётся ещё выпить.
- За Марину?
- И за неё, и за ваши шестнадцать лет! — и она разлила остатки водки.

Потом мы пили «Мускатель» и заедали его конфетами. На последнем стакане мне и приспичило.

— Марина, извините, я должен посетить одно место.

— Вадик, в коридоре две двери: ваша — рядом с кухней. Только смотрите, не перепутайте. Я вас жду, — и, взглянув на картину Левитана, сказала: — А в могильный покой я тоже не верю, — и, открыв балконную дверь, она стала читать:

Мне нравится, что вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не вами,
Что никогда тяжёлый шар земной
Не уплывёт под нашими ногами...

— Ну что же вы не идёте?

— Я сейчас, я быстренько.

В полутёмном коридоре я, как всегда, всё перепутал и попал в ванную комнату — и замер от увиденного. Вся ванна была до краёв заполнена окурками и яркими пакетами с изображением голых женщин в самых непристойных положениях. На полу валялись бутылки из-под спиртного, на небольшой зелёной полочке лежала нераспечатанная колода карт, а рядом аккуратно разрезанный напополам трефовый король и дама пик, приколотая охотничьим ножом. Она была как траурная бабочка, насаженная на стальную иглу. «Треф не случайно называют крести, — подумал я, — они и есть чёрные кресты, а пики — такого же цвета сердца. Прямо шарада какая-то». В треснувшем зеркале, висящем на стене, появилось отражение Черчела.

— Ну, куда ты смотришь? Лучше взгляни на это, — и он показал кучу шприцов в раковине умывальника, — Помнишь, что я тебе говорил в операционной? Совсем скоро процесс пойдёт с нарастающей скоростью.

— Неужели эта прокажённая медицина и к нам пролезла? — удивился я.

— А ты не спеши, подумай и сделай выводы, — ответил Черчел и исчез в осколочном блеске.

«Неужели наркомания? Но она же на гниющем Западе! Вот червивая зараза! Так и норовит, так и ищет потаённые щели в мозгах, чтобы залезть туда и расплодиться. Слава Богу, мы ещё до этого не дошли, но эта шарада с разрезанным королём и зарезанной дамой... Чушь какая-то! Наваждение».

Отгоняя дурные мысли, я зашёл в туалет. В углу стояло несколько пар финских лыж с ботинками явно не женского размера. Над унитазом на латунном крючке висели костыли из отполированного буро-красного бука, ручки их подлокотников поблёскивали набором цветного пластика и серебра. Я невольно вздрогнул и в мыслях моментально оказался во времени, когда немцы рвались к Москве. Какая же была радость, когда их разгромили! Всё это было овеяно легендами о Красной армии, о её героизме и победах. Но ходят и другие легенды: о грабителях и воровских шайках. В те времена над всем районом царил, как говорили тогда, пахан в законе Коляна. Среди блатного мира и простых людей, я уже не говорю о нас, огольцах, он пользовался непререкаемым авторитетом. Во время финской войны ему покалечило ногу. Ходил Коляна, опираясь на длинную клюку с поперечной ручкой, очень похожий на Джона Сильвера из знаменитого романа Роберта Стивенсона «Остров сокровищ». Мы его так и звали. Почти все блатные малины беспрекословно подчинялись ему. Он ввел строгий устав: вступать в драку можно было только один на один с его личного разрешения, щипать только ярко выраженных спекулянтов, грабить исключительно государственных жуликов, обогатившихся за счёт служебного положения. Соблюдался строжайший запрет на мокруху, то есть убийства. И это несмотря на то, что символом его «экипажей» была трёхмачтовая пиратская шхуна под названием «Смерть», и на её белых парусах скалились чёрные безглазые черепа.

Никогда не забуду его приближённых. Один из них много раз уговаривал меня стать полноправным членом экипажа его черепonosной шхуны. Там было немало моих знакомых, все они имели клички, навеянные морем и вольной романтикой: Якорёк, Чапаёнок, Меченый, Шпангоут, Люгтер, Акулёнок, Шпигат, Скула, Щёрсик, Галс, Валет. Последний как раз и занимался моей вербовкой и рассказывал о налётах на мандариновые дачи богатеев, хотя снаружи они ничем не выделялись из общей массы. «Можешь поздравить нас с попутным ветром, — хвастался он, — мы взяли на бордаж очередную мандариночку — грабанули завскладами универмага. Чего только не было в трюме у этого жучка-хапуги! Одних ковров десять штук. А чернобурок и бобровых шапок не меньше тридцати, серебро, хрусталь, китайский фарфор. А наш Сильвер! Вот у кого интуиция. Всё знает! Своей клюкой все стены обстукал и распорядился в

присущей только ему манере: «Благородные морские волки, джентльмены звенящей удачи! Без лишнего шума ломайте переборку вот здесь, — и ткнул клюкой между картин «Апофеоз войны» и «Иван Грозный убивает своего сына». Только осторожно. И к копиям шедевров надо относиться с уважением». Ну мы и постарались, бережно сняли картины и ломанули. Ты даже представить не можешь, какой разразился ливень, сплошной шквал! Посыпались рыжики — золотые монеты царской чеканки. И в придачу ко всему в сундуках в мансарде десять рулонов бостона, не считая шевиота, атласа, панбархата, крепдешина и ситца. Мы, как и положено по совести, всё это добро конфисковали и оставили белую метку с чёрным черепом посередине. Ну, естественно, и записочку, что всё захваченное и присвоенное передаётся вдовам фронтовиков и сиротам, а себе оставляем только небольшую часть на пропитание. У нас слово не расходится с делом. Когда барыги всё реализовали, мы денежки сложили в пачки, завернули в газеты и рассовали по почтовым ящикам всем, кто уже успел получить похоронки. Сильвер всегда предупреждает, что голову оторвёт и выбросит, а вместо ног спички вставит, если кто посмеет из пердачки хотя бы рубль взять».

И самое интересное, об этих налётах знали почти все, не исключая милицию. При встрече с Сильвером каждый старался улыбнуться, когда он ковылял на своей клюке с трофейной сигаретой в зубах. Я, конечно, тоже знал, что он бывший балтиец с боевого корабля и что на его груди выколот парусник, идущий под полными парусами, не хватает только попугая, кричащего: «Пиастры, пиастры!»

И вот, после признанного триумфа легендарного Сильвера и появился Костик Благomorов. Передвигался он на коляске, но при нём всегда были костыли. Ловко прыгая, стуча костылём о костыль, Костик с задором кричал: «Всех кузнечиков вызываю наперегонки!» — и смеялся на всю улицу. Окружающие удивлялись его мужеству, а некоторые даже аплодировали, опуская глаза, полные слёз. О нём очень быстро распространилась молва, что он был командиром разведчиков и выполнял задания чуть ли не самого Сталина, что в последний раз он руководил операцией по уничтожению или взятию в плен фашистского генерала Гудериана, но в решающий момент кто-то из его группы перебежал на сторону немцев, и операция была сорвана. Несмотря на это, ему удалось вывести разведчиков из окружения и переправить через линию фронта. Сам же он попал под миномётный обстрел и получил осколочные ранения в ноги. Каким-то чудом он переполз линию огня и потерял сознание. И опять ему повезло: у переднего окопа его подобрала наша — и сразу в санчасть, но там на него набросилась гангрена, и обмороженные ноги пришлось ампутировать. С такой репутацией он сразу вошёл в доверие к Сильверу, ну а мы на него смотрели, как на героя из героев. Благomor безоговорочно принял устав рецидивиста и стал заместителем Сильвера. Он всё время рвался в бой.

— Хочу пойти на abordаж какой-нибудь дачки!

— Ну куда тебе с коляской и двумя костылями, — сочувственно ворчал Сильвер, — ты и так свой хлеб честно зарабатываешь. Твои оперативные планы ещё ни разу не подвели.

Всё было бы хорошо, но с появлением безногого в районе начались убийства. Сильвер кричал, бледнея от негодования:

— Кого покусала бешенная собака?!

А когда под парусами его корабля в его отборном экипаже Валет ткнул ножом Чапаёнка, возмущённый Сильвер запил и несколько дней провалялся у себя дома на полу. Очнувшись, он набросился на Валета:

— Как ты посмел?! Ты же Валет, моя козырная надежда! Ты что, заблудился, как бегал в шестёрках у безмозглых мокрушников?

— Но я проиграл в карты, а Чапаёнок требовал и угрожал, оскорблять стал, называл краплёным педиком, кричал, что я сявка и спутался с легавыми. А Благomor засмеялся, ехидно так на меня посмотрел и сказал, что за такие вещи пасть рвут, что таких, как я, в разведку не берут, а потом прославленного комдива позоришь. Он бы сразу шашкой рубанул. С вами одна потеха, не можете сами за себя постоять!» Смотрю, а Чапаёнок идёт на меня с заточкой, и глазам не верю. Вот и пырнул его.

— Ну и балда! А про Костика Благomorова ты туфту гонишь. Не мог он этого сказать.

— Да чтоб мне с места не сойти! — и Валет, щёлкнув пальцами по зубам, произнёс: — Век воли не видать, если это туфта!

— Ладно, проверим, а сейчас надо драпать. У тебя же где-то в Сибири родня, так что давай! А лучше в армию добровольцем. Ксивы подчистим.

В общем, Сильвер остался верным себе. Но самое жуткое в том, что проверяя, он, конечно, во всём разобрался, но в этой разборке его убили. Началось следствие, к угрозыску подключилось НКВД, нас всех таскали на допросы, но и без нас они очень быстро вышли на этого упыря. Однако безногий всех опередил: ухитрился под самым носом сбежать и даже костыли прихватить! Оказывается, он пеленал обмотками здоровые ноги, а сверху надевал кожаные краги, и все думали, что это протезы. А на поверку вышло, что никакой он не разведчик, а рядовой дезертир...

Костыли, висащие на стене туалета, были точно такими же, как у Благomorова. Тогда бдительность подвела, хотя в его поведении просматривалась фальш. Но фронтовые подвиги затмевали всё, а шутки и смех, нескончаемое подтрунивание над самим собой приводили нас в восторг. Всегда аккуратно выбритый, с курносом носом и смеющимися глазами, он казался нам Василием Тёркиным из поэмы Твардовского. Помню, его всегда сопровождал запах армянского коньяка и самых дорогих папирос. А когда он смеялся, на верхних и нижних зубах золотились коронки. О, эти дутые фиксы, они казались нам несбыточной мечтой! Костыли крас-

ного дерева, коляска с надувными шинами на никелированных колёсах — все это считалось пределом шика.

После его побега мы узнали, что ещё при царе прадед Богоморова был прикован к тачке. Лютый был старик, настоящий душегуб. Вся сахалинская каторга ублажала его капризы. Дед тоже не отличался кротостью и убивал, не задумываясь, пока его самого не пришибли. Когда Костику не было и года, его отца, начальника расстрельной команды, и мать повесили в собственном доме, оставив надпись: «Смерть стукачам и вурдалакам». В общем, Богомор хлебнул ядовитого детства, и в какой-то мере ему можно посочувствовать. Сам он не шёл на убийство, зная что за этим последует неотвратимое возмездие, и делал всё чужими руками, боясь потерять огромный воровской общак, который он контролировал.

Если Сильвер остался в памяти олицетворением справедливости и благородства, то Богоморов прогулялся по моей душе, оставив кровавые следы. Воспоминания продолжали мелькать в голове, словно ловкий картёжник выхватывал одну за другой карты из колоды. Не знаю, поймали его или нет, но при его коварстве и изворотливости вряд ли. Я ещё раз посмотрел на костыли, и меня стали одолевать тревожные предчувствия.

Я вернулся в комнату. Марина стояла у картины Левитана. Она повернулась и, странно взглянув на меня, спросила:

— Что с вашим лицом? Вам не здоровится?

— Нет-нет, всё в порядке.

— Смотрите у меня, вы должны быть живым и здоровым.

Теперь я видел в глазах Марины усталость и неприязнь, отчего тревога во мне стала нарастать. Как ни старался я отогнать дурные мысли, они стали переполнять моё сознание, когда она наигранно улыбнулась, и лицо её стало безобразным. Взглянув на меня, она сказала:

— Замечательная картина «Над вечным покоем». Но, к сожалению, он нам только снится. — И заговорила стихами:

Увозят милых корабли,
Уводит их дорога белая,
И стон стоит вдоль всей Земли:
Мой милый, что тебе я сделала?

— Мариночка, вас кто-то обидел?

— Меня?! Попытались сперва просто на крючок поймать, но я червей не ем. Потом бредень ставили. Но я же змееподобная мурена, и зубы у меня острее, чем у пираньи. Но кусаться я не стала, просто выскользнула из рук.

— Ну какая же вы мурена? Ещё баракудой себя назовите или акулой. Уж вы-то точно не знаете себе цены. А что же ваши дружки не идут? Да и хозяев всё нет.

— Да ну их! И без них обойдёмся. Лучше садитесь рядом и ещё что-нибудь почитайте.

И я стал читать:

Не преступи, опомнись всеу!
Не покриви своей душой,
Средь голодающих пируя,
Мы создаём иудин строй.

Мы предаём и отвергаем,
Мы изгаляемся и лжём,
Но нам не спутать Ада с Раем,
Где солнце светится с дождём.

На фресках преданного храма
Дождями смыты Рай и Ад.
Гуляет возле ресторана
Из Рая выгнанная дама,
Нас приглашая в райский сад.

Её бранили как хотели:
Торгует телом и душой!
Ну до чего мы обнаглели —
Грязь отмываем красотой.

Ну просто распрости и выбрось!
Она гуляет у порога
И собирает, словно милость,
Что ей положено от Бога.

Надеясь за последней гранью
Найти спасение души,
Стремится к свету покаянья
Наперекор судьбе и лжи.

Кто преступил, тот понимает,
Когда за женщиной идёт —
Она, не зная, нас ласкает
И брани с подлостью не ждёт.

Душа в червях от мёртвых слов.
Купив, себя мы продаём
И наших мам из детских снов
На круг заклятия ведём.

Сдаём, не ведая, что с нами
Боль остаётся, чтоб убить.
Что мы не сможем в Божьем храме
Своё иудство замолить.

Поэт! Ты страж любви и женщин,
Искатель Божьей чистоты,
И ты становишься не вечным
И тонешь в соре суеты.

Нас много в белых одеяньях
За падшей женщиной идёт
И подаянье в платных ласках
Рукой дрожащею берёт.

И осуждая, продаваясь,
Касаясь женской красоты,
За всех за нас я смертью каюсь!
Не преступи, не преступи!

Я замолчал, потом хотел что-то сказать, но, увидев глаза Марины, полные слёз, заулыбался. А она, сейчас я в этом уверен, смотрела на меня, как на идиота.

— Скажи, который час?

— Без десяти двенадцать, — мне показалось, что в её глазах мелькнул испуг. — Мы скорее Деда Мороза дождёмся, чем хозяев квартиры и ваших дружков.

— Вадик, шёл бы ты в свою гостиницу!

— А что, посиделок так и не будет, и мы переходим на «ты»? Я надеюсь, что, посылая меня в гостиницу, вы шутите?

— Я говорю серьёзно, ты должен немедленно уйти. Ты слишком наивен, и я не хочу брать греха на душу. Душа у тебя не мёртвая, вот в этом вся и беда. Хочешь оказаться на заброшенном кладбище и почитать там стихи могильным червям?

— Марина, к чему такие загробные шуточки?

— Вадик, я не шучу, ты должен немедленно уйти, пока не поздно.

— А я не уйду, не могу же я оставить в одиночестве такую красавицу.

— Ну хватит! Пошёл вон!

— Не пойду, потому что женщину нужно внимательно выслушать и обязательно сделать всё наоборот.

И тут Марина буквально завизжала, с ней началась истерика. Она ругалась последними матерными словами и, встав на колени, стала меня умолять:

— Ну, пожалуйста, уйди! Прошу тебя, слышишь, прошу! Если не уйдёшь, тебя убьют. А я не хочу. Слышишь, не хочу! У тебя чистая душа. Ты врешь, никаких пятен на ней нет.

Я стоял онемевший, и лёгкий хмель, который кружил мне голову, стал постепенно испаряться. Перед глазами стояла ванна с окурками, пустые бутылки, шприцы, игральные карты, разрезанный пополам крестовый король и заколотая дама пик, костыли да ещё и этот ковёр с буры-

ми подтёками... Мне стало нехорошо. «А может быть, здесь притон местной малины?»

— Марина, ты сказала, что меня убьют, а я ещё жить хочу.

— Я сказала всё! — и, вытирая слёзы, совершенно спокойно добавила: — если удержишься здесь хотя бы на минуту, я выброшусь с балкона, — и она пошла к балконной двери.

— Всё, ухожу, Мариночка, ухожу. Ангелы должны жить. Без ангелов мы пропадём. Разреши тебя поцеловать. Ну, один раз, на прощанье. А то, что получается, я так и уйду с воздушным поцелуем? Мариночка, на прощанье!

— На седьмом небе поцелуемся, если встретимся и полюбим друг друга. У тебя остаются считанные секунды. Прощай!

Я выбежал из квартиры. На улице за углом раздавались мужские голоса. По моему подсчёту на слух, мужиков было не меньше семи, пьяные в стельку, едва шевеля языками, они сплёвывали подзаборный мат. Я замер, и тут же в правом ухе раздался телефонный звонок.

— Алло, москвиченок, надеюсь, ты привык к речевым оборотам недоумков. Они учились грамоте на непристойностях, написанных на заборах и стенах общественных туалетов. А лекции по бескультуре речи читал им небезызвестный Барбаросик, перевоспитать которого я никак не могу, а применить химическую обработку до сих пор не решаюсь. Он хотя и отпетый негодяй, но мой подопечный. Ну а Костик Благоморов, который в списках особо талантливых числится под кличкой Колченог, до сих пор остаётся эталоном изворотливости, непревзойдённого коварства и мастером подлости. А костыли сделаны в Австрии, в Первую мировую там было неплохо налажено производство. Костылики, конечно, не скрипка Страдивари, но тоже помнят своих хозяев. Ну, вешаю трубку, москвиченок, а ты держи ухо востро, чтобы не попасть на собственные похороны. Не забывай, я лично отвечаю за твою жизнь. Да, время твоё не пришло, но иногда оно останавливается и начинает подыгрывать смерти. А эти прогрессирующие экземпляры будущего скоро захватят ключевые посты и покажут всем небо в кровавых алмазах.

Раздался щелчок, и зазвучали прерывистые гудки. После таких речей Чердела я растерялся. Горлопаны, перебрасываясь бранными словами, неумолимо приближались, и снова леденящий червяк прополз по спине. Мне стало страшно. Они орали, стараясь перекричать самих себя. Особенно выделялся один, этот голос, похожий на удар кнута, я узнал не сразу.

— Надоело по мелочи в карты играть. На кон надо ставить как можно больше!

Услышав другой голос, я остолбенел.

— Что ты расхрюкался на всю улицу? Новатор производства! Потрошить их надо, потрошить. На то они и бараны! — интонации и звонкий тембр невозможно было спутать ни с чем.

— Хватит играть в поддавки. Тебе что, надоела комфортная жизнь? Что, деликатесы оскомину набили?

— Ты же беспробудно пьёшь и жрёшь всё, что только твоя свинская душа пожелает! — сомнений не оставалось: этот голос принадлежал Благоморову.

На моё счастье, рядом с подъездом росли кусты шиповника, и я в мгновение ока спрятался, пригнулся и стал наблюдать. Вся компания уже показалась из-за угла, когда от неё отделилась одна фигура и направилась к кустам. Сердце моё сжалось, и я затаил дыхание.

— Что ты там в кустах забыл?

— Отлить хочу.

— Нехорошо, природу надо беречь. После тебя шиповник завянет!

На крик с кладбища отозвалась пронзительным лаем свора собак.

— Что разбрехались, шелудивые? Голодными сегодня не останетесь.

— Давай быстрее! Мы Белоснежке что обещали? Нарисоваться в дванадцать. А сейчас сколько? Пять минут первого!

— Что, опять на свежачка?

— А ты что, за два дня разучился? Да не дрейфь ты, сходишь в церковь свечку поставишь, и на душе просветлеет.

И вся компания вошла в подъезд. Немного подождав, я кинулся бежать. Оторвавшись на приличное расстояние, я остановился и посмотрел на дом. В одной из квартир горел свет. Вся компания вывалила на балкон, и среди этих мерзких типов я увидел моего ангела. «Значит, Черчел прав, моё время ещё не пришло. Он всегда знает, что говорит». Мне повезло: я успел сесть в трамвай, который сразу же поехал, но главное, я успел на последний троллейбус.

С утра я постарался встретиться с главным балетмейстером музыкальной комедии. У меня было только одно желание — увидеть Марину и сказать ей спасибо. Балетмейстер меня озадачил.

— Никакой Марины в группе нет.

— Но она же в прошлом году закончила хореографическое училище, — настаивал я.

— Я всех девочек знаю по имени, всех солисток и кордебалет. Тем более новеньких, их всего-то три человека. Женщины с именем Марина не было и нет среди коллектива всего театра.

Я набрался смелости и поехал к злополучному дому в надежде встретить её на улице. Но дома так и не нашёл. Одна прохожая подсказала, куда ехать, но я попал на какое-то другое кладбище, не похожее на свалку. На могилах среди крестов росли цветы.

Через неделю мы возвратились в Челябинск. А я до сих пор не могу понять, зачем она все это сделала. Может быть, её зовут не Марина? Может быть, она ждала эту банду, а может быть, это и не банда была. А хрюкающий алкаш с голосом Конопатого? Ну и что? Разве мало я встречал ему подобных или похожих на него до умопомрачения? Ну не гномы же

они! А она, может быть, и Белоснежка. Ведь было же в ней что-то сказочное, почему я так опрометчиво поехал на эти посиделки. А может быть, её дед и не воевал на подводной лодке, и всё, что она рассказывала — неправда. А костыли! Такие я встречал только раз в жизни. Неужели она внучка Благоморова? Сомнения бродили во мне. Единственное, в чём я не сомневался, так это в том, что она талантлива. Так меня разыграть! Любому театру не отказался бы от такой актрисы. Чего я только ни передумал, но в одном был уверен: у этой женщины была живая душа, благородство так и осталось с ней, как бы она ни пыталась затоптать его и выбросить на погост, превращённый в свалку.

С Челябинском мне суждено было расстаться. Замечательный город! Всё я помню, всё доброе, всех партнёров и друзей: А. Власова, С. Рудим и З. Семёнову, А. Шибкова и Ю. Мочалова, Л. Александрову и Л. Барад, Л. Овсянникову, Л. Глебову и В. Протасова, Г. Бюллера и Ю. Цапника. Из театра кукол — Анну Светлицкую, Валентину Ширяеву и Валерия Вольховского, имя которого сейчас и носит этот театр. Ещё вспоминаю замечательного человека и режиссёра Олега Рудника, поставившего спектакль в нашем ТЮЗе. Сейчас я часто слышу его голос по американскому радио. И конечно же, я помню Кулешова и ясную, как солнышко после дождя, Танюшу Тэрнитэ. Она сейчас живёт в Москве, её непосредственности и таланта очень не хватает нашему кино. Но увы, безобразное и серое беспощадно засасывает и неплохих режиссёров. Конвейер моды, возвеличенный взбалмошной рекламой, всё чаще выносит на поверхность безликих и наглых.

После Челябинска — опять везение. Я работаю в Сахалинском театре драмы имени А. П. Чехова. Здесь мне довелось встретиться с другим министром культуры — тогда ещё Советского Союза. На Сахалине судьба свела меня с Фурцевой. Встретился я с ней в нашем театре. Она прилетела из Москвы. В то время об этой женщине рассказывали всякие непристойности и не очень остроумные анекдоты. Мол, ткачиха, считает, что Станиславскому не повезло, что он так и не смог стать передовым стахановцем. Говорили, что она когда-то заведовала банями, а сама даже не умывалась по утрам — и вдруг стала министром всей культуры СССР. Мол, Хрущёв её продвинул и сделал из обычной пешки фиктивную королеву, которая горностаевую мантию надевает вместо фартука, чтобы приготовить любимые ею галушки на крапивном отваре. Что, мол, спрашивать с Хрущёва? Он сам себя объявил выдающимся проходчиком с самой глубокой угольной шахты, которую искали не только историки, но даже археологи, но так и не нашли.

С такой вот информацией я пришёл на встречу с бывшей ткачихой. Но вы не представляете, как я был удивлён, когда увидел эту элегантную, с неиспорченным вкусом, красивую женщину. Её скромность меня поко-

рила. А когда она заговорила, я был поражён ещё больше. Говорила она очень достойно и, самое главное, по делу. После пустомель из управления культуры — глубокий анализ нашей культуры, анализа загнивания морали в современном западном искусстве. И всё это искренне, с душевной болью, что окончательно сокрушило мою предвзятость. И не только мою: вся труппа слушала её с упоением. «Умнейшая женщина, — думал я, — а говорили, что она полный профан, и в искусстве разбирается не больше, чем рыночная торговка». Я слушал её и любовался, как она могла выстроить фразу, с каким юмором говорила о снобизме элиты. Я решил задать ей вопрос:

— Скажите, пожалуйста, товарищ министр, что сейчас творится с эстрадой?

— Полное затмение. Если бы вышли из строя все микрофоны, никто бы не смог петь. Ну, осталось бы человек десять, не больше. Безголосые — это ещё полбебды, были бы хоть талант с душой, а то ни того, ни другого. Повально все рвутся на концертные площадки. Под безголосье подстраиваются и композиторы, которых в народе уже называют сантехниками, и поэты, насилующие русский язык. А что дальше будет, боюсь даже подумывать.

Вот ведь как точно предсказала наше псевдомузыкальное время ткачиха. А вот среди элиты я что-то ни одного пророка не встречал. Царствие ей небесное!

В общем, на Сахалине я многое познал, и на моей дублёной шкуре появились новые неожиданные отметины. Итак, на служебном самолёте в компании с руководством Сахалинского аэрофлота мы летим с гастрольным спектаклем на север Сахалина в город Оху. Со мной рядом, судя по нашивкам на форменном пиджаке, сидит большой начальник. Глядя в иллюминатор, я произнёс:

— Красотища-то какая!

— Да уж, — подтвердил мой сосед, — всю жизнь летаю, налюбоваться не могу.

Не знаю, почему, я вздохнул:

— Да, работёнка у лётчиков рискованная. Рисковать приятно разок-другой в году, а они каждый день балансируют на грани.

— Об этом не стоит думать, — сказал, помолчав, мой сосед. — Само наше появление на белый свет начинается с риска: мать может умереть, ребёнок может родиться мёртвым. Мы рискуем всю жизнь. Опасность подстерегает нас там, где мы её и не ждём. Я до наземной работы, будучи пилотом, налетал огромное количество часов. Были и нештатные ситуации, но, как видите, обошлось. Между прочим, этот самолёт ведёт мой сын, и мы уже на подлёте, сейчас будем садиться.

Я взглянул в иллюминатор: самолёт, проткнув облака, шёл на посадку. Но что это? Я смотрел с недоумением, не веря своим глазам. Мы приземлялись на башенные краны и какие-то непонятные конструкции, тор-

чащие из земли. Из кабины пилота вышел лётчик и, подойдя к аэрофлотскому начальству, стал что-то говорить, но за рёвом двигателей ничего не было слышно. Авиаторы один за другим стали входить и выходить. Мой сосед, побывав в кабине, улыбаясь спросил:

— Вы бывали на Камчатке?

— А что случилось?

— Пустяки. На аэродроме Охи, по-видимому, непредвиденные неполадки с навигационными приборами, поэтому решили не рисковать.

Позже, когда мы всё же прилетели в Оху, встречающие нас представители местной власти и культуры рассказывали, что они были в ужасе, когда увидели, что наш самолёт пытается сесть на строительную площадку, которая находилась наподолеку от аэродрома.

Спектакль прошёл с успехом. Нам преподнесли совершенно необычные северные цветы. А мне лично, не знаю, почему, одна из старожилок подарила старинное зеркало, в которое, по легенде, смотрелся сам Антон Павлович Чехов. Вот ведь как бывает! Возвращаясь в Южно-Сахалинск, мы летели тем же самолётом. Я с опаской наблюдал в иллюминатор, как крылья касались облаков, разрезая их без всяких усилий и отбрасывая в сторону. Вдруг на самом краю крыла проявился чёрный мужской силуэт. Черчел сидел, положив ногу на ногу, и пропускал сквозь себя летящие обрезки облаков. Помахав мне рукой, он открыл рот и стал говорить, и, как ни странно, сквозь гул моторов я расслышал его дребезжащий голос.

— Москвичонок, зачем ты полез именно в этот самолёт?

— Но я же работаю в театре. Я занят в спектакле, с которым мы прилетали в Оху.

— Знаю, знаю и про ваш успех, и про северные цветы. Скажи, ты действительно веришь, что в твоё дарёное зеркало смотрелся Чехов?

— Не знаю, хотелось бы верить...

— Можешь быть уверен, Чехов действительно смотрелся в это зеркало. А вот в самолётике этом ты даже не можешь представить, как рисковал! Скажи спасибо, мне вовремя доложили, я дал команду и отругал этих лоботрясов. Эта порода ради карьеры готова на всё. Кричу: «Вы что, совсем спятили? Его время ещё не пришло!» — и, подмигнув, он весело сказал: — А вот в этом рыжеватом облачке я и отдохну от забот, — резко наклонив голову, он нырнул в проплывавшее мимо облако, которое в ту же секунду стало зелёным.

Впоследствии я узнал о трагедии, которая меня потрясла. Буквально через неделю самолёт, на котором мы летели в Оху, врезался в сопку. Весь экипаж и пассажиры погибли. Не только наш театр, но и весь Сахалин был в шоке. Мы очень близко к сердцу приняли эту трагедию. Но время лечит. Ещё одни сахалинские гастроли: на пароме через Охотское море в Советскую гавань. Сплошная романтика!

Я бы много хорошего мог написать об актёрах-тружениках и вообще о коллективе театра. Главным режиссёром был ученик Эфроса Анатолий

Иванов. Группа была очень творческой. Я был в дружеских отношениях с Михаилом Березиным из Ленинграда, режиссёром Е. Кузнецовым, Натальей Парфёненконой, Боевым, Храпко и Виктором Степановым, о котором я уже вспоминал. Он сыграл в кино Ломоносова, Ермака и незабываемого милиционера в фильме Прошкина «Холодное лето пятьдесят третьего». В фильме «Война» работали Миша Березин, блестяще сыгравший диверсанта в форме офицера Красной армии и Витя Степанов, который играл генерала. В день моего отлёта на материк я ухитрился сняться со Степановым в «Сахалинском кинофитиле». Играли мы браконьеров, по сюжету много пили, я напился до того, что не заметил, как на мне загорелись штаны. Витя хватал меня и бросал в воду, о силе его я вам уже говорил.

И Елена Майорова, будущая любимая актриса Олега Ефремова, делала первые шаги на сцене Южно-Сахалинского дворца пионеров в студии Геннадия Кириллова, будущего главного режиссёра Омского ТЮЗа. Во дворец я заходил часто, там моя жена работала художественным руководителем, а дочка занималась в хореографическом кружке. И конечно, я тогда и подумать не мог, что Лена станет такой знаменитостью! Когда в Москве с ней произошла жуткая трагедия, я не хотел в это верить. «За что такая несправедливость? — спрашивал я себя.

— А ты не знаешь? — запищал влетевший в форточку комар. — Подождём, когда выключишь свет, — и сел на потолок.

— Да, не знаю, можно подумать, ты знаешь!

— А чего тут особенного, любой комар в курсе, что за талант такого масштаба можно расплатиться только короткой жизнью. Ведь за всё нужно платить. Может, примерчики привести? — и он запищал так, что задрезало оконное стекло. — Когда же ты выключишь свет? И зачем он тебе вообще? Ты же всё равно не давишь тараканов. Эти рыжие твари заполнили всё вокруг. Может быть, ты хочешь меня раздавить? Но это нечестно и подло, это как убийство в спину или нападение из-за угла. А я не какой-нибудь овод или трусливый слепень, которые вероломно терзают свои жертвы. Я имею комариную честь, и хоть не очень приятным писком, но всё же вызываю избранных на дуэль и если гибну, то в честном бою. Так что гаси свет и не бойся, кусать не буду, тем более, сосать кровь. Мне тоже хочется отдохнуть. А тараканов нужно давить, — пискляво гнусявя продолжал комар. — Барбаросик перестарался и перевыполнил план, хотя его об этом никто не просил. Это же надо уметь наплодить столько руководящих, но ни за что не отвечающих насекомых! Целая армия рыжих обжор! — комар, взвизгнув, сел на подоконник и стал неистово пищать, увеличиваясь в размерах. Когда его зеленоватые крылья и длинный заострённый нос исчезли, я увидел Черчела. — Ладно, спи спокойно, москвичонок, — и он вылетел в форточку.

«Такой большой, а в любую щель пролезает. Ему всё можно», — я выключил свет, но так и смог заснуть до самого утра. Память будоражили

воспоминания о сахалинской жизни, о наших гастролях на Курильских островах. Сплошная экзотика! Шли мы на теплоходе «Туркмения», где капитаном оказался мой однокашник по школе юнг. Да, такое не забывается. Капитан окружил нас заботой и вниманием. Помню кают-компанию и всю нашу небольшую, но дружную команду. Официантки были одна к одной. Приносили нам всякие дары океана: то крабов, а то и морского гребешка. Пили мы какое-то заморское сухое вино из личных запасов капитана. И радости нашей не было конца, и экипаж относился к нам по самому высшему разряду. Мы видели, как за бортом дельфины шли параллельно курсу нашего теплохода, и лишь чайки с грустными глазами криками напоминали нам, что они заждались встречи с нашими душами, что жизнь не бесконечна. Но мы гнали грусть от себя.

На острове Кунашир я решил пройти до скалы под названием Чёртов палец, который торчал из набегающих на берег волн. Мне казалось, что он совсем рядом. Там на пустынном берегу, под небом, которое будто касается головы, я увидел приближающегося человека и побежал навстречу. После семичасового одиночества хотелось бежать к первому попавшемуся на пути. «А вдруг это женщина, похожая на Венеру?» Сердце от предвкушения готово было выскочить из груди.

— Ну что ты несёшься, как оголтелый? Я совсем не похож на красавицу, тем более заморскую. Ты же моряк и знаешь, что красивее русских женщин на Земле нет. Да пожалуй, и во всей Вселенной. В общем-то Бог не обделил красотой ни одну женщину, ведь женщина родила ему сына. Иди обратно на свой теплоход, пока с тебя совсем не слезла обгоревшая кожа. До Пальца всё равно не дойдёшь, на то он и мой. Сердце может не выдержать, а твоё время ещё не настало, — и, разбежавшись, он взмыл в воздух, сделав мёртвую петлю, нырнул в шумящую воду. И сразу же из воды выросла огромная волна и с жутким рёвом, разбрасывая ключья пены, стремительно понеслась к скалистому берегу.

«Так вот откуда появляется девятый вал!»

— А ты соображаешь! — сквозь шум прибоя прогнусавил Черчел. — Скорее возвращайся, пока не поздно.

Я вернулся на теплоход ночью. Кожа на мне покраснела, как будто её отстегали крапивой. До неё было больно дотронуться. Потом, уже на острове Шикотан, я вспомнил о заботе Черчела — всё-таки не всегда он даёт вредные советы. На этом изумительном острове, как будто родившемся из сказочных снов, я познакомился с его комендантом, майором пограничных войск. Он пригласил меня, Витю Степанова и Мишу Березина на мыс Край Света. Мы, конечно, были в восторге, и он повёз нас на своём газике, то и дело переговариваясь по радиации со своими секретными дозорами. Вдруг, неожиданно остановив машину, он сказал:

— Чуть не забыл! Придётся вернуться. А вы, никуда не сворачивая, идите прямо по дороге. Я только проверю пост и догоню.

Быстро развернувшись, он поехал в обратную сторону. Ну мы и пошли, любуясь экзотической природой.

— Стоять! — раздалась команда из зарослей. — Ложись! Лицом к земле! Руки за спину!

— Но мы с комендантом! — стал оправдываться я.

— Лежать, кому говорят! — из кустов вылез пограничник в зелёном камуфляже и направил на нас дуло автомата. — Лежать! — мы уткнулись носом в землю и уже были не рады нашему экзотическому путешествию.

Скажу прямо, ничего приятного, когда на тебя смотрит чёрным прищуренным глазом ствол автомата.

— Свяжитесь с комендантом! — кричу. — Это он пригласил нас на Край Света.

— Да что ты говоришь! Так я тебе и поверил. Лежать и не рыпаться! А то вызову рядового Конопаткина. Ему не терпится пройтись ремнём с металлической бляхой по чьим-нибудь нетрудовым рукам или интеллигентской морде.

— Соединитесь с комендантом, очень прошу.

— Ну хорошо, — и пограничник, включив рацию, полугромким шёпотом заговорил: — Товарищ майор, я тут лазутчиков захватил. Для какой потехи? Самые настоящие лазутчики, сразу видно, шпионское отродье. Понимаю, если что, стрелять без предупреждения. Так точно! И продырявить за тылки, не нарушая экологию острова. Ну вы же знаете мои боевые зачёты. Я стреляю только в яблочко. Так точно, рука не дрогнет, — и он заикал от смеха, злорадно предвкушая унижение, которому нас подвергнет.

— Это произвол! Нарушение прав человека! — закричали мы в один голос. — Мы актёры, мы здесь с театром на гастролях. Нас комендант пригласил.

— Хорош врать! Майор сказал, чтобы я не поддавался ни на какие провокации и в случае чего — стрелял. Понятно? Он у нас пунктуальный и строгий, с детства в армии. Суворовское с отличием закончил. Так что давайте по-хорошему. До заставы километра четыре по болоту. Сейчас руки вам свяжу, и пойдём осторожненько по кочкам. До заставы километра четыре по болоту. Только не забудьте, у меня в автомате полный рожок и ещё три запасных — на всех хватит, — и он поставил воронённый затвор в боевое положение, направляя на каждого из нас поочередно смертоносное дуло.

Стало совсем жутко и тоскливо. В этот момент мы услышали шум подъезжающего автомобиля. Резко остановив газик, комендант высунулся из машины и заорал:

— Ефрейтор Показухин! Отставить! Ты что боевым оружием размахался? У тебя что, крыша съехала?

Показухин вытянулся во фронт и отрапортовал:

— Согласно пограничному уставу, мною задержаны нарушители, то есть враги нашего государства...

— Что ты мелешь, Показухин? Это мои гости!

— Но вы же только что говорили со мной по рации и отдали чёткий приказ, чтобы я с ними не церемонился и патронов не жалел.

— Показухин, ты бредишь! Я с тобой не разговаривал. Не пори ерунды.

— А кто же со мной говорил?

— Ефрейтор, сорву с погон твою единственную лычку и спишу на материк в стройбат. Мне нужны пограничники, а не сумасшедшие!

— Я на отпуск надеялся, товарищ майор!

— Показухин, вы мне с Конопаткиным надоели! От вашего усердия голова болит. Внеочередной отпуск — это поощрение за бескорыстную и верную службу Родине, а не за ложный патриотизм! Понятно?

— Так точно, товарищ майор. Постараюсь исправиться. И Конопаткина выправлю, если надо перекрашу из рыжего в любой цвет, даже в голубой...

— Ты что несёшь?!

— Пошутил, товарищ майор. Будет у меня как линейка, миллиметр к миллиметру. Я, как и вы, точность люблю. Рядовой Конопаткин станет отличником боевой и политической подготовки. Будете довольны, товарищ майор. Только по рации я ваш голос слышал, век свободы не видать...

— Что?!

— Извините, товарищ майор, сорвалось.

— Будешь честно служить, и свобода от тебя не уйдёт.

— Так точно, товарищ майор, но ваш голос...

— Ну померещилось тебе, Показухин, померещилось. На заставе об этом инциденте не говорить.

— Есть, товарищ майор!

— А сейчас на секретный пост, шагом марш!

Пограничник отдал честь и растворился в зарослях кедрового стланика.

— Извините, товарищи артисты. Вот с такими кадрами приходится защищать государственную границу. Прошу в «лимузин»!

— Ну и шуточки у вас, товарищ комендант! Нас чуть кондрашка нехватила.

— Я здесь ни при чём. Представляете, этот кадр был отобран из лучших призывников. Ещё раз извините. Я по рации уже заказал тройную уху. Мыс Край Света с нетерпением ждёт нас.

И мы, ещё не совсем пришедшие в себя, залезли в машину. Дорога была прямой и ровной. Вот показался маяк. Нас действительно ждали. Уха была на славу. Я всё смотрел на открытый океан и думал: «Там, за горизонтом, Америка! Я стою на Краю Света, а на другом краю — земля, которую, сам того не зная, открыл Колумб, а за ним Америго Веспуччи. Но разве у шара может быть край? Край есть, но он в любой точке Земли, и

все мы ходим по краю, пока нас не сдует ветер, и мы не упадём, чтобы взлететь к звёздам».

Там, в моих снах, под необъятным небом омываются океаном необыкновенные и такие далёкие острова. И мы идём к ним проливом Лаперуза уже не на теплоходе, а на каравелле «Эврика» с четырьмя мачтами под всеми парусами. Я на марсе фок-мачты несу свою бессменную вахту и горжусь доверием капитана, который без колебаний назначил меня вперёдсмотрящим. Разгулявшийся ветер скользит по моему лицу, оставляя на губах солоноватый привкус.

— Юнга! Что на траверзе? — кричит капитан, посасывая горьковатый дым из своей трубки из редчайшего дерева — иксоры железной, — растущей на Антильских островах.

— На траверзе рифы! — докладываю я. — Их лучше обойти справа.

— Право на борт! — командует капитан. — Юнга, а ты молодец! Что видишь сейчас?

— Прямо по курсу все наши сбывшиеся мечты, капитан!

— Так держать! Рулевой, держи штурвал по компасу! Может быть, нам и повезёт. Правда, юнга?

— Пусть даже и не повезёт, капитан, главное, мы идём верным курсом!

Острова живут миллиарды лет и помнят начало своего рождения, все наши сбывшиеся и несбывшиеся мечты. Часто один человек уже в пятилетнем возрасте знает то, что другой так и не узнает до самой смерти.

После Сахалина я попытался вернуться в челябинский ТЮЗ, который открывал когда-то самыми первыми словами первого премьерного спектакля. Но, видимо, мне не простили уход, или вакансий действительно не было, и меня не взяли.

У Олега Потоцкого, с которым я работал первый сезон в этом театре, была пьеса о Пушкине «Лицейский бунтарь», которую он грезил поставить. На это согласился Бугурусланский драматический театр имени Гоголя. Олег упорно звал меня работать с ним, и я согласился. Но из-за тугоголовых дантесиков и нескрываемой зависти спектакль о лицейском бунтаре так и не поставили. По окончании сезона, уже в Москве, я получил предложение работать в Омском ТЮЗе Ленинского комсомола, на что я и дал согласие.

Легендарный Омск в годы нелепой гражданской войны стал самопровозглашённой столицей. А адмирал Колчак был назначен Белым движением верховным правителем России.

Здесь мне суждено было испытать на собственной шкуре, что такое закулисные интриги. Раньше я считал, что всё это байки и сплошные преувеличения. Нет, труппа актёров и руководство были исключительно творческими, но, как говорят, одна-две овцы могут так испортить воздух, что и противогаз не спасёт.

Главным режиссёром театра был Геннадий Кириллов, выпускник ГИТИСа, тоже прошедший с честью сахалинские испытания. Он и порекомендовал мне попробовать написать пьесу на тему Гражданской войны в Сибири, что-то наподобие фильма «Неуловимые мстители». По ходатайству театра выдали мне спецпропуск в обкоме, и я, даже не веритесь, проник в сверхсекретную часть архива. Прихожу, встречает меня заведующий, проверил пропуск и говорит:

— Проходите, проходите. Видите, за столом товарищ сидит? Это наш внештатный консультант, доктор исторических наук, действительный член академии, очень эрудированный и знающий человек. Вам повезло, он у нас редко бывает.

Я вошёл, на ходу здороваясь. Человек встал из-за стола и, сморкаясь в платок, загнусавил:

— Здравствуй, москвичонок! Ты постепенно учишься сопоставлять, и это мне нравится. Буржуи кричат о красном терроре, а что, разве белого не было? Так что хрен редьки не слаще. Каждая сорока со своим хвостом старается остаться в истории объективной и справедливой. Помнишь, как в тридцатые годы на советских экранах шёл выдающийся фильм Чапаев? И там Борис Чирков, игравший крестьянина, произносил: «Белые пришли — грабят, красные пришли — грабят! И куда бедному крестьянину податься?» И ничего, на просмотр устраивали обязательные культпоходы. Так что каждый со своей колокольни смотрит. Вот, например, сказка «По щучьему веленью», как её трактуют? Емеля, мол, лодырь беспробудный, трудиться не хочет! А что сходить к колодцу и достать воду ведром — это не труд? А поймать чудесную щуку? Как в поговорке: без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Так что помощь от Щуки Емеля заслужил. Ну, пока! У меня дел невпроворот. В этих папках — документы о гражданской войне. Скажи заведующему, что на следующей неделе я пришлю очень толкового аспиранта. А ты работай. Пьеса получится, — и он, церемонно поклонившись, торжественно вышел из архива.

Да, с ним не поспоришь. Я достал документы и стал читать. Многое я и так знал, и они только подтверждали горькую правду. Моя незабвенная тётя Галя, старшая сестра мамы, перед которой я в неоплатном долгу, была очень красивой и умной, всегда восхищалась поэзией, кумиром её был Лермонтов. Гимназию она закончила с золотой медалью. В то время медали выдавали очень редко, не каждый год. Она влюбилась в хорошего рабочего парня. Они официально зарегистрировали брак. Волею судеб, в революцию он стал комиссаром... Так до последних дней и висел над её кроватью портрет её юного мужа... Видно, на всю жизнь врезалось в память, то трагическое время, когда сидела в амбаре и ждала расстрела, как выводили на казнь, как налетели красные и спасли её в последний момент, как труп своего любимого распознала по носкам, связанным ему на день рождения... Лицо и тело его были истыканы ножами, уши и нос отрезаны, глаза выколоты. Постарались «ваши благородия»... Тогда видела

она, пробираясь на коленях по устланной трупами красных бойцов земле, пятиконечные звёзды, вырезанные на их телах. Так что они вырезали кровавые звёзды не только комиссарам, но и простым красноармейцам. Другие, с альмами звёздами на шлемах во имя социальной справедливости связывали руки белогвардейцам колючей проволокой, загоняли на баржу и топили. С обеих сторон были пьяные дебоши и грабежи. Черчел тогда очень постарался, устроив кровавый пир для Воланда. «Ну это ты брось! Я хотел пошутить, да не получилось. У вас, как всегда, малой кровью не обходится. Закоренелая традиция братоубийства, которая разрастается во времени и пространстве как нескончаемый пожар, требующий всё новых и новых жертв», — помню, как в архиве шептал, оправдываясь, Чёрный человек. Так и не смогли понять на разных берегах кровавой реки, что Родина у них одна — несчастная, но непобедимая Россия.

Среди белых из всего этого смрада своим пониманием и благородством, несомненно, выделялся адмирал Колчак. Подлинный патриот и настоящий герой России, исследователь северных морей, бывший командующий Черноморским флотом. И надо же ему было связаться с этой ненасытной буржуазией, двурушниками, у которых вместо сердца кошёлёк, а на уме одна нажива! Он, наверняка, понял это перед расстрелом, но было уже поздно. Когда его привели на расстрел вместе с Пепеляевым, премьер-министром Сибирского правительства, Пепеляев ползал у ног палачей, целовал им сапоги, молил о пощаде, вопил, что сделает всё, что ни прикажут, только бы сохранили его убогую жизнь. Сказали бы: «Убей Колчака», — убил бы. Полное ничтожество! Такие всю жизнь на чужом горбу едут, как им кажется, в рай. А адмирал с гордо поднятой головой снял сапоги и бросил палачам. Если бы пули были умными, они бы Колчака не тронули.

А его гражданская жена! Мы восхищаемся жёнами декабристов, и они этого заслуживают. Но тогда, по сравнению с гражданской войной, были тишь да благодать. А эта женщина, когда кругом беспредел, когда не только на основании ложного анонимного доноса неминуемо следовал расстрел без суда и следствия, а для этого достаточно было не так посмотреть или не туда поставить ударение в слове, обивала пороги ЧК и требовала, чтобы её арестовали. Она хотела умереть вместе с любимым. Фамилия её была Тимерёва. Вот это любовь! По-моему, Джульетте снилась такая же. Жаль, не родился ещё наш русский Шекспир. Если родится, обязательно напишет об этом подлинную трагедию любви о России и её народе.

Ну а я свою скромную пьесу написал. Главному и труппе она понравилась. Утвердили её в министерстве культуры РСФСР, главный художник театра Миша Бондаренко приступил к работе, эскиз сделал (потом выставлял его на выставке Омского Дома актёра). Стали делать декорации, актёры роли учили, особенно рвался в бой Лавневич — очень ему хотелось сыграть белогвардейского генерала. И тут случилось непредвиден-

ное — наш главный покинул театр, а очередным режиссёром был назначен замечательный человек с открытой доверчивой душой Анатолий Болотов, который уже поставил не один хороший спектакль. Ему моя пьеса нравилась, и он решил её поставить, заменив главного. Но, видимо, кто-то из овец подиортил вокруг него воздух, и ему тоже пришлось уйти. И началась крысиная возня. Наша литдама, заведующая литературной частью театра, бросала в мою сторону паучьи взгляды. Симпатичная, эрудированная женщина, не знаю, кто её надоумил. А может быть, самолюбие сыграло: как это без неё прочитали пьесу труппе, да она ещё и коллективу понравилась, да ещё и в репертуар включили — нет, так дело не пойдёт! Поэтому, возвратившись из московской командировки, немного оглядевшись, она принялась за обработку нового главного, и очень удачно — пьесу отложили. Бедное искусство! Большинство только говорит, что ему служит. Затем эта стройная и совсем не глупая женщина, кстати, очень хорошо чувствующая музыку — я с ней несколько раз танцевал на театральных вечерах, — стала изо всех сил мешать постановке. До сих пор не могу понять, хотя и догадываюсь, кто ею руководил.

— Ты думаешь — я? Ошибаешься, москвичонок! Черчел на такую мелочёвку не разменивается, да и Барбаросик старается подбрасывать гадо-сти пообъёмней. Это кто-то из его тараканьего племени.

— Мне от этого не легче, Черчел.

— Ладно, дело прошлое. Три к носу — и всё пройдёт, — помолчав, он добавил: — Забыли деятели искусства слова Станиславского: «Не люби себя в искусстве, а люби искусство в себе». Вот в этом вся и беда. Ну, пока! Заговорился с тобой, а ещё должен подготовиться — сегодня в полночь мировой худсовет почитателей моей теории и её практических приложений!

Когда в искусстве кто-то приходит на чьё-то место, возможны два подхода. Первый: всё, что было до меня, плохо и не заслуживает внимания. И только по-настоящему талантливые люди стоят на других позициях: всё, что было до меня, — замечательно, постараемся сделать не хуже, а если Бог поможет, то и лучше.

Литдама тем временем съездила в Москву и привезла оттуда драматурга со своей пьесой, которую быстренько поставили. Что написать про главного-новобранца не знаю, потому что до сих пор не могу разобраться, что толкнуло его зарубить пьесу, ведь она ему совершенно не мешала. Кстати московский драматург оказался талантливым, его пьеса самоиграющей, и спектакль получился. И он, конечно, не знал обо всех гнусностях и интригах, которым позавидовали бы и Баба Яга, и Кощей Бессмертный, который до тех пор бессмертный, откуда подлянка находит место в человеческой душе.

Конечно, от всех этих непристойностей тошнило, и если бы не труппа, я бы наверняка сразу снялся с якоря. Но подавляющее большинство, и я это чувствовал по взглядам, да и по разговорам, было солидарно со

мною. Мои друзья Володя и Люда Ярославовы, Лавневич, Смирнов, Ростов, Башкин, Хлыстов — бывший моряк Черноморского флота, защищавший честь и достоинство России, очень скромный и настоящий, неподдельный. Я его, конечно, особенно уважал, потому что знал, что прошёл этот человек в реальных боях, а не на сцене или съёмочной площадке под хлопки дымящейся пиротехники, смотревший в чёрные глазницы смерти. Он видел, как она косила пулемётной косой его боевых друзей и погружала героев во тьму. Коса смерти касалась и его, но в санбатах он преодолевал гремучую тьму и снова шёл на неё в атаку. Это тебе не кино и не театральные подмости, где можно спокойно умирать под крики «Браво!» то в одном, то в другом спектакле. Испытывал я симпатию и всячески старался поддерживать дружеские отношения с очень талантливой, удивительно женственной, ну и, конечно, красивой Катей Вельяминовой, дочкой того самого прославленного Петра Вельяминова, артиста театра и кино, и её мамой, заслуженной артисткой республики. Помню Жильцова, Трошкеева, Киселёву, Валл, Ярошевскую, Витько, Осокина, Иванова, Остапова, Сашу Рубцова, в последствии работавшего в Челябинске. Всех не перечислишь. А с Тamarой Сагайдак я встречаюсь и сейчас. Она переехала из Ленинграда в Москву, работала в театре «У Никитских ворот» у Марка Розовского, ушла к Борису Юхананову, ученику Эфроса и Васильева. Так же, как и в случае с Таней Тэрнитэ, жрецы современного искусства считают, что уж лучше серость, но на фоне зелёных купюр, чем самобытность и талант, которому нечем себя защитить.

В Москве сейчас живёт и Миша Бондаренко, который после Омска работал главным художником в республиканском театре во Фрунзе, одно время жил и работал в Израиле. Заезжаю как-то к нему.

— Хорошо, что приехал! У Патриарха день рождения приближается. Напиши ему стихи, ты можешь.

— Я Патриарха очень уважаю и ценю за его страдальческую миссию и желание возродить в полной мере православие в России. Но я на заказ стихов не пишу.

— Ну ладно, жаль, конечно.

— До встречи, — говорю, — Миша, в Загорянке, — и поехал домой.

Когда электричка тронулась с места, кто-то из провожающих не успел выскочить из вагона и сорвал стоп-кран. Люди поворачали и умолкли. Бегущие патрули так и не появились. Да, совсем другое время: никто ни за что не отвечает. Я взглянул в окно. На платформе стоял молодой человек. Да это же Алёша!.. Молодой человек был и вправду удивительно похож на того боевого лётчика. Вы помните, как, несмотря на грозное предупреждение, он сорвал стоп-кран, чтобы погулять с любимой в берёзовой роще. А этот стоял радостный и счастливый, делая какие-то только им ведомые сердечные знаки девушке, сидящей у окна. А она была совсем не похожа на Алёшину подругу тех военных лет, но была такой же женственной и красивой. Пока электричка медленно набирала скорость, моло-

дые люди снимали со своих губ поцелуи, сажали их на ладони и, сдувая, пускали, как голубей, навстречу друг другу. Поезд набрал скорость, девушка сидела грустная, но улыбка ещё теплилась на её лице. Я, стараясь быть незамеченным, любовался её красотой. Потом я встал, вышел в громяющий тамбур и долго смотрел на стоп-кран, думая, как жаль, что нельзя остановить время, когда ты переполнен вдохновением и любовью.

Вернувшись, я сел к тому же окну. Казалось, что электричка и километровые столбы несутся навстречу друг другу. «Почему Миша именно меня попросил написать стихи Патриарху?» — задавал я сам себе вопрос, вслушиваясь в перестук колёс. Под этот монотонный стук на стыках сверкающих рельсов меня всё больше и больше одолевал сон. За окном мелькали рощи, дачные посёлки и встречные электрички. Небо было бездонным и голубым. А по нему на невидимых парусах плыли почти прозрачные облака. И среди них я вдруг чётко увидел довоенную разграбленную церковь со сброшенными крестами и себя, бегущего по мокрому полю. Облака в своём бесшумном живом полёте принимали самые причудливые очертания и, неожиданно остановившись, замерли. В вышине необъятной, но всё ещё земной красоты появился Нерукотворный Спас, и на меня смотрел тот самый, из детства, неотразимый всевидящий взгляд. Наверно, вся Вселенная вмещалась в его глазах. Он знает всё! Я был уверен, что он знает всё! И я решился спросить: «За что и кому он дарит гениальность?» И, преодолевая робость, неожиданно заговорил стихами:

— Бог, покажи мне гения живого!
В триумфе полководца всех времён!
— Иди, смотри с небесного порога,
Здесь ясно видно всё со всех сторон.

Ты видишь, там, где брошенный колодец,
Бомжи в грязи продрогшие лежат:
Один из них — стратег и полководец,
Другой — мыслитель, мудрый, как Сократ.

А третий мог бы сотворить икону
Живыми красками небесной красоты,
Скитался он по тюрьмам и по зонам,
Не зная, что сбываются мечты.

Кто не мечтал об утренней заре?
Мечтают все с рожденья на Земле.
Своей судьбы, увы, никто не знает,
Без знаний всё на свете пропадает.

Всем я дарю заветы от любви
И больше всех — бродягам на дорогах.
Не все мои заветы сберегли,
Сказав, что плохо я играю Бога.

Ты видишь всех — богатых и бездомных,
 Рождённых всех от блуда и любви.
 Родится много с горя обречённых,
 Но всем я дал любовь, чтобы творить.

И тут же под стук колёс и моего сердца стали рождаться строки, посвящённые Патриарху. Я невольно открыл глаза. Электричка, сбавляя скорость, подъезжала к Мытищам. Нерукотворный Спас, заполняя всё небо, медленно исчезал в тучах надвигающегося дождя. Я уверен, что всё происходящее на Земле, не проходит мимо Его глаз. Они вмещают всё и, конечно, икону, которую я подарил маме во время войны. Она и сейчас хранится в моём доме.

Когда электричка подошла к Загорянской платформе, дождь уже лил вовсю. Зонта у меня, как всегда, не было, но я, не задумываясь, бросился под дождь и побежал, прыгая через лужи. До самого дома я твердил и повторял, как таблицу умножения, стихи, боясь их забыть. Строки, цепляясь друг за друга, к моей радости, не покидали меня. Перейдя вброд огромную лужу, разлившуюся возле самого дома, весь мокрый и забрызганный грязью, едва переступив порог, я сразу поспешил записать всё на бумагу. Несмотря на то, что остатки дождя ручьём стекали с моей одежды на пол, и сам я промок насквозь, радость переполняла меня. Мне казалось, что посвящение Патриарху, залетевшее в мою голову, когда я ехал в поезде, получилось. На другой день с самого утра я направился в Москву, пришёл к Мише и говорю:

— Вот, привёз, вроде, что-то получилось. Пока ехал домой, само собой сочинилось.

— Спасибо, Вадим Геннадьевич, я подберу шрифт поэтичней, оформлю на компьютере и обязательно преподнесу Его Святейшеству.

Позже, когда мы снова встретились, он мне сказал, что передал посвящение.

— Знаешь, слова в твоих стихах вроде бы простые, но без Бога так их расставить нельзя.

Я забыл упомянуть, что Омск, стоящий на Иртыше, с первого взгляда покорила меня своей скромностью и некричащей красотой. В Омске я увидел символ непокорённой свободы — кандалы, в которых был доставлен сюда, в столицу Сибири, Достоевский. В царское время их заставили молчать, чтобы они, как казнённый колокол с вырванным языком, не рассказали о том, что преодолел великий русский писатель.

В наше время с Омского ТЮЗа начинал своё замечательное творчество артист Владислав Дворжецкий, а с драмы — Спартак Мишулин. А во времена моих злоключений работали Чонишвили, Вадим Лобанов, Николай Чиндйайкин, будущий драматург Владимир Гуркин, автор сценария фильма «Любовь и голуби», Аросева, родная сестра Ольги Аросевой. В общем, труппа драматического театра была высшего класса.

Все знают, что во время войны в Омск был перебазирован Московский театр Евгения Вахтангова. Именно тогда зародилась дружба двух коллективов. Совместные творческие работы пошли на пользу. Мне кажется, именно тогда вахтанговцы приглядели совсем ещё юного Михаила Ульянова, впоследствии окончившего Щукинское училище, чтобы до конца жизни работать в прославленном театре. В этом театре сохранилось истинное искусство, не поддающееся соблазну спрятаться за шокирующими спецэффектами, которым заражены центральные, областные и брошенные на произвол судьбы городские театры, вынужденные вертеться на пупе, чтобы хоть чем-нибудь завлечь пресыщенного зрителя. Уверен, что на сцене Омской драмы никогда не будут поставлены псевдонаторские погрешности на потребу извращённой публике. Вахтанговская прививка бережёт театр от упаднической холеры.

А что касается моего опуса, его замылили, так и не поставив. Я, наступая на горло своим амбициям и обидам, продолжал служить ТЮЗу. И вдруг совершенно неожиданно в Омск приезжает не кто-нибудь, а главный редактор министерства культуры РСФСР, и я попадаюсь ему на глаза.

— Это вы написали пьесу «О тачанке и сибирских орлятах»? Я её прочитал, мне понравилось.

— Но постановку приостановили, — ещё лелея какую-то надежду, сказал я.

— Ну и что? Включение в репертуар — уже большое достижение. У других, как правило, не получается даже этого. Все сегодняшние знаменитости прошли через горнило невежества и зависти. Вы давно пишете?

— Пьесу написал впервые.

— Советую продолжать и руки вверх не поднимать. Только вперёд! И чтобы одна была лучше другой! А я попробую вашу «Тачанку» где-нибудь пристроить. В общем, нос не вешать. Будете в Москве — заходите в министерство.

Ну, я набрался нахальства и спросил:

— А если я насовсем в Москву перееду?

— А что, есть такая возможность?

— Да, там мой дом, мама, сестра.

— Ну тогда не тяните. Бросайте своё актёрство — и в столицу. Как переедете — сразу ко мне, буду рад видеть.

И у меня между лопаток закололо. Вот и не верь после этого, что у человека могут вырасти крылья. Есть же такие люди! И я от радости не пошёл, а побежал вприпрыжку, пытаюсь взлететь. Ворвавшись в дирекцию, мигом написал заявление об уходе.

Живя в одноместном номере омской гостиницы, я написал пьесу об испанском поэте Федерико Гарсиа Лорке, расстрелянном фалангистами. Сочинил я её на одном дыхании. В мой номер, когда за окном лютвала стужа, через открытую форточку залетел воробей, видимо, отогреться, да

так и остался жить до самого моего отъезда. Звали нового друга Гришаня. Сперва он стеснялся оставаться надолго: поклоёт, что я ему заготовлю, — и в форточку. Потом пообвыкся и стал себя вести бесцеремонно: то на плечо сядет, а то и на голову и начинает искать подкормку в ещё сохранившихся волосах. Перед отъездом я решил дать храброму Гришане жестокий урок, чтобы он усвоил, что человек может быть не только другом, но и врагом. Во спасение Гриши я решился на этот отчаянный шаг. Когда он, по обыкновению, сел мне на голову и стал перебирать волосы, я схватил его и сжал в ладонях. Никогда не забуду его удивлённые, наполненные ужасом глаза! Я, понимая, что прощаюсь с другом навсегда, с грустью сказал:

— Гришаня, прости, что пришлось тебя испугать. Будь впредь осторожен в общении с человеком.

Он пикнул несколько раз, и в его глазах заблестели слёзы.

— Счастья тебе, Гриша! — и я раскрыл ладони.

В одно мгновение он вылетел на улицу, сверкнув крыльями в лучах солнца. После этого я жил в гостинице ещё три дня, но он так больше и не прилетел. Видимо, моё дружеское предупреждение он принял всерьёз.

Ну а я, попрощавшись с театром и друзьями, уехал в Москву.

И вот я в своей родной Загорянке. На электричке и метро до Красной площади всего час. Думаю: «Доработаю пьесу о Лорке и поеду к главному редактору в министерство».

Протянул я месяца три. Всё казалось, что пьесе чего-то не хватает. Есть у меня такой пунктик: чего-нибудь напишу, даже самому нравится, а время пройдёт, бывает, и на другой день, как вспомнишь, какие гении с неба на тебя смотрят, стыдно становится.

Приезжаю в министерство, а мне говорят:

— Главный редактор по состоянию здоровья ушёл на пенсию.

Я позвонил ему домой. Он спрашивает:

— Давно приехал?

Я говорю:

— Три месяца назад.

Он меня пожурил, что сразу к нему не пришёл, и говорит:

— Завтра буду в министерстве. Приходи к одиннадцати утра.

Я пришёл заранее. Жду у его кабинета.

— Ну заходи, заходи, — на ходу бросил он, — что же ты сразу не пришёл?

— Я новую пьесу принёс, хочу с вами посоветоваться.

— Ну давай, давай, прочитаю.

— Она называется «Над всей Испанией звонят колокола» или «Плач гитары», не знаю, что лучше. О поэте Гарсиа Лорке.

— Ты что, в Испании был?

— Нет, только берега видел. Я на флоте служил.

— Понятно. Позвони недельки через две, я постараюсь вникнуть. Тогда и поговорим.

Я ушёл, а вскоре узнал, что он умер... Царствие ему небесное! С таким можно и в разведку, и под воду, и в космос, и мины тралить. От Бога был человек...

После этого я давал пьесу Борису Чиркову, вроде бы, ему понравилась. Думаю, роль каудильо пришлась ему по душе. Он сказал, что скоро приедет из-за границы его знакомый режиссёр, которому он покажет мою пьесу.

— Думаю, что-нибудь получится, — заверил он.

Я, конечно, смотрел на него, как на чудо. С детства стояло в ушах: «Крутится, вертится шар голубой...» — его Максим. А Махно с его «Любо, братцы, жить...» И вот он со мной разговаривает просто, я бы даже сказал по-дружески. Чем человек талантливей, тем он проще. Позвонил я ему домой.

— Режиссёр, — говорит, — ещё не приехал. А я сейчас на природе гулял. Такая красотища!

Так до сих пор и слышу его молодой и такой задорный голос...

Вскоре вижу газету в киоске, а в ней фотография в чёрной рамке. Не знаю, почему, но я сразу подумал о Чиркове и Чёрном человеке. Как зло шутит Воланд! Порчу нагоняет на желания. Хотя бы раз показался на глаза со своими краплёными картами! Не хочет. Привык анонимно подбрасывать людям горе.

С моим старым другом Олегом Потоцким, драматургом, актёром, режиссёром и поэтом, членом союза писателей, мы очень часто расходимся во мнениях о политике, и каждый отстаивает свою точку зрения, но в искусстве мы оцениваем всё по гамбургскому счёту. Он, конечно, прочитал пьесу и сказал:

— Есть актёр, который сможет сыграть Лорку. Актёр редкого дарования, настоящий романтический герой. Его, когда театр имени Моссовета был на гастролях в Париже, французы назвали русским Жераром Филипом. Фамилия его Бортников. Ему нужно обязательно дать почитать твою пьесу.

Я говорю:

— Я знаю такого.

Встретился я с Геннадием Леонидовичем и сразу почувствовал, что душа у него с Божьим подсветом, тонкая, интеллигентная. А он скромный, простой, пьесу взял.

— Через неделю звоните.

Звоню. Геннадий Леонидович говорит:

— Два раза прочитал. Если бы Завадский был жив, уверен, мы бы уже над ней работали. Пьеса интересная. Позвоните дней через пять, может, что-нибудь и получится.

Звоню.

— С театром ничего не получается, но есть шанс особый.

И даёт мне телефон знаменитой Маргариты Тереховой. Я позвонил.

— Да, я знаю, Гена мне говорил. Запишите телефон режиссёра на радио.

Звоню, слышу приятный женский голос.

— А, это вы? Терехова мне говорила. Привозите пьесу.

Я, не долго думая, прямо к ней на улицу Качалова.

— Позвоните послезавтра, я думаю, успею прочитать. У меня сейчас репетиция на репетиции.

Раскланялись, и я ушёл. Через день звоню.

— Приезжайте скорее. Пьеса мне понравилась. Спасибо Риточке.

Я на крыльях — на Качалова.

— Так, — с явным настроением сказала она, — как режиссёр хочу вас спросить, кого из актёров представляете в роли каудильо?

Я говорю:

— Бориса Чиркова, но он, к сожалению...

— Знаю, знаю, замечательный был актёр. Анну-Марию никто не сыграть лучше Маргариты Тереховой, это ясно... Лорку будет играть Бортник, Хозе...

— Может, Борис Новиков? — робко заметил я.

— А что? Может, неожиданно и получится. Подумаем. Но вот каудильо... Если б Евстигнеев согласился, тут философия, глубина нужна... Ладно, дальше видно будет. Попытаюсь. Сегодня же отдаю пьесу нашему редактору, и в путь.

Я, окрылённый уже, наверное, третьей парой крыльев, полетел домой. Выдержал паузу. Через неделю звоню.

— Отдала редактору в тот же день, но он что-то тянет, ни бе ни ме. Позвоните ему сами. Вот телефон... А я уже работаю. Теперь всё от него зависит.

Звоню я этому редактору.

— Я насчёт пьесы о Лорке.

— Вы автор?

— Да, вроде бы.

— Откуда появились? Ничего о вас не знаю. Хочу с вами познакомиться. Сможете приехать ко мне домой?

— Хоть сейчас. Часа через два буду.

— Запишите адрес...

Приезжаю. Редактор лысый, не поймёшь, рыжим он был или чёрным. Глаза весёлые, пузырятся, как шампанское.

— Здравствуйте, здравствуйте, проходите. А ко мне вот старый друг зашёл, — сказал он, обращаясь к явно интеллигентному человеку, немного смущённому моим появлением. — Представляешь, — и показывает на меня, — этот автор написал пьесу о Лорке. Никто его не знает и слыхом не

слыхал, а он взял и написал. Герой! Ты знаешь, я её прочитал на одном дыхании! Такое впечатление, что сам Лорка написал сам о себе...

И начал петь мне дифирамбы, дескать, талантливо, образно, самобытно, тонко, что чуть ли не сама Поэзия меня благословила, а Лорка приходил ночами во сне и помогал. Я сижу, пью чай, сам красный, как варёный рак.

— За чем же дело стало? — улыбнулся интеллигент. — Надо отдавать в работу.

— Конечно, конечно, — говорит редактор. — Только вот хотелось, чтобы тореадор сразу взял быка за рога и шпагой в самое темечко под восторженные крики публики и страстные взгляды красавиц! Вот я и подумал — веселей сделать премьеру на телевидении. Как вы считаете? — и смотрит бычьими глазами.

Я, конечно, этого не ожидал.

— Но режиссёр уже приступил к работе, — говорю, — роли, по-моему, уже распределил, и потом, я на телевидении никого не знаю.

— Зато я знаю. Проблем не будет.

— Неудобно перед режиссёром.

— Что она вам, родная? — обрывает он меня. — А может быть... — и делает многозначительную паузу. — Между нами, мужиками, признаётся. Бывает. Но высокое искусство превыше всего и требует жертв.

— Я с ней совершенно не знаком. Познакомился по рекомендации Тереховой, и отдать пьесу режиссёру попросила именно она.

Редактор надулся. Что-то скользкое с красноватым оттенком отразилось в его глазах.

— Да, у Риты изысканный вкус. Знаю, что она почти боготворит Лорку. Не могла со своей возвышенной душой отдать пьесу прямо мне. Вот так, дружище, — сказал он, обращаясь к интеллигенту, — так и стараются меня обхвать, хотя бы на недоеной козе. Знаменитостями стали. А после Тарковского с его «Зеркалом» и небо зеркалом стало! И на нём только одна звёздочка — Риточка — самый большой бриллиант во Вселенной. Так вот и живём, боимся лишней раз на солнышке погреться, — и он почесал лоснящийся лоб, посмотрев в висящее на стене зеркало.

Я невольно вздрогнул, мне показалось, что зеркало посмотрело на меня зелёными глазами.

— Пейте, пейте чай. С лимончиком, там витамины. Хотите яблоко? Коварный фрукт. Попадаются и яблоки раздора — чаще, чем дружбы и мира. Так как насчёт телевидения?

— Да неудобно как-то. Пьеса уже в работе.

— Послушайте, я вам дело предлагаю. А потом и театр заарканим. Я это возьму на себя. А уж потом и наше ветеранское радио. Согласны?

— Но как-то с моей стороны что-то вроде предательства получается. Нет, я на это не пойду.

— Слушай, — встрепенулся интеллигент, — да пусть будет радио. Я лично, как и Терехова, Лорку обожаю, и жена моя тоже. Если достойная пьеса, просто грех не поставить. После радио можно и на телевидении.

— Посмотрим, посмотрим, она и мне нравится. Я же об этом только и говорю. Написана ритмизованной прозой. Характеры объёмные, — обращаясь ко мне, редактор сузил глаза и посмотрел на меня, как из огневых щелей железобетонного дзота. — Жаль, что вы такой упрямый! У Лорки научились? Пишите-то давно?

— С детства. Правда, стихи.

— А, понятно, вы — поэт.

— Да нет, просто пытаюсь заниматься стихосложением. Болезнь какая-то, может, графомания. Но эти рифмы и ритмы, а главное, мысли закодированные в них, всю жизнь меня не отпускают. А поэтом человека можно назвать только лет через пятьдесят после смерти. А ещё лучше, через сто.

— Это что, серьёзно? — вытирая пот со лба, спросил редактор.

— Я так думаю.

— Идеалист!

— Уж лучше прах, чем памятник несовершенству.

— Всё гораздо проще: напечатали, прочитали, критики похвалили, появились поклонники — всё, родился поэт и даже, может быть, великий. И можно его при жизни в классики записывать.

— Я о поэзии. А в классики, не спорю, при жизни записывают, но очень редко попадают в цель.

— Это точно, — сказал интеллигент. — Слушай, а он в чём-то прав.

— Может, и неправ, но я так думаю, — сказал я, вставая из-за стола. — Только Бог и время, которым руководит он же, знают, кто истинный поэт. До свидания.

Редактор вылез из дзота своей души, чтобы проводить меня.

— Подумайте, — щели глаз раскрылись до предела, — я вам предлагаю блестящее начало. Можно сказать, с будущим фейерверком. За всю свою редакторскую жизнь я делал автору такое выгодное предложение не больше трёх или четырёх раз. Так что подумайте, позвоните, — и он за улыбался формальной служебной улыбкой.

В зеркале на стене отражалась его лысина. «Не поймёшь, из рыжих с кнутом или от того, кто приходит к гениям перед смертью», — подумал я.

— Думайте, думайте, — повторял он, — и дня через три позвоните. Буду ждать. До встречи, — и он раскланялся.

Не знаю, почему, но я увидел в нём что-то лакейское. Ему бы лампы на штаны и швейцаром работать. Но коллеги и там бы его не любили. А уж на флоте — не приведи, Господи. К счастью, там таких я ни разу не встречал. Может, слишком беспощадно вынес я ему свой приговор, но ушёл, все-таки не теряя надежды. Всё-таки редактор с огромной практи-

кой, он лучше знает. Может, договорится со своей коллегой. Если она согласится — другое дело. Через день позвонил Бортникову, рассказал обо всём. Тот меня успокоил:

— Ничего страшного, подождём. Очень важно, что режиссёру нравится. Она мне звонила, так что пока всё в порядке.

Ещё через несколько дней я позвонил режиссёру.

— Вы знаете, — сказала она, — молчит, ничего внятного не говорит. Вы что-нибудь сказали? Он у нас обидчивый.

— Ну, что вы.

— Я пыталась выяснить, спросила: «Вы прочитали?» А он: «Читаю, читаю», и что-то промывчал, мол, политика дело серьёзное и опасное, а тут международная тема, но он постарается всё сделать, чтобы пьеса прозвучала в эфире. Позвоните ему сами.

Звоню редактору. Радостный, приподнятый голос:

— А, это вы, Вадим Геннадьевич! Надумали? Умница. Давайте встретимся. Я на телевидении уже забросил сеть. Значит, договорились.

— Я вам очень благодарен, — говорю, — но давайте всё-таки ставить на радио...

— Вы опять за своё?

— Да, я иначе не могу.

— Ну хорошо, позвоните недели через две, у меня тут новая, по-моему очень интересная, работа, — и повесил трубку.

Звонил я ещё несколько раз. Позвонил режиссёру.

— Очень сожалею, но пьесу он отложил в долгий ящик, хотя и обещает дать в эфир. Я сама расстроена. Позванивайте, всегда буду рада.

В последний раз, когда моё терпение было уже на пределе, так и хотелось послать его на минное поле чёрных угрей ловить. Он мне официально-фальшивым голосом объявил:

— Хочу вашу пьесу на экспертизу послать и обязательно постараюсь в этом году. Повторяю, пьеса хорошая, но сейчас я не могу рисковать, немножко потерпите. Я ещё раз её прочитал. Там политка у вас на ножах. В следующем году звоните весной, нет, лучше осенью. Творческих успехов, — и повесил трубку.

Так и замылил служитель в высоком храме искусства и культуры творческий порыв режиссёра и актёров, я уже не говорю о своём. «Ну, — думаю, — рыжий, только с плешью и без бороды. Наверняка член КПСС. Это же ум, честь и совесть нашей эпохи». На такую должность беспартийного не поставят. Как на флоте: будь ты хоть Магелланом, Колумбом или Крузенштерном, помноженными на Ушакова и Нахимова, знай назубок всю навигацию, пальцем определяй координаты корабля в открытом море, но если ты беспартийный — хода в капитаны нет. А если партийный — можешь напиваться и корабль на мель посадить — путь в капитаны открыт. Ну что можно глупей придумать? Уж про ум-то хотя бы молчала КПСС! А в начальственных кабинетах столько конопатых хмырей — и не

сосчитать! Хвосты свои в штаны попрятали, но рога-то не спрячешь. Если присмотреться к этим персонажам Салтыкова-Щедрина, сразу видно, как тёмно-багровые пятна выступают у них на лбу, а сами рога повёрнуты внутрь, поэтому и хронический застой в мозгах. Не верите? Присмотритесь сами — и увидите. Есть и такие, что переняли не самые лучшие качества Черчела, и им кажется, что движением их мизинца решается судьба человека.

После всех этих событий настроение у меня было — хоть самому на минное поле. Немного отлегло, когда я совершенно неожиданно встретил возле редакции газеты «Гудок» Бортникова. Он был печален и, глядя на меня своими умными глазами, сказал:

— Не расстраивайтесь. Вы написали пьесу, которую можно будет ставить и играть и через пятьсот лет.

Я-то понимал, что это он из-за доброты душевной говорит. Знал, что он прекрасно читает классические стихи со сцены, и сам пишет, и ещё занимается живописью. Талант есть талант. Им Бог наградила замечательного актёра Юрия Богатырёва, потом подумал, не слишком ли жирно для одного, и забрал на небо, чтоб рыжие и чёрные ему своей завистью не мешали.

— Вот так у нас бывает, — сказал Геннадий Леонидович, — я постарался выяснить все перипетии с вашей пьесой. Оказывается, наш несравненный редактор то ли влюблён безответно, то ли просто завидует. В общем, ненавидит он её и всё время старается вставить палки в колёса. Говорят, это уже не первый раз. Не падайте духом. Может быть, мы ещё ударим в наши колокола. Звоните, буду ждать.

И он ушёл своей светлой дорогой.

Звонить редактору я больше не пытался. «Ну, — думаю, — и ладно, не я один в мире живу с теми, кого давно надо гнать из храмов. У меня же есть моя поэзия, где решаем только мы с ней, что от Бога, а что от Воланда. А в других видах искусства всё от очень многих людей зависит и от случая.

Вот мой друг, Олег Потоцкий, играл у очень известного и талантливого режиссёра Юдина (фильмы «Девушка с характером», где блистала Валентина Серова, «Сердца четырёх», где она же и Людмила Целиковская, «Близнецы», где Михаил Жаров и Константин Сорокин). Но главный фильм — «Смелые люди». Название, как говорят, придумал сам Сталин. В этом фильме Олег играл с Сергеем Гурзо, Черновой, Мордвиновым, Ростиславом Пляттом. Фильм имел такой успех, что даже трудно себе представить.

Режиссёр к Потоцкому относился с любовью. Но случилось неслыханное. На съёмках очередного фильма оказалось, что актёр, игравший одну из ролей, побаивается лошади. А, надо сказать, Юдин лошадей обожал. Он подошёл и сказал актёру: «Чего ты боишься? Это самое умное животное. Смотри, как мы с ней поцелуемся», — и стал медленно прибли-

жать лицо к лошадиной морде. Чего лошадь испугалась, не знаю, — на съёмочной площадке всё могло случиться, — но она неожиданно схватила Юдина за лицо и сняла скальп до самых костей. Режиссёра не спасли, он умер.

У Олега произошёл крутой поворот. Да, он писал пьесы, был ведущим актёром во многих театрах, играл в студии Театра киноактёра, участвовал у Герасимова в постановке «Молодой гвардии», играл в спектакле, где был занят Сергей Бондарчук, а также Нона Мордюкова и Сергей Гурзо (они тогда были ещё студентами ВГИКа). Борис Андреев к нему относился с почтением, и, главное, Константин Юдин благословил... Но трагедия всё изменила.

А Лев Машлятин, последнее время работавший хударком уникального театра теней в Москве! Он был любимым учеником Николая Охлопкова, выдающегося мастера театра и кино, к тому же одарённого истинным чувством юмора. Одно время его назначили замминистра. При встрече кто-то из друзей сказал:

— Коля, никак не могу представить, что ты замминистра.

Охлопков, напустив чиновничью важность, ответил:

— Я играл не только рабочих, но и королей, а тут, подумаешь, какой-то замминистришка! — и засмеялся.

Ещё на флоте мне пришли в голову вот эти строки:

Играют министров, вождей, королей,
Играют артистов сто тысяч ролей!
Играют поэтов, творцов иногда, —
Сыграть человека нельзя никогда.
Играют и Бога, когда нет стыда...
А быть человеком опасно всегда —
Нежданной врывается в радость беда.
Осилить, пройти через стужу и зной,
Идти за несчастных в рискованный бой.
В богатстве и славе остаться собой
И верить до смерти в беспроектный бой.
Быть только собою, ролей не играть
И истину в мире от лжи защищать.
И пасть за невинных в неравном бою,
Любить, не промолвив ни разу: «Люблю!»...

Я просто не имею права не сказать добрые слова в адрес Юрия Мефодьевича Соломина. После всех происшествий с пьесой о Лорке я обратился в Малый театр к Соломину, зная, что пьеса с моими испанскими фантазиями не совсем подходит театру с его замечательными традициями ставить в основном русскую классику. Два слова приводят в трепет — Дом Щепкина — академия с дореволюционным стажем. И я бы несколь-

ко не удивился, если бы Соломин даже не взял пьесу в руки. Но он встретил меня очень приветливо, просто, без тени высокомерия, с какой-то, по-видимому, врождённой тактичностью, взял пьесу и быстро-быстро её прочитал. Буквально через несколько дней мы встретились. «Да-а», — скажете вы. «Да, да», — скажу я, на то он и настоящий художник. Он разумно и точно сделал мне кое-какие замечания по пьесе и, как мне показалось, очень в душе о чём-то переживая, сказал:

— Пьеса мне понравилась, но в данный момент она не очень впишется в репертуар, — и, посмотрев на моё грустное лицо, добавил: — Завтра я лечу в Ереван. Хотите, я передам пьесу Ереванскому театру? Они там любят героическое, романтическое и неожиданное. Если хотите, я предложу.

Вот она опять, та самая примета. Все мы знаем, что Юрию Мефодьевичу Соломину, как и Николаю Губенко, пришлось послужить в ранге министра культуры, после чего был развеян миф, что министрами могут быть исключительно прожжённые чиновники и приспособленцы.

А Машлятин после ГИТИСа работал у Охлопкова ассистентом. Мастер планировал ставить с ним классику, но неожиданно умер. И опять все чаяния и планы под откос. Скажете: воля случая? — согласен. Но все случаи от Бога, и ничего не поделаешь. Вот сейчас, по дороге домой, может случиться всё что угодно.

Придя домой, я сразу обратил внимание на книжный шкаф. Было видно, что его кто-то открывал. Но кто? Целый месяц я живу совершенно один. Что-то непонятное и тревожное закружилось в мыслях. Взглянув в окно, я увидел, как ночь обволакивает вечер. Моя настольная лампа своим абажуром из зелёного стекла старалась поймать последние лучи заходящего солнца. Включив её, я распахнул шкаф и достал старинную книгу «Тайны Вселенной и их разгадки». На обложке были вытеснены стрелки часов, но они стояли, а вокруг, вы не поверите, вращалось колесо времени со всеми знаками зодиака. Книга, вздрагивая, вырывалась из рук, её побуревшие в морщинах листы шуршали, не скрывая раздражения. Расшуршалась старушка, и чего ворчит? Старостью недовольна. Нет чтобы Богу спасибо сказать, что не сгорела, не стала макулатурой и не сгнила на свалке...

— Послушай, юнга! Не надо из меня делать дурочку и злючку, — запричитала книга. — Я тебе не шушара и, тем более, не макулатура, которой завалили страну и засорили мозги! Я — хранящий только разумное фолиант, во мне вращается колесо времени. Кто не читает меня и не старается понять, а смотрит, как на потешную карусель, того колесо давит всей своей тяжестью, а ошмётки выбрасывает на раскалённый транспортёр. Ну а там уже поджидают сотрудники Гадеса, — и, перестав шуршать, она проникновенно зашелестела: — Москвичонок, это я — Черчел.

Найди скорее тринадцатую страницу и открой. Я по тебе очень соскучился. А что ты там делаешь?

— Да просто переутомился и заснул, читая этот поучительный философский трактат.

— Ну чего ты тянешь, юнга! Листай! Ладно, я найдусь и без тебя. Отпусти, — загнусавила книга и, рванувшись, выскользнула из рук.

Её морщинистые листы затрепетали, и пыль, поднявшись до потолка, стала оседать на абажур. Я не успел заметить, как страницы превратились в крылья. Книга раскрылась, и из неё выпорхнул Черчел. Сделав круг, он встал передо мной во весь рост. На пиджаке его сверкающего белизной костюма вместо верёвочного узла красовалась брошь, где на чёрном фоне в голубом сиянии вращалась Земля, над которой на золотом колесе восседал осьминог, удерживающий щупальцами спятившие ракеты и сбжавшие из психушки бомбы.

— Тебя заинтересовала брошь? Её на юбилейной Всемирной Конференции параноиков вручил мне сам Воланд. Ты абсолютно прав: случайностей не бывает, и все случаи под контролем. А чтобы выбор человека падал туда, куда нужно нам, мы изобрели рекламу, которая поощряет стяжательство и свращает всех и вся. Главное — внешний вид, неважно, что внутри, а мы уж позаботимся об упаковке!

— Да, я знаю, на это поддаются все, особенно молодёжь. У меня есть знакомый молодой человек, очень вежливый, здороваётся издалека. Так вот только за лето я встречал его с разными девушками, которых он сменил не менее пяти, одна красивее другой. А к осени смотрю, шестая появилась, тоже красуля — глаз не отведёшь. На другой день встречаю его одного: «Ну, уж на этой точно жениться будешь?» «Да что вы, Вадим Геннадьевич, я ж не на помойке родился! Бывшие в употреблении мне не нужны. Жена должна быть целомудренной, от неё парным молоком с розами должно пахнуть, а не табачищем со спиртным перегаром нести».

— Ты смотри-ка, и этот парфюмер, — проямлил Черчел и захихикал. — Ну и что дальше-то? Продолжай.

— В общем, стал он исповедоваться: «Не везёт мне! Это надо же — за лето пять штук проверил — сплошной брак! Кто-то до меня все сливки слизал». «Ну а эта, которую я вчера видел, уж больно хороша!» «Не спорю, для временного пользования сгодится. Жаль, что «б/у», но это она сама виновата — мозгами надо шевелить, а не клевать на мужицкую пропаганду». «Ты хотел сказать — кобелиную?» «Ну что вы, Вадим Геннадьевич, всегда так было: переспать можно и с «б», а жениться только на честной. Хорошо, что бабы нашего правила не знают. А потом, у нас равенство, и ведь не все же дуры... Правда, умных становится всё меньше. У моего дружка очередная партнёрша под электричку бросилась — типичной ханжой оказалась. Но дур не сеют и не жнут, они сами рождаются».

— Какой умница, — восторженно загнусавил Черчел. — Он явно не глуп, поэтому и усвоил наши рекомендации. Помнишь нашу встречу на

Садовом, недалеко от особняка Берии? Ты, конечно, не знаешь, сколько душонок клюнуло на мои рекламные предложения? Я уже давно не ношу светящийся обещаниями костюм, а они всё рвутся и рвутся в мои объятия. Сейчас покажу тебе свеженький рекламный трюк.

Черчел включил фен и начал укладывать волосы, закручивая в кольцо каждую прядь, затем, вскинув руку, достал из воздуха флакон духов и стал брызгать на закольцованную причёску, на лоснящиеся щёки и на лацканы пиджака. И снова едва заметное облачко, смешавшись с пылью, осело на зелёном абажуре.

— Москвиченок, чувствуешь, какой необыкновенный аромат издают духи нашей самой престижной фирмы? Запах редчайших цветов с брызгами Ниагарского водопада. Это благоухание, усыпляющее бдительность самых успешных банкиров и нефтяных магнатов! Ну, что ты на это скажешь?

— Да, запах оригинальный.

— Ну и что же ты унюхал?

Я поморщился:

— Что-то среднее между навозом, розами, настоянными на коньяке и потом загнанного жеребца.

— Смотри-ка, с какой точностью ты определяешь композицию! Да у тебя тоже талант парфюмера! Так вот, эти изысканные, но безнадежно забракованные тобой духи под романтичным и притягательным названием «Хочу замуж за миллионера» было бы невозможно продать и за копейку, если бы не наша реклама! Она не только двигатель с форсажем, но и феерическая колдунья с театральным фонарём, освещающим исключительно то, что нужно нам. Это ни с чем не сравнимое изобретение Его Сверхвеличества! Это вдохновенное прозрение великого первооткрывателя и стратега! Представь себе, идут люди по городу, а вокруг стеклянные стены витрин, через которые видно всё. Над широко раскрытыми дверями — гирлянды неоновых лампочек освещают заманчивые призывы, написанные огромными буквами: «Рай на Земле!», «Бери от жизни всё!», «Нанотехнологии решат Ваши проблемы!», «Живые устрицы, пишущие от боли под скрежет Ваших зубов!», «Лучшие повара — специалисты по кайфу и смаку — работают только для Вас!», «Зайди, и все твои желания исполнятся!», «Выбросьте комплексы и ханжеское целомудрие на помойку исторических заблуждений!» Ну как, юнгашонок, сюжетик вроде бы ничего?! Ты, конечно, знаешь, что Шекспир назвал весь мир театром, а людей — актёрами. Но ты не знаешь, что он сказал перед самой смертью! Он сказал: «Когда люди на сцене или на трибуне, они играют гораздо лучше, чем в обыденной жизни, иногда даже гениально». Уильяма любил и любит Всевышний. Его душа, раскрытая настезь для всего человечества, конечно, этого заслуживает. А теперь продолжим постановку спектакля, где все персонажи играют самих себя в предлагаемых обстоятельствах. А что ты молчишь? Можешь не отвечать, я и так знаю,

что молчание — знак согласия. Ну что ж, продолжим. Всё движется по заданному сценарию.

Стёкла витрин начинают дребезжать. Это заиграли кудлатые музыканты. В их прокисших глазах дёргаются и гремят децибелы. И вот уже всё подпрыгивает и трясётся. Тут возможно не только сотрясение мозга, но и сдвиг обоих полушарий с разумной орбиты, что чаще всего и происходит. А за стеклом на прозрачных столах стоят диковинные бутылки, которые сам Вакх наполнил заграничными винами. Некоторые бутылочки с талией молоденькой осы нежатся на сене из высушенной залётной травки. В огромных золотых чашах с нашей пробой — шашлык из нарвала под белужьей икрой, копчёные глаза бегемота, печень новозеландской гаттерии, рагу из фугу и маринованных омаров... Всего не перечислишь! А на сладкое... на сладкое — что-нибудь голенькое в нижнем белье из сливочного крема: красотки разных калибров исполняют не только танец живота, но и демонстрируют изошрённое мастерство в показе магических мест, от которых у мужиков возникает слабость в коленках и дрожь во всём теле, после чего все женщины, точёные и пухленькие, как сдобные булочки с изюмом, высокие и не очень, спокойно надевают на вертящихся у ног захмелевших кавалеров строгие ошейники с поводками, а главное, железные намордники.

— А тебе, юнгаш, не приходилось вилять хвостом и подставлять шею под седло какой-нибудь красавицы? — и, засмеявшись своим тошнотворным смехом, он добавил: — Не отвечай, я и так всё знаю. Всё! Даже то, о чём бояться думать во сне, не то, что говорить. Потому что, когда начинается очумелый пир за счёт ограбленных и обездоленных, пир, окружённый трупами бомжей, сопровождаемый плачем предательски обманутых женщин и бездомных детей, неизбежно возмездие! Но это, к нашей великой радости, знают не все, поэтому и упиваются низменными страстями до умопомрачения. Вот здесь-то и попадают загулявшие души на крючки. А после экстаза приходит прострация, в которой пребывают такие толпы народу, что их приходится ловить сетями, иногда не без помощи браконьеров. Но доверять им особенно нельзя, ведь у них полностью перевёрнуто мировосприятие, и в их крючковатых сетях часто гибнут совершенно невинные души. Эти «рыболовы» омерзительны, в Гадесе их запминают поимённо! Как всегда, подручные Барбаросика перестарались и выкачали из них почти весь ум. Зато они совсем не боятся ада, решив, что между ним и раем нет никакого различия. Представляешь, какой праздник нас ожидает, когда эти упыри поймут, а точнее, испытают на своей шкуре возмездие Гадеса! Такое зрелище достойно золотого пера с неподдельной пробой!..

А между тем столы за стеклом витрин начинают пустеть. Под оголтело дребезжащую музыку очередные профкрасотки делают стриптиз, и все видят, как в самое интересное место вползает татуированный свиной солитер или аскарида, сбжавшая с бриллиантами от жука-толстосума. За-

тем на подиум почти на карачках влезает нагловатый молодец с подрисованной мускулатурой Тарзана и осоловелыми глазами Читы, самой умной обезьяны в мире, и, оголившись, начинает трясти всем, за что можно ухватиться или хотя бы погладить. После истошных визгов и подобострастных вздохов дам и типов, совсем не похожих на мужиков, под овации с выкриками «бис» и «браво» уже несколько «голышей» с вытатуированными на лбу рогами выносят на руках взмыленных профурсеток, и начинается всеобщее раздевание всех присутствующих... Ну и как ты на это смотришь, москвичонок?

— А я стараюсь не смотреть, чтобы не вырвало.

— Неужели не появляется желание, и ты не ощущаешь магию, исходящую от эrogenных зон? Скажи, и я закажу тебе кого угодно. Нельзя же лишать себя удовольствий!

— Но вы же не можете заказать любовь!

— Конечно, нет. Я же не Бог. От любви и я бы не отказался. А Воланд вообще только об этом и мечтает. А черти подсовывают такие вот экземпляры. Да они и сами лезут через любое отверстие и клянутся Его Сверхвеличеству в преданности и бескорыстной любви. Пустоголовые куколки, они же не знают, что его обмануть нельзя. А девушка из редакции, в которую вы были влюблены!

— Я?

— Вы оба! А разве нет? Да, она нас удивила. Неопишуемая красавица, а душа ещё красивей. Достойная женщина! Не поддавалась никаким соблазнам, чего только мы ни предлагали. Любовь ей, видишь ли, подавай. А у нас таких полномочий нет, они только у Всевышнего! Вот и я живу бобылём, вернее, существую... Зато время подчиняется мне, ну и Воланду, конечно. И пусть власти у него побольше, чем у меня, но заставить избранницу полюбить его он не в силах, поэтому до сих пор и одинок.

«Теперь понятно, почему они бывают так жестоки: все подчиняется им, кроме любви», — и мне стало их жалко.

— Вам можно только посочувствовать, — сказал я и почувствовал невыносимую грусть.

— Ну вот ещё, а грустить зачем? Посмотри мне в глаза. Видишь, какая там зелёная тоска? Но я не унываю, а Воланд тем более. Без любви можно жить, а вот без потехи — мозги засохнут. Представляешь всё это сборище претендентов на райскую жизнь?! Они поднимают бокалы, пьют на брудершафт, целуются со всеми подряд и приступают к пожиранию пока ещё не друг друга. Но стоит мне вскинуть руку и крикнуть: «Фас!»... Ну, ты сам знаешь, что произойдёт. А пока они увлечены едой, доступной только сливкам общества, и очень этим гордятся. От самообожания и зазнайства их щёки раздулись и стали ярко-красными, как седалищные мозоли у павианов.

И в этот момент ведущий — затейник с рыжими веснушками на лице — под барабанную дробь и звон литавр торжественно объявляет:

— Специально для смакующих гурманов, самых продвинутых и совершенно свободных от комплексов благородного воспитания и высокой культуры — живые устрицы из-под дождя в сметанном соусе! Уникальный расплод, взращённый при помощи нанотехнологий!

И сразу же все набрасываются на этих обречённых мягкотелых созданий, лежащих в огромных хрустальных салатницах на подносах из чёрного серебра. И ведь каждый думает, что он самый продвинутый, совершенно свободный от комплексов человеческой морали! И вдруг, когда обжираловка доходит до пика, после которого обычно начинается заворот кишок, раздаются вопли негодования опьяневших от дармовщины гурманов.

— Почему устрицы такие мелкие? И почему не пищат? Они что, полудохлые?

— Да они давно окочурились!

— Господа, они делают из нас идиотов, мы же с вами знаем: когда устриц едят, они пищат!

— Всё живое пищит! Кто этого не знает? — орёт затейник. — Вы ещё будете нас учить!

И тут дармоедов словно прорывает, и они наперебой начинают вопить:

— Где хозяин?! Мы требуем хозяина!!!

— Мы не помоечники какие-нибудь! Я, между прочим, на баррикадах стоял за свободу и демократию!

— За лохов нас держишь?! Где твой хозяин?!

— Давайте выйдем на улицу и перекроем движение! Вам это вылезет боком!

— Мы не скрюченные старушонки и не склерозные хрычи на палочных подпорках! Немедленно приведите хозяина!

— Хозяина сюда!!!

— Спокойно, господа, спокойно, — массовик-затейник прыгает из стороны в сторону, время от времени принимая боксёрскую стойку. — Как я могу привести хозяина? Он что, заключённый? А как же права человека? Он свободный гражданин и, как все, обладает правами! Вы что, против демократии?! Сталинского режима захотели?! Секретарей-прокураторов?! Забыли, сколько поуничтожили бериевские саграпы? — и, протерев микрофон платочком, чётко, чтобы все слышали, орёт: — Гер начохрани!

— Слушаю-с, — слышится в динамике.

— Говорит ведущий проекта. Приготовьтесь к боевой тревоге! Будьте начеку!

Пижон с серьгой в ухе, поддерживая провисший живот, осипшим с перелоя голосом хрипит:

— Господин ведущий, зачем охрана? Здесь действительно рай, и нас всё устраивает. Правда, господа?

— Какая правда? Ты что, свои мозги съел, а брюхо не переваривает?

— Сперва нужно выяснить, если устрицы живые, почему они не пищат? Господин ведущий, скажите, они живые или нет?

— Живые, живые, только наш хозяин недавно разогнал отдел санитарно-паразитологического контроля, а генерального гельминтолога, крупнейшего специалиста по червям, решил отдать под суд. Шеф у нас сварен вкрутую и действует всегда жёстко и решительно.

— Но если живые, почему молчат? И вообще, при чём здесь черви? — робко переспрашивает пижон.

— Да при том, что это не устрицы, а острицы!

— Глисты?!

— Они самые. Повара опять отмочили. Им что ни подсунешь — всё приготовят. А менеджеры — дилетанты. Решили, что заведовать общепитом может каждый, а оказалось, что умение чистить картошку — это ещё не всё. Не знаю, какие ухватистые дистрибьюторы сбаврили им этих тварей, но за доставку пришлось платить с процентами. Да вы не переживайте, наш шеф всю эту шайку уже пустил в расход. Благо, сейчас некому заступаться за лоботрясов. Хозяин решает, хозяин принимает, хозяин платит, и он же, никого не спрашивая, может любому дать пенделя!

Роптание обманутых и лишённых аппетита масс снова нарастает, уже слышатся всякие непристойности.

— Вы заткнётесь или нет?! — ревёт ведущий. — Вы же сами не разглядели, что у этих тварей пасть с тремя губами! Вот и влипли, а надо быть начеку. Сами виноваты, и нечего на нас наезжать.

— Ещё и обвиняет! Да он настоящее хамло, — вопит дама с повисшими до пупка сосками обнажённого бюста.

— Но, но, но! Попрошу без оскорблений. Я за это в суд...

— Судом пугаешь?! А ничего, что ты нас аскаридами или, как их там, острицами накормил?!

— Спокойно, мадам, спокойно! Объёмами вашего аппетитного тела можно было бы и с червячками поделиться. Многие элитарные особы, чтобы похудеть, специально запускают глистов в пищеварительный тракт. Люди деньги платят, ещё какие! А вы возмущаетесь. Бедные, между прочим, изо всех сил стараются поступить на работу в Институт паразитологии на мизерные оклады, лишь бы поближе к науке и её практическому применению. На тайские таблетки денег не жалеете, а там личинки этих милых, всегда голодных очаровашек!

— Как вам не стыдно? — зашумела слегка потёртая дамочка с надувной грудью и кольцом в носу. — То таблетки из куриного помёта от ожирения, то крысиная моча от выпадения волос! Вместо жилья жульё покупает фешенебельные замки. А нам вместо устриц — глистов подают! Трутни ненасытны! Аферисты — на государственном уровне! — Войдя в раж, она уже не выбирает слов: — Мы что, с голода пухнем, чтобы жрать

всякую гадость?! Да за это убить мало! Мы что, из блокадного Ленинграда сбежали? Нет, я этого так не оставлю!

Затейник вскидывает руку, обросшую рыжими волосами.

— Молчать! — лает он. — А ну без истерик! — Когда толпа притихла, он продолжает: — Не забывайте, в нашем «Раю» всё оплачивается не из вашего кармана. Ну случаются иногда казусы. И на старуху бывает проруха. А вы, дамочка, вытащили бы кольцо. Вы же женщина, а не племенной бык. И не надо волноваться! Острицы были тщательно промыты под дождём, и запах кала совершенно отсутствует.

И тут белокурая шалава с нарисованным на пузе жуком-мертвоедом разевает размазанный рот, засовывает туда два пальца и свистит так, как свистал Соловей-разбойник, пока ему Илья Муромец глотку не заткнул.

— Я эту фифу сразу узнал: всё на панельный роман с Воландом напрашивалась, да и со мной была не против. Но у неё такие запросы! За каждый миллиметр своего отутюженного тела требовала столетний бюджет всего Гадеса! У неё напрочь отсутствует чувство меры, и мы с Его Сверхвеличеством дали ей от ворот поворот. Но она не растерялась и залезла в кроватку к конопатому. Ну а Барбаросику очень хотелось казаться благородным, он ведь считает себя непризнанным гением, поэтом, идущем в авангарде. И он, использовав свои давние связи, по простоте душевной познакомил её с высшим светом.

— И она, конечно, не растерялась?

— А ты как думал?! Такие не теряются. А вот ведущий «райского» проекта от такого неожиданного визита растерялся и, вытирая вспотевший лоб, начал было выдавать дифирамбы:

— Мадам...

— Что?! — и у шалавы багровеют щёки. — Вы что, не знаете, что я не замужем?!

— Но в газетах...

— Вы ещё читаете эти отстойники сплетен?

— Извините, мадемуазель, я поражён вашим талантом! Ваш свист — это произведение искусства! Если бы так пели соловьи!..

— Я это слышала тысячу раз.

— Ваше появление, мадемуазель...

— Появление? Что вы хотите сказать?

— Но мадемуазель...

— Захлопни пасть, говорун. Мы не во Франции. Тебе маклаком работать, а ты лезешь в высшие сферы.

— Мадемуазель, я только хотел...

— Что?! — и она завывает так, что её низкий грудной голос уже нельзя отличить от мычания целого стада коров. То бляя, то мыча, она изливает поток оскорбительных слов, из которых я не смогу повторить ровно ни одного...

— У моего Барбаросика и то нет такого запаса жареных на гное ругательств, хоть он и собирал их вместе с объедками с дикторских столов после каждой пьянки властителей эфира.

В наступившей тишине слышно, как холёные претенденты на райскую жизнь, сплёвывая недожёванных остриц, лезут под столы, чтобы проблеваться. Разъярённая светская львица, в которую при помощи продажной прессы превратилась эта ведьма, переведя дух от собственной ругани, снова идёт в психическую атаку. Ну а то, что за ней стоят лохматые лапы и неслышанное состояние, знают все, поэтому никто не решается сказать слово поперёк. Вспрыгнув на стол, она вдруг становится похожей на лагерную овчарку.

— Послушай, ты, массовик-затейник теле-радио-канализации вся страны! Что, не узнаёшь меня?

Тот моментально сменяет стойку боксёра на стойку суслика с покорным взглядом, выдающим готовность слизывать сортирную пыль с любых мест великосветской пройдохи

— Мадемуазель, извините, вы без сопровождения? Я сразу подумал, что это вы, но не мог поверить. Почему вы без охраны?

— Потому, что дарю своим людям не только право на труд, но и на отдых, более того, обеспечиваю кормёжку почти на президентском уровне, и всё, что падает со стола, принадлежит только им — у нас демократия. Кстати, и лечение за счёт моих скромных сбережений...

— Вот так, юнгаш, и протекает ваша жизнь. Конечно, откуда этой шлюхе знать, что ещё в Древнем Риме рабов кормили и лечили бесплатно и очень переживали за их товарный вид. Но патриции Рима и в кошмарном сне не могли представить, что со дна трудящего демоса всплывут моральные уроды, которые, надев белые тоги, возомнят себя небожителями и станут навязывать своё уродство всему человечеству. Она же не знает, что такое демиург, а ты вот знаешь, и затейничек знает. Не знает он только, что душонка из него давно извлечена, вырезана, причём совершенно безболезненно. Он даже ничего не почувствовал. Анестезия Его Сверхвечества уникальна, и превзойти её не удалось никому.

— Да как же он живёт без души?

— Ты что думаешь, он такой один? Гораздо хуже, когда она умирает постепенно, а человек живёт! Душа разлагается, ну а в запахах ты разбираешься, как настоящий парфюмер. В нашем случае хотя бы не пахнет, и на том спасибо.

— Она что, уже в Гадесе?

— Ну зачем спешить?! Она выставлена на аукцион, но её ещё никто не купил. Каждый чёрт хочет купить товар по дешёвке. Если массовика не закопают живым, и он умрёт своей смертью, то Воланду придётся снижать цену. Ну тут уж какому чёрту как повезёт. Бывает, доходит до драки. Знаешь, как смешно, когда они таскают друг друга за рога! От этого у нас даже повышается аппетит.

Ну а шалава смерив маслянистым взглядом бездушного массовика-затейника, принимается его воспитывать.

— Что же вы такой нерешительный, не можете дать достойный отпор дармоедам, меня не узнали, реверанс делать не научились? Ведущий должен уметь всё — если потребуется, то и родить, за баснословные деньги, конечно. Учись, затейничек, учись. А сейчас ты просто трус и перестраховщик!

— Мадемуазель, извините, мы не знали, что Вы удостоите нас чести. Вы, как всегда, непредсказуемы и появляетесь совершенно неожиданно.

Небрежно поправляя драгоценные погремушки в ушах и на шее, великосветская дама с нескрываемым презрением, и едва сдерживая мат, говорит наконец на человеческом языке:

— Очень плохо забывать о своих служебных обязанностях. Ваш долг — ловить на лету информацию о моём перемещении.

Ведущий, конечно, знал, что перед ним обыкновенная занюханная потаскуха, но он также знал о её мохнатых связях с огромным криминальным наследством и дарственными астрономическими размерами, поэтому слушал её, вытянув шею и с прогнувшейся спиной.

— Ты кому служишь, массовичок-затейничек? — продолжает она. — Решил, если мелькаешь, как назойливая навозная муха на экранах телевизоров, то всё дозволено?! Но мы же можем и переплатить и открыть новый счёт, и ты прямо с экранов полетишь на рыбацкий крючок, чтобы стать кормом для оголодавшей рыбы. Кто дал указание сдать нас на съедение острицам? — тут она вскидывает руку, и, стараясь скопировать мои жесты и мой голос, орёт: — Говори, или тобой займутся мои люди, а они стреляют с плеча без промаха.

— Это случайность! Да как мы могли! О вас знает вся страна, да что там страна, перед вами преклоняется весь мир. А что ваши бесценные мозги будут сохранены в США для потомков, писали все прогрессивные учёные, это будет прорыв в новейшей области крионики! Ну а счета оплачены вперёд на тысячелетия вашими богатыми поклонниками!

— Замечательно, что ты это знаешь и иногда можешь сортировать свои мысли. Но ты так и не сказал, кто пытался сделать из нас инкубаторы для остриц?

— Это всё случайность, мадемуазель, нелепая случайность...

— А мы проверим. У нас свой следственный отдел и отлично слаженная инспекция.

— Проверьте, и вы убедитесь, что это случайность...

— Проверим, проверим, — говорит львица со скучающим взглядом, — обязательно проверим, — тут она зевает всей пастью и, скрежеща зубами, рычит: — За такие случайности можно и четверговать: голова и конечности в одной упаковке, и все детали по отдельности. А сейчас вам всё-таки придётся продемонстрировать мужество, а главное патриотизм и вер-

ность в служении нашему Отечеству и отведать дорогостоящих остриц из-под дождя.

— Мадемуазель, пожалейте, у меня дети!

— Зачем вам дети? — щёлкнула зубами хищница. — Вы же взяли от жизни всё!

— Мадемуазель, не губите, я теперь лично буду снимать пробы! Если я заболел, то буду сразу же уволен. Санэпиднадзор запретит мне вести кулинарно-эротические программы, а это равносильно смерти!

— Ну зачем же паниковать? Примете новейшие препараты, посидите на толчке...

— Нет, я этого не выдержу, — причитает ведущий. — Вы хотите, чтобы мои дети остались сиротами?

— А-а, вы отец-одиночка. А где же мамаша? Неужели бросила детей? — на это он только кивает, трясая головой. — Значит, бросила.

— Поставила перед фактом. Связалась с каким-то богатеньким типом.

— Наверное, с таким же рыжим, как и вы.

— Да, но я не настолько богат. А как вы догадались?

— Я же вижу, как у вас трассирующие пули очередями из глаз сыплются при виде обнажённой жертвы. И потом у меня богатый опыт общения с конопатыми. Знаете, сколько я таких перевидала? Один Борька Выручайло чего стоит! — шалава присела на скатерть, свесив ноги со стола, и глотнув портвейна, разговорилась. — Мы в одном классе учились. Вы по сравнению с ним настоящий блондин. Ему ребята житья не давали, как увидят, кричат: «Рыжий, рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой...» А дед у него был самый настоящий дремучий украинский нацист. За участие в массовых казнях, особенно за экзекуцию в Бабьем Яре, был награждён крестом. А за технические доработки «душегубок» с минимальным расходом газа сам Гимлер объявил ему благодарность и вручил именную нож с эмблемой СС. Головастый был, но не обладал даром предвидения, поэтому после освобождения Украины за усердие и инициативу на оккупированных территориях был публично повешен. Совки-циники постарались, казнь прошла по высшему разряду. Ну а Борькин отец, по тем ещё, совковым, понятиям, был настоящим героем: ушёл добровольцем на фронт, оборонял Сталинград, освобождал Варшаву. Его танк одним из первых ворвался на площадь Освенцима. Домой вернулся израненный и больной. Все, кто поумней, с богатыми трофеями приехали: с огромными коврами, саксонским фарфором, мотоциклами, автомобилями... А этот образец высокого социалистического сознания — с тремя слесарными инструментами: зубилом, пробойником и молотком. Ну что с плебея возьмёшь?! Как хватит первача — сразу о подвигах, только не о своих, а о Космодемьянской, Матросове, Покрышкине. А у самого — две «Славы» и ещё пять орденов и куча медалей. Маршал Жуков у него наравне с Георгием Победоносцем был, а Маринеско с Гастелло — вообще супермены, Геракл отдыхает! Ну совковое мышление: спал на соло-

менном матрасе и всё равно гордился победой. А я ещё пионеркой была и уже догадывалась, а сейчас уверена, если бы немцы победили, было бы лучше. Пили бы все баварское пиво, в Баден-Баден ездили отдыхать, знали бы, что такое секс. Хотя я и числилась старостой, членом пионерского отряда, закомплексованной тимуровкой, но была уверена — один раз живём, пользуйся, пока можешь! А сейчас все, кто из нашего круга, думают, как я. А Борьку не жалко, тоже мне, жертва соцсистемы! Выучился на врача, всем старался помочь, по ночам к больным соседям бегал. Ну Иванушка-дурачок! Добровольно в Чернобыль подался, героически облучился, и что в итоге? Заработал льготу на специальный гроб! Чего с дурака возьмёшь, когда он ещё и совковый патриот! Вот поэтому, когда вместо водящей всех под конвоем неволи нам дали безграничную свободу, Борис сразу скис. Он, видите ли, клятву Гиппократу не может нарушить! От Гиппократу только имя осталось, а деньги ничего не слышат, не видят, ну иногда, правда, пахнут наркотиками или какой-нибудь химией. Так ты их дома не держи, для этого швейцарский банк есть. Вот так, очень профессиональный врач, доктор медицины со своими принципами и клятвами стал бомжом и собирает бутылки, — торжественно прибавляет она. — Да ещё ухитряется на свои гроши свечи за упокой отцу с матерью ставить. И чего только эта лагерная власть своей пропагандой ни делала! Дед моей подружки по школе, придя с фронта, устроился на работу. Чудик какой-то был! Как зарплату получит, накупит на рынке сахарных петушков на палочке и раздаёт ребятам. И не пил вроде совсем, если только на девятое мая. И вдруг в отделе кадров раздаётся звонок, говорят, из военкомата: «У вас Добреев Иван Иванович работает?» «Да, — говорят, — работает». «Завтра в обеденный перерыв соберите в клубе весь коллектив, ему боевой орден вручить нужно». «Какой орден? Вы что-то путаете, по его анкете он не воевал, а был в глубоком тылу на интендантской службе, заведовал складом обмундирования». «Да белены объелись вы что ли в своём отделе кадров? Как это, не воевал?! Да он Герой Советского Союза, имеет не одно ранение и ещё шесть орденов!» Тут у кадровика глаза из орбит полезли и речь пропала. «Надо же, — промямлил он в трубку, — а мы его, как фронтовика, и не поздравляем...» До какой степени можно довести человека, чтобы он был настолько скромным и без разрешения партии никуда не вылезал! А сколько таких вот совков с орденами не пользовались правом покупать дефицит без очереди! Стыдно им, беденьким, они живыми вернулись, а их друзья и товарищи в земле лежат. Не позволяет совесть их вдов и матерей обижать! Ну и что вы на это скажете, затейничек?

Ведущий молчит.

— А с женой вам не очень повезло. Ещё скажите спасибо, что лопатой не убили. Интересно, в какой секс-тур направились ваши прелюбодеи?

— Сперва в Таиланд, потом, я слышал, на Канарские острова. А этот проходимец оказался ещё подлее, чем можно было предположить! Под-

считаю все средства, затраченные на мою жену, прибавив к ним и свои расходы, поставил её на счётчик. Не удивлюсь, если она сейчас отработывает где-нибудь на фабрике сучьих услуг.

— И вы это терпите?

— А что делать, если он способен на всё? Богатейший человек, из высшего общества, как и вы, мадемуазель! Ходит в бронезилете, ездит на вездеходе из космической стали в сопровождении киллеров особого назначения, бывших бойцов прославленного спецподразделения «Кабала». И потом, не я от неё ушёл, а она от меня.

— Понятно, — и лвыца, закатив глаза, задумалась. — Да, ситуация патовая, если не сказать, матовая...

— Тут невольно станешь приспособленцем. Он перевёл на мой счёт небольшую сумму...

— Да что вы говорите!

— И продолжает переводить. Совсем немного, какие-то нищенские проценты. Скупердяй ещё тот!

— Понятно, получается, жену-то вы сдали напрокат и получаете за амортизацию?

— Нет, что вы, он просто не хочет телевизионной огласки, а я не хочу быть найденным где-нибудь на асфальте с последующим некрологом: «Суицид в состоянии наркотического опьянения». Из двух зол, понимаете...

— Да, сочувствую. Предположим, остриц вы съели. Существуют животы, переваривающие рельсы со шпалами. Ну хоть какое-то наказание вы заслужили. Под «Танец маленьких лебедей», обязательно попадая в такт, вы сейчас покажете нам стриптиз.

— Для вас, мадемуазель, я готов оголяться каждую секунду сколько вам будет угодно. Эй, лабухи, — крикнул он оркестру, — играйте «Маленьких лебедей»!

Звучит знакомая мелодия, и затейник, перебирая ножками, начинает быстро-быстро раздеваться, и когда он, наконец, остаётся в чём мать родила, белокурая лвыца вскидывает руку и сладострастно выдыхает:

— Достаточно! Можете одеваться. Теперь понятно, почему от вас убежала жена. Любая женщина убежала бы от вас, не оглядываясь, за полярный круг, на Шпицберген или прямо в объятия моржам, только бы не возвращаться.

— Я восхищён! Пресса всегда подчёркивала вашу находчивость и остроумие. Это нужно немедленно печатать! Я просто не понимаю книгоиздателей. Когда они выйдут из медвежьей спячки? Да многим классикам следовало сперва поучиться у вас, а потом уже претендовать на звание мастеров мировой литературы!

— А у вас, массовичёк-затейничек, я смотрю, ещё и дар прорицателя! Оказывается, вы умеете смотреть за горизонт, только вот несколько ярких вспышек в современном литературном процессе вы всё-таки промор-

гали. А ведь очень много неординарных личностей моего круга уже выпустило по несколько книг. Самые гениальные из них высоко оценены и отмечены престижными премиями. Скоро выйдет в свет кое-что из моих философских раздумий о моей выдающейся жизни на фоне пережитков советской морали. Это будет книга о том, как надо вовремя её перешагнуть, чтобы оказаться на волне популярности и славы, а не прозябать, как эти псевдоучёные, корчащие из себя бессеребрянников, у которых не хватает духу и предпринимательского таланта воспользоваться своими открытиями и зарабатывать на них миллионы...

— Да, эта распоясавшаяся стерва всех норовит зачесать под свою гребёнку! Идеями сыплет, только успевай за мыслью следовать. А этот лизоблюд сейчас скажет, что всё, что мелет эта фря — гениально!

И точно, затейник, подобострастно улыбаясь, произносит:

— Гениально, мадемуазель, гениально!

— Кто бы посмел в этом усомниться, — лвыца облизывает ярко накрашенные губы. — Время Матросовых, Жуковых, Космодемьянских и всяких там Маринеско, слава свободному миру, прошло. Войной сейчас занимаются только психи, а нормальные люди раскручивают колесо истории во имя личного блага, выжимая из индивидуальных прав и свобод реальные, неиссякающие прибыли.

— Это гениально, мадемуазель! Сразу видно, сказывается ваша колоссальная эрудиция в области экономики и финансов.

— Я сама имела счастье покрутиться на этом чудо-колесе. Кто поумней, за один оборот наваривают несметное состояние не только для себя, но и для своих отпрысков на много поколений вперёд. Такое совкам и не снилось!

— Ваши мысли нужно немедленно записать и отдать в самые передовые издательства.

— Все они имеют баснословные прибыли и отстёгивают нам чистоганом, переходя порой на примитивный, но приятный бартер: дарят яхты, автомобили или бронируют королевские апартаменты на чьё-нибудь имя, оплачивая всё на год вперёд, включая жратву, массажистов, лимузин со штатом профессиональных шофёров, круглосуточную охрану, и в любое время дня и ночи всё это будет к моим услугам. Без нас их издания давно загнулись бы, и они это прекрасно сознают, поэтому льют воду на мельницу свобод для избранных.

— Ишь, чего впаривает, кукла силиконовая! — усмехнулся Черчел. — Не все же кормят читателей бледными поганками! Есть ещё граждане, издающие умные книги и научные журналы, вкладывая в это неприбыльное дело свои личные сбережения. Но проплаченные законы, лоббирующие коррупционные интересы, никогда не подпустят их к источникам, откуда подпитывается весь этот бред господствующих извращенцев! Остаётся только посочувствовать тем, кто решится конкурировать с ними за нравы

и сознание народа. Кроме того, умные люди всегда вызывают на себя огонь зависти, и далеко не белой. Что ты на это скажешь, москвичонок?

— С вами не поспоришь! Ваша логика почти совершенна.

— Не почти, а сверхсовершенна.

— Куда же подевалась почтеннейшая публика этого «райского» заведения, господин Черчел?

— Слушай! Сейчас этим как раз озаботилась наша леги:

— А что это не видно гостей? — настороженно спрашивает она.

— Одна часть сидит под столами, мадемуазель, другая — стоит в очереди.

— Никак не могут отвыкнуть от совковой привычки! Что за очередь?

— В туалеты на промывание... Мадемуазель, не знаю, как вам сказать... Я не решаюсь говорить правду до конца... Вернее, не имею права открыть коммерческую тайну...

— Да говорите уже, чего уж там! Думаете, я не знаю о планах вашего босса?

— Но это строго конфиденциальная информация. Знаете, очень оригинально взять и засмеяться в самый горький момент самой жуткой трагедии...

— Я так и знала!

— Ну тогда вы можете представить, какой разразится скандал.

— Не переносу трескотни и поросычьего визга.

— Поэтому я и предлагаю Вам немедленно уехать.

— Но я разрешила шофёру и охране всю ночь провести на фабрике тех самых услуг, где, кстати, может работать и ваша супруга...

— В конце концов, не я от неё, а она от меня, так что... Ну а вам я всё настоятельно рекомендовал бы уехать.

— Но я уже приняла сверх нормы и сама машину вести не смогу...

— Это мы мигом организуем! — выпаливает затейник и, дунув в микрофон переговорного устройства, нервно отдаёт распоряжения: — Гер начохраны!

— Слушаю-с!

— Автомобиль немедленно!

— «Ройлс-Ройс» или «Мерседес»?

— «Бугатти», новейшую модель! Слышите?! Это для нашей львицы... Да, да, для белокурой. Той самой. Ну что не понятно? Она сейчас выйдет на улицу. За выполнение задания отвечаете головой!

— Послушайте, массовичок, а машина укомплектована спецмигалкой и номерами, запрещающими остановку и, тем более, досмотр? Вы же знаете, я привыкла к полной свободе и не люблю, когда на дороге начинают мешать и путаться между колёс.

— Одно слово, и мы установим на вашем «Бугатти» что угодно, хоть сирену воздушной тревоги. Одно ваше слово, и всё будет исполнено!

— Пока не надо. Обойдёмся предупредительными спецсигналами. А вы мне начинаете нравиться. Надеюсь, на этот раз вы позаботитесь о моей безопасности.

— Сейчас подключим спецслужбы с боевой техникой, — снова дунув в микрофон, ведущий командует: — Гер начохраны! Обеспечить «Бугатти» всеми спецсигналами. Свяжитесь с ГИБДД. Вызовите подразделение «Кабала», ребята будут отвечать за безопасность дамы. От нашей фирмы выделите десять бронетранспортёров и три взвода снайперов. Что?.. А-а, вертолёт. Пусть немедленно поднимутся в воздух и барражируют* над площадью, пока она не сядет в автомобиль, затем сопровождать эскортом до самого конца. Что?.. Уже вызвали?.. Они над площадью?.. А, да, слышу. Вот это оперативность! Премия вам обеспечена, я лично уточню списки персонала. А сейчас действуйте, она выходит! Обеспечьте охрану у выхода, прилегающую площадь немедленно оцепить конницей!

Штормящей походкой белокурая бестия выходит из зала. Уже в дверях к ней подсказывает ведущий.

— Прошу вас, сударыня. Нами приняты все меры для вашей безопасности, муха не пролетит!

— А комар?

— Не волнуйтесь, мадемуазель, на бронетранспортёрах установлены распылители, заряженные новейшими средствами химической защиты от насекомых.

— Ну-ну, затейничек... Вы, оказывается, знаете, что флюгеру полагается держать нос по ветру. Как же вы в прошлый раз так опростоволосились?

— Мадемуазель, о вашем визите никто не предупредил. Может быть, в ряды вашей службы безопасности затесался предатель?

— Я уже об этом думаю. Мы обязательно проверим и найдём этого пока ещё живого покойника. Но и вы проявили изрядную халатность. На этот раз прощаю, но впредь, не забывайте о службе.

— Есть! — из его груди вырывается облегчённый выдох. — Прошу, Ваше Светское Сиятельство.

— А вы джентльмен.

И она удивлённо смотрит на него. Их взгляды встречаются, и в её широко раскрытых глазах он различает зелёную поволоку.

«А глазки-то у неё раскосые. Кошечка. Из когтей живым не выпустит», — думает затейник, и, неуклюже делая дамский реверанс, подобострастно произносит:

— Теперь я понимаю, почему стоят на коленях все избранные вами кавалеры. Прошу, мадемуазель, карета подана! — он распахивает двери, и львица, окинув его зеленеющим взглядом, выходит.

Через раскрытые двери видна ковровая дорожка, с обеих сторон плотным строем стоят автоматчики, у каждого в зубах краснеет только что срезанная гвоздика. Их командир, увешенный значками, среди кото-

рых притаились несколько боевых орденов, изо всех сил старается из затравленного волчьего оскала сделать дружелюбную улыбку. Он дрожит, на мгновение замирает и, преодолевая себя, падает на колени, целуя дорожку у ног небожительницы, затем встаёт, кланяется и преподносит ей огромный букет гладиолусов.

— Спасибо, командир, — и она, расплываясь в улыбке, достаёт из сверкающего самоцветами французского ридикюля увесистую пачку сто-долларовых купюр и медленно идёт вдоль строя.

Командир, сделав торжественное лицо, с саблей наголо следует за ней, отставая примерно на полшага. Подходя к каждому бойцу, она вытаскивает у него изо рта гвоздику и всовывает между зубов шуршащую банкноту. В конце дорожки, когда у всех автоматчиков в зубах уже зазеленели деньги, она бросает несколько оставшихся бумажек, и они, подхваченные ветерком, кружатся и падают в лужу. Цепь лихих гвардейцев дрогнула, человек двадцать выскочили из строя и ринулись к луже.

— Назад! — заорал командир. — Назад, кому говорят! Извините, изго-лодались ребята.

— Возьмите деньги и подсушите утюгом, это вам за патриотическое отношение к Родине.

— Служу вашей светской особе! Всегда ваш! — выкрикивал коман-дир, доставая доллары из грязной лужи.

Его ребята с грустью смотрели, как он облизывает грязь и судорожно вытирает губы платком. В их глазах набухали слёзы, но они, сжав зубы и автоматы, стояли, как каменные, не давая просочиться ни одной слезинке.

Затейник, который наблюдал за происходящим, сглотнул слюну, усмехнулся и подумал: «Сколько же ещё дураков, готовых служить и под-ставлять себя под пули! Без них пришлось бы служить нам, умным и не-заменимым. Но Бог милует». Ещё немного подождав, он повернулся и, наслаждаясь чудом удержанной властью, со скрежетом в голосе скоман-довал:

— Господа генералы, немедленно закройте двери!

Для массовика-затейника было в порядке вещей то, что настоящие генералы устроились сюда швейцарами, чтобы подработать на жизнь. Фирма сразу же подсчитала, что экономит на форме: все знают, что на брюках швейцара нашиты генеральские лампасы, правда они другого цвета, но это неважно — продвинутая публика в этом ничего не пони-мает.

Затейник вытер с носа обильный пот и перекрестился.

— Ты представляешь, юнгаш, он ещё и крестится! Таких придурков с вырезанной душой очень много, и я бы не согласился всех сосчитать. Мы ведём учёт времени и следим за его продвижением во имя справедливого возмездия. Да, я подчёркиваю, справедливого... Но если не кривить ду-шой и отбросить цензуру, к сожалению, мы очень часто ошибаемся. Ви-

дишь, мы не лишены самокритики, поэтому позволяем себя проклинать за всё и по всем статьям.

— А посылать ко всем чертям?

— Мы это только приветствуем. Для нашего пиара это очень хорошо! За рекламу мы не наказываем.

Раздался сигнал телефона. Затейник, достав трубку из внутреннего кармана, отрапортовал:

— Ведущий райского проекта слушает!.. Ах, это вы, гер начохраны? Послушайте, ваше дело не удивляться и не проявлять телячьих востор-гов. Желания сильных мира сего — для нас закон! Вы что опять сели на иглу? Что вы несёте?.. Да, кому-то можно покататься на львице верхом. Да, но за удовольствие платят вперёд. А вы знаете, сколько она стоит? Да не машина, а сама львица!.. А вот об этом вы должны молчать до самой смерти. Забудьте о похоти и зарубите себе на носу: она — не шлюха, а бе-локурая светская львица. Понятно? Ну вот и хорошо. Ещё вопрос?.. От-правили руководить охранно-почётным эскортом своего зама? Правильно поступили. Вы не забыли, что у нас сегодня спецоперация? Мы тут как палачи без топоров и верёвок. Что?.. Служите Отечеству? Молодцом. Премия будет удвоена. Ну что ж, скоро начинаем. Держим связь по ра-ции! — и, сунув трубку в карман, он подошёл к массивной дубовой двери с колесообразной резьбой, похожей на летящих ангелов в сопровождении облаков: они плыли в синеве, как чьи-то круги спасени. — Дамы и госпо-да! — обратился он к немногочисленному собранию. — Уважаемые гости благотворительного банкета, кандидаты, претендующие на вакансии за-облачного рая! Его филиал находится здесь. Мне выпала честь выступить перед вами от имени сверхпочётных сотрудников небесной канцелярии. Обратите внимание на многогранные двери. За ними сбывается всё, даже мечты, которые никогда не сбываются на Земле. Рай всегда открыт для привилегированных и достойных членов самой породистой и отборной элиты, парящей над серой массой человечества!

И сразу же из-под столов полезли кандидаты, а из туалетов, утираясь и облизываясь на ходу, прибежали остальные претенденты на райскую жизнь.

— Господа! От лица фирмы приношу извинения за казус с устрица-ми. Клянусь, этого никогда больше не повторится. Повара уже понижены в должности. В данный момент они, извиваясь, ползут, прочищая гене-ральную канализационную трубу всего земного шара. Господа! А сейчас вы должны показать пример дисциплины и величайшей организованно-сти. Все, у кого нет привилегий, кру-гом! Двадцать шагов, шаго-ом марш! Да не обязательно в ногу. Вы что, в школе не учились? За этой дверью безраздельно царит экономика. Её колесо крутится, оно соединено натру-женными ремнями с совершеннейшими механизмами, творящими деньги всех времён и народов. Финансист — самая незаменимая профессия во Вселенной!..

— Посмотри-ка, поданный Барбаросика пытается философствовать! — хихикнул Черчел.

— Не надо спешить, делайте всё расчётливо, с математической точностью, — продолжал затейник. — Даже меня, талантливого и коммуникабельного, если бы я плохо учился в школе и не знал математику на пять с плюсом, никогда не взяли бы работать в эту фирму, тем более на должность ведущего райского проекта!

Тут Черчел разразился смехом, да таким, что стёкла в окнах завизжали, как резаные.

— Представляешь, юнга, этот затейник, начиная с первого класса, ни разу не получил пять с плюсом по математике. Он и тройки-то получал только с минусом! А строит из себя академика Колмогорова и учит, как правильно считать. Ну, впрочем, массовик-затейник должен иметь мажорный вид и имитировать энциклопедические знания. Эдакий Бобик, нахватавшийся блох и выдающий их за плоды своего фундаментального образования.

— А что же произошло дальше? — спросил я.

— После того, как часть претендентов отступила назад, затейник вскинул руку и голосом, не допускающим возражений, произнёс:

— Круто-тупым, продвинуто-сдвинутым с пристяжными мозгами приготовиться принять боевую позицию! Двадцать шагов вперёд, шаг-ом...

И он сделал уставную паузу, но сказать «марш!» не успел. Претендентов без привилегий прорвало.

— Это за какие такие заслуги? — визгнула дамочка с бычьим кольцом в носу.

— Они что, наших правил не знают? В нашей гильдии все равны! К нам кто попало не пролезет! — сопел, раздувая щёки, пижон с провисшим животом.

— Свобода, равенство и братство! — скандировала профкрасавица с солитёром на ляжке.

Молодец с мускулами Тарзана, вращающий глазами, как севяная на шило обезьяна, пытался сказать что-то членораздельное, но у него не получилось, он долго тужился и наконец изрёк сакраментальные слова:

— Это произвол и самоуправство! Перестройка делалась во имя народа, а не для этих рвачей!

Затейник, понимая своё вновь пошатнувшее положение и зеленея от злости, завопил:

— Смир-р-но! Бунтовщики! Экстремисты! Неблагодарное стадо! Вас сделали гражданами свободной страны, дали возможность идти во власть. Вы ведь можете выбирать кого угодно и даже самих себя. Это же бескрайняя свобода! Вы имеете право покупать всё, что захочется: замки и целые острова, гаремы, публичные дома, дворцы для бойцовых собак или тропических тараканов. Наконец, вы можете приобрести личный са-

молёт с сортиром, отделанным кожей динозавра с унитазом из чистого золота! А о всяких куршавелях и говорить не стоит. Если надо — покупайте морг, налаживайте производство дублёной кожи, отделявайте ваши яхты хоть белым мрамором. Вот вам замечательный пример — наша прославленная светская львица. Разве в былые времена, когда всё находилось под тотальным контролем партии и прокуратуры, смогла бы она достичь таких сверкающих вершин? И она абсолютно права, когда говорит, что только в условиях демократической свободы такая жизнь доступна каждому, если у него хватает ума и предпринимательского таланта. Только завистливые лентяи не хотят утопать в заработанной роскоши. Вы претендуете на райскую жизнь? Но спросите себя: достаточно ли сил вы приложили, чтобы оказаться в первых рядах?

— Но у нашей львицы неограниченные связи. Где уж нам! — слегка заикаясь, заныла дама с кольцом в носу.

— Вы ещё скажите, что она связана с коррупцией! — взревел затейник...

— Ты представляешь, юнга, я с трудом верил собственным ушам, — зашептал Черчел, — но в речах этой бездари, а если присмотреться, и в поведении проявились задатки партийного функционера! Но, к сожалению, он только копировал методы, а не жил ими.

— За клевету и непристойные намёки в адрес нашей уважаемой белокурой красавицы, — увещевал затейник, — все будут привлечены к суду. Мы не потерпим экстремистских выходок. Кто хочет в кутузку, шаг вперёд!

— Не бери нас на понт! — заорал в ответ Тарзан. — Долой узурпаторов! Выбросим демагогов на задворки истории! Даёшь рай! Гиббон, пришло наше время, бери командование на себя. Мы всегда голосовали за справедливую свободу. А это значит — за тебя! И пока живы, так будет всегда. Гиббон, проснись! Народ ждёт тебя! Гиббон!

В этот момент один из столов закачался, и из-под него вылез, протирая заспанные глаза, неказистый мужичок с чернящей бородой и огромными веснушками на багрово-синем лице. Его передние конечности почти касались пола. Претенденты замерли и стали шёпотом обсуждать происходящее, перебывая друг друга.

— Снежный человек! С гор спустился, это надо же!

— А я слышал, обезьяна сбежала из зоопарка.

— Тарзан его гиббоном назвал.

— Больше, конечно, на человека похож.

— Ну, ты скажешь! Гиббон и есть гиббон.

— Вы на руки посмотрите!

— Да, гиббон, надо же!

— А как он здесь оказался?

— Вылез из-под стола.

— Он всегда в гуще народа. Слава Гиббону! — ревел Тарзан.

— Не слышу барабанов и фанфар, — крикнул Гиббон, вскочив на стол, затем, высоко взметнув длиннющую мохнатую руку, рявкнул: — Зиг... — и чуть не поперхнулся собственной слюной, глотая слово «хайль». — Наши деды взяли Рейхстаг, а тут какая-то дверца с намалёванными курами!

— Вы что, это же ангелы! — закричала профкрасотка.

— Нет, это — куры!

— В конце концов, у них крылья, как у ангелов.

— Это ещё ни о чём не говорит.

— Но куры не летают!

— Послушайте, драгоценная вы моя, не отвлекайтесь от боевой операции! Ангелы или не ангелы, это сейчас неважно, — и он опять выбросил вверх руку, изображая не то Муссолини, не то самого Адика, и крикнул: — Слушай мою команду! Держать интервал между рядами. Идём на штурм выстраданного нами Рая. Встать! Мы не черви, поэтому не попластунски, но медленно и уверенно — в атаку! Вперёд!..

Но кандидаты и претенденты не двинулись с места. Неизвестность настораживала не только продвинутых, но и самых тупых. Рисковать, когда не знаешь, что ждёт впереди, они не привыкли. Они даже яйца, чтобы не заболеть сальмонеллёзом, всегда только вкрутую едят, а если крупный куш наклёвывается, то и сырыми жрать будут.

А Гиббон, надувая вены, орал:

— Вперёд! Ура-а! — но все стояли на месте.

Тут ведущий, метнувшись из стороны в сторону, принял боевую стойку боксёра и заорал в микрофон:

— Гер начохраны!

— Слушаю-с! — загремел на весь зал скрипящий голос.

— Немедленно на защиту райских дверей! Претенденты рвутся из золотой клетки и становятся неуправляемыми! Срочно с боекомплектком ко мне! Захватите смирительные рубашки и предупредите ближайшую психушку, чтобы была готова к приёму пациентов. А также вызовите скорую ветеринарную помощь. Пусть немедленно свяжутся с зоопарком. Бунтарь, возглавивший восстание, чертовски похож на гиббона. Пусть разберутся, все ли обезьяны на месте.

Но претенденты на райскую жизнь не сдавались. Они сгрудились вокруг гиббона и, осмелев от желания попасть в рай, сжали зубы и двинулись на затейника. В этот момент с быстротой, доступной только службе спасения, через люки, открывшиеся в потолке, на канатных верёвках спустились бойцы. В руках каждый держал пистолет-автомат, а лица скрывали противогазы. И только один, с автоматом Калашникова и обвешенный гранатами, был без противогаза, впрочем, сумка с очкастым страшилой болталась за его спиной. Это и был гер начохраны. Сходу выпалив обойму устрашающих слов, он совершенно спокойно сказал:

— Стоять. Шаг влево, шаг вправо и, не дай Бог, хотя бы на миллиметр вперёд — стреляем без предупреждения, — он вскинул руку в готовности

дать команду «Огонь!», а его крючковатый нос ещё больше загнулся и стал зелёным...

— Ты представляешь, юнгашонок, я только сейчас узнал одного из своих лучших учеников. Ты видишь, сколько решимости?! Он готов вступить в союз с нашей красавицей, у которой вместо глаз в черепе чёрные дыры, которые втягивают в себя всё живое. Хороший экземпляр! Это тебе не массовик-затейник, нахватавшийся верхушек у Барбаросика!

После такого приёма Гиббон скомандовал:

— Отставить! Надо искать консенсус, — и его передние конечности потянулись к Гер начохраны, показывая пустые ладони. — Плохой мир лучше хорошей войны, — сказав это, Гиббон повернулся лицом к кандидатам и непонятно, зачем, запел: — «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек».

— Вот позорник, — загнусавил Черчел, — недоучка, провокатор! Этот кадр, ты сам видишь, не мой, и даже не конопатого. Наверное, купил липовый сертификат. Не знает самого элементарного, что бессмертие и вечное блаженство не купишь ни за какие деньги! Разум и страх несовместимы. Пока есть страх, рабство будет вечным. А теперь, смотри, что будет дальше.

Брюнеточка с кольцом в носу и все остальные соискатели с перепугу навалили, понятно, что и куда, и сломя голову, толкаясь и топча упавших, побежали туда, откуда недавно с трудом сумели выбраться. И только Гиббон пытался что-то выяснить:

— Как нехорошо! Как нечестно! Говорили, что за дверьми все желания исполняются, что там необъятный рай! Нас устроил бы и его филиал, если бы он соответствовал райским стандартам... Если здесь исполняются желания, то почему не все и не всех?

Гер начохраны подмигнул затейнику.

— Ну что, просветим Гиббона? Только смотри, чтобы потом всем рассказал! Подумай хоть раз не только о себе, ничего не скрывай от народа. Филиальчик наш, со всеми радостями, начиная с обжираловки и заканчивая интим-услугами, самый обыкновенный агитпункт. Таких по всему миру, знаешь, сколько? В миллион раз больше, чем игровых автоматов. Запомни, это нормальный пиар и плановая агитация Ада. А иначе туда никого не заманишь. Ты понял, Гиббон? Если понял, то предупреди всех жаждущих рая, чтобы они не теряли бдительность и не поддавались на уловки местных зазывал. А если уж попались, мы здесь не при чём — у каждого своя работа...

— Вот видишь, москвичонок, какие у меня кадры! — с гордостью произнёс Черчел.

Затейник зашевелился.

— Вот так-то лучше! Сперва привилегированные, по одному, а потом и все общим скопом! Вот вы, блондиночка, я вижу на вас антикварные бриллиантовые подвески самой королевы Франции, милости просим, —

и он распахнул «райские врата». Блондинка остановилась в нерешительности.

За дверью в непроглядной тьме сверкали огнедышащие колёса. Они вращались с неземной скоростью над бездонным океаном расплавленных звёзд, источавших всё сжигающий ослепительный свет. Все замерли, не дыша, глядя на столбы пламени, взлетающего над поверхностью бурлящего океана, когда очередная партия молящихся людей то с одного, то с другого колеса в ужасе сваливалась в ненасытную пасть Гадеса.

— Вот видишь, москвичонок, молятся! Но из страха. А когда были живыми — тоже молились и крестились, но для показухи. А в Гадесе мапочку не наденешь. Здесь каждая клеточка души просматривается на наличие червей. Червивая душа сгорает дотла и тут же появляется снова, и опять горит, и так без конца. Воланд знает, что делает!

Я смотрел на колёса и сквозь зловеший гул слушал крики.

— Господи, прости! Пожалей нас, Господи! Мы не верили, что всех ждёт возмездие! Это мамона, как паук, опутал наши сердца! Сожги грешные тела, но оставь нам несчастные души! Дай им последний шанс, и у них вырастут крылья, и они полетят к Тебе, отмоются в родниках Твоих и станут чистыми, как слёзы грудных детей!

— Ой, москвичонок, твои мысли, конечно, благородны, но безнадежно наивны и глупы. Когда попал в Гадес, поздно вато вымалывать прощение и давать обещания. Всевышний совсем недавно приходил на Землю в образе Своего сына и не на словах, а на практике учил людей истинной любви. Сеял целомудрие, всё самое доброе хотел сделать вечным, даже чудеса творил! Ну и что? На нашем огромном поле, засеянном человеческими душами, как рос когда-то, так и растёт чертополох. И с каждым годом его всё больше и больше. Мы с Воландом работаем без выходных. Работа, я тебе скажу, каторжная! Ты что думаешь, Всевышнему трудно появиться в какой-нибудь точке Земного шара и молниями спалить несколько оскотинившихся городов, да так, что Содом и Гоморра покажутся крохотными искорками? Современное возмездие я даже боюсь себе представить! Но если оно произойдёт, все сразу станут верующими и все десять заповедей не только выучат наизубок, но, что самое главное, будут их неукоснительно выполнять!

— Почему же Он этого не делает?

— Неужели непонятно? Всевышнему нужны не набожные рабы, дрожащие от страха! Он, создавая Вселенную, мечтал о разумных существах с такой же благой волей, как у Него. А тут и выбрать не из кого! Да, работать с родом человеческим становится всё трудней. Стоит кому-нибудь прозреть и позаботиться или просто подумать о ближнем или о какой-то элементарной справедливости, Барбаросик и ему подобные тут же объявляют его революционером. Ну, как сюжетики, юнгаши? А как воплощение? Не отвечай, я сам всё знаю. Сатирик Джонатан Свифт, сотворивший человека-гору, великого Гулливера, и превративший мелочных, погрязших

в невежестве и чванстве людей в лилипутов размером с булавочную головку, сказал мне в последнюю минуту: «Когда на свете появляется истинный гений, узнать его можно хотя бы по тому, что все тупоголовые объединяются в борьбе против него». Как точно сказано! А Маяковский, которого я так и не уговорил подождать и не обгонять время, поделился со мной мыслью, что «театр — это не зеркало, а увеличительное стекло». Для вас, людей, это так, но мне всё-таки ближе формулировка, «чтоб слова становились страшнее штыка, когда правду они защищают». И потом, у нас там другие измерения, и зеркала нам совершенно не нужны, ни плоские, ни кривые. Тем более, я их терпеть не могу и смотрю в зеркало, только когда оно разбито или завешено от покойника или его призрака чёрной тканью. А уж увеличительные стёкла — это просто несерьёзно, честное слово! Какими бы стёкла ни были: чистыми и прозрачными, голубыми или розовыми, вставленными в микроскопы, бинокли, подзорные трубы, наконец, в обыкновенные очки или астрономические телескопы — всё это игрушки! Мы и без этого видим всю подноготную. В наших глазах вечно живые осциллографы. На их кардиограммах видна и отзывчивость сердца, но также и тщательно скрываемые грехи. Эта истинная кардиограмма освещает все закоулки души, даже самые тёмные. И когда всё тайное становится явным, ни Плевако, ни Резник с Кучереной не помогут. Гротеск — вот наше главное оружие, а иногда и задушевная лирика. Но это только при жизни, когда ещё никто не похоронен, не сожжён, а главное, не закопан в землю живым. А все случаи, москвичонок, закономерны. От них не спрятаться, не сбежать, так же, как и от себя. Время движется, и если стрелки часов встают, оно всё равно не останавливается. Да, твоё время ещё не пришло, но оно уже движется навстречу... Я, кажется, читал трактат «О тайнах», или мне показалось?

— Нет, вы остановились на тринадцатой странице.

— Спасибо, юнгашонок, подай-ка мне эти «Тайны».

Я протянул ему книгу. Взглянув на фолиант, он рассмеялся.

— Ну, право смешно, во Вселенной нет почти ни одной тайны, загадка которой не была бы нам известна. И всё равно читать полезно. Повторенье, как говорится, мать ученья! Скажешь, банально? Но все истины банальны. Они же существуют с первого дня сотворения Вселенной. До встречи! — и он раскрыл книгу. — Где же тринадцатая страница? Ах, вот она!

Книга закрылась, и Черчела не стало. Как часто он бывает прав — всё случайное неизбежно.

Когда-то моя жена, благодаря заботам которой я ещё живу и даже пишу эту исповедь, работая на огороде, потеряла золотой крестик. На крестины моей дочери его подарила моя мама. Все мы были расстроены, долго искали, но так и не нашли. Огород каждый год перекапывался,

опавшие листья собирались в кучи и сжигались. И надежда, что мы найдём его, сгорала с листьями очередной осени. Прошло много лет, и вдруг в этом году осенью жена увидела крестик — он лежал, как будто кто-то специально положил его на самом виду. Это было невероятно! На нём не было лишкой земли и даже осенней влаги. Он сверкал, как лучик солнца. Было впечатление, что крестик только что купили в церкви. А может быть, все эти годы он жил на небе, а сейчас, омытый дождями, вернулся, чтобы сказать, что нам верят, что нас ждут и очень боятся потерять последнюю надежду на встречу.

Да, всё случайное неизбежно. Наверное, не случайна и последняя эпопея моей пьесы о Лорке.

Замечательный артист театра и кино, фронтовик, награждённый боевыми орденами, Народный артист России Павел Борисович Винник, кстати, в молодости снимавшийся в «Смелых людях». Когда я его увидел на сцене театра Татьяны Дорониной (МХАТ имени Горького), то был потрясён, с какой виртуозностью он играет. А в кино, где он снялся бессчётно, я его не узнаю, настолько он владеет мастерством перевоплощения! Ему, именно ему, и приглянулась моя невезучая пьеса, и он тут же отдаёт её прочитать своему молодому коллеге Андрею Чубченко, поющему, владеющему гитарой, обладающему, как и Бортников, даром настоящего романтического героя. И вроде бы пьеса понравилась, и Андрей переполнен вдохновением и с рядом актёров готов работать безвозмездно... Но постановочные расходы срывают благие намерения. Мамона уже успел оккупировать почти всю страну.

— Что?! — моя зелёная лампа вспыхнула ослепительным светом. — Что?! — повторил Черчел, он был явно раздражён. — Что ты пишешь? Опять за своё? Мамона всегда жил, живёт и будет жить в человеческих душах, пока они не пройдут Чистилище. Это ты должен был усвоить со дня своего рождения. Продолжай, продолжай свои воспоминания...

И по моему телу пошли едва уловимые круги судорог. Они, конечно же, шли из детства, когда я бежал по пруду и провалился под лёд, случайно попав на сваи, торчащие под водой. Я буквально стоял на одной ноге, взрослые боялись подойти и давали советы:

— Не двигайся! Ложись животом на лёд и ползи, вот здесь он, вроде, потолще!

— Я боюсь!

— Ползи, тебе говорят! — заорал мужик в сером заношенном плаще, и я ясно увидел, как глаза его блеснули зелёным огнём.

— Я боюсь! — канючил я.

— Не бойся, не утонешь! Твоё время ещё не пришло. Мы ещё должны встретиться.

Я тогда не знал, что со мной говорит чёрный человек. Но он тогда был один, рыжий, наверное, был занят коммерческими делами, что-нибудь продавал или менял.

Я уже почти выбрался из проруби, до берега оставалось метра три, но лёд треснул, и я снова начал тонуть. Меня неумолимо тянула вниз кроличья шубка. Я барахтался, как маленький мышонок, в ледяной воде. «Всё, это конец!» — решил я и погрузился во что-то липкое с запахом гниющей тины. Но что это? Надо мной склонилась целая толпа: мужчины, женщины, дети совершенно незнакомые мне. Они смотрели на меня и причитали:

— Ой, как жалко! И зачем он на лёд полез?! Такая ранняя весна, а он полез! Ну чего с мальчишки взять? Они без приключений не могут.

— Вот горе-то какое, — произнесла миловидная старушка, отвернулась в сторону, перекрестилась и заголосила: — Ой, Господи, что же это такое?! Помогите нам, Господи!

Несколько женщин стали вытирать слёзы. Мне и самому стало жалко себя. Спазмы со слезами уже подходили к самому горлу. И в этот момент из толпы, раздвигая её, как ледокол, вышел человек в сером плаще.

— Спокойно, товарищи, спокойно! — загнусавил он. — Без паники! Сейчас будет скорая. Этому мальцу ещё не наступило время умирать.

Из толпы понеслись возгласы:

— Да вы настоящий герой! Вы же сами могли погибнуть!

— Ничего, ничего! У меня всегда при себе дежурная верёвка. Если оборвётся, есть и запасная.

— Вы, наверное, герой Гражданской войны или бывший политкаторжанин? — затараторила смазливая кралечка в резиновых ботиках и в ту-журке из изрядно изношенной кожи. — Я журналистка. Я хочу взять у вас интервью.

— Я даю интервью только Всевышнему, барышня, и тем, кому мои мысли понятны и могут помочь. А прочитать небольшую лекцию по теме моего научного трактата «О верёвке» я могу и, заметьте, совершенно бесплатно, — и он стал, гнусая, нараспев вещать: — Все вы знаете, что верёвка имеет два конца. Знаете вы и то, что сколько верёвочка ни вьётся, конец найдётся. Но вы не знаете ничего об истине, балаболите всю жизнь всякую чепуху, вроде того, что правда у каждого своя. Это придумали мудрецы из страны негодяев. Надо же как-то оправдывать свои злодеяния. А уж истина тем более, как Бог, одна. Так вот у верёвки из двух концов можно схватиться за один и вылезти из проруби, показав смерти фигу, а на другом конце можно повесить кого угодно: убийцу, насильника или просто ненавистного соперника, можно и конкурента или отчаянного правдолюбца. Ради власти над вами, мой любимый народ, — кого угодно! — и он сделал многозначительную паузу. — А можно и самому попробовать на прочность верёвочку, а заодно убедиться, на посту ли ваш ангел-хранитель. Помню, как Иуда мучился, выбирая нужный конец, — и он засмеялся своим противным гнусавым смехом.

Толпа молчала, переваривая мысли. И в этой тишине раздался голос: — Bravo! Bravo! — из толпы вышел мужик в серой солдатской шинели. Его рыжая борода багровела в солнечных лучах. — Товарищи, на полях гражданской войны покоятся кости наших братьев и сестёр...

Ну вот он и появился. Я его сразу и не узнал. Рыжий встал и замер, как монумент. Ему очень хотелось быть похожим на Черчела.

— Товарищи, вот с такими людьми, — и он показал пальцем на чёрного человека, — мы обязательно придём к сияющим вершинам коммунизма. Товарищи, я предлагаю спеть хором всемирный гимн порабождённого человечества, — и он стал жестиковать, изображая дирижёра. Раздувая щёки, он глубоко вдохнул и завопил на всю улицу: — Вставай, проклятым заклеимённый, весь мир голодных и рабов! Кипит наш разум возмущённый... Товарищи, активней, — и он, как орангутан, ещё сильнее замахал своими конечностями, призывая аплодировать его безголосому пению. — Ну, что вы блеете?! Свершилась самая справедливая революция, — он сам себе хлопал в ладоши и, подпрыгивая, дирижировал, подбостранно глядя на Черчела.

В толпе кто-то нерешительно и невпопад подпевал. Особенно старалась журналистка. Она уже смотрела на чёрного человека глазами, полными умиления. Явно восторгаясь им, она кричала, срывая голос:

— Какой умница! Это надо уметь из простой верёвки навязать столько узлов восхитительных мыслей! Мыслитель! Философ!

— Послушайте, дамочка, а вы знаете, что быть настоящим философом смертельно опасно? В переводе с греческого, философия — это любознательность, наука о достижениях мудрости, о познании истины и добра.

— Вас бы к нам в газету! Но этого, конечно, мало! Вы должны быть патриархом союза писателей!

— И этого маловато, красавица!

— Я восхищена!..

— Ну хватит, — и Черчел вскинул руку.

Поперхнувшись на оборванном слове, корреспондентка замолчала. Ни от кого это не скрывая, она смотрела на него глазами наложницы, готовой жить на привязи в любую погоду рядом с его домом.

— А народ, как всегда, молчит, — процедил, блеснув зубами, Черчел.

Толпа, словно очнувшись, зааплодировала и закричала:

— Ура-а!

Но Черчел вскинул вторую руку, и все замолчали. Рыжий попытался что-то сказать, но Черчел резко одёрнул его:

— Я вам слова не давал, товарищ красноармеец. Или у вас в деревне принято говорить всё, что вздумается? Или вас ещё не проверяли на сеновальных блох и клещей? Забыли про окопную грязь, про маленьких сереньких насекомых, распространяющих тиф? В баню надо ходить всей деревней под вашим партийным руководством, товарищ красноармеец.

Рыжий, встав по стойке смирно, молчал. Краля продолжала смотреть растерянно, с той же рабской покорностью. Она сверлила Черчела глазами, пытаясь взглядом сказать, что она готова на всё: сейчас же отдать ему всё своё состояние. А так как самым ценным имуществом её были ботики и поношенная кожаная куртка, она уже представляла, как в придачу к приданному она отдаёт себя в руки этого необычного человека. Черчел, выдержав паузу, громко сказал:

— Милочка! Мыслитель, непревзойдённый любовник — вся эта мелочёвка не для меня. Я профессиональный революционер, борец за народное счастье! Я реформатор судьбоносного времени. Я тасую карты истории с самого зарождения цивилизации.

С этими словами в наступившей тишине Черчел снова выбросил вверх руку, рыжий скопировал его движение, и все заорали:

— Ура-а! Слава! Да здравствуют борцы за народное счастье!

И уже никто не видел, как подъехала скорая и как меня на носилках уносили с берега. И только чёрный человек, когда меня пронесли почти рядом с ним, крикнул вдогонку:

— Убедился, что время ещё не пришло? А ты боялся, москвиченок! — и он улынулся, провожая меня своим болотным взглядом.

Я же ничего не хотел видеть и слышать. Меня тошнило. И всё-таки я услышал врача, говорящего сестре:

— Не выживет пацан — синие круги на лице, и судороги...

Я был в ужасе, ведь это он говорит обо мне! Я попытался кричать, но не смог — язык не повиновался, что-то очень тяжёлое сдавило грудь, и когда подняли носилки с моим телом, уже не ощущавшим ничего, кроме притяжения, опустошающего и непонятного, я, собрав силы, всё-таки выдал из себя:

— Так нельзя! Моё время ещё не пришло!

И в этот момент непроницаемая бесцветная масса заполнила мой рот, и я, задышавшись, увидел, как золотые рыбки, выловленные и брошенные в грязь затоптанного сапогами берега, беспомощно раскрывают рты, чтобы заполнить жабры водой. В их вечно распахнутых и тускнеющих глазах я увидел отражённые блики солнца и последнюю предсмертную мольбу, и вопрос: «За что? За что нас лишили живой воды?» «Но ведь я теперь ничем не отличаюсь...» — только успел я подумать, как сразу ощутил стальной крючок, проткнувший мне горло. От крючка шла капроновая леска, я вцепился в неё зубами, стараясь перегрызть. С трудом это удалось. «Опять повезло», — мелькнуло в голове, и сквозь вязкую массу я услышал гнусавый голос:

— Опять сорвался с крючка! Наверное, заживевший сом. Тупой, тупой, а знает, что леска не крючок и её можно перекусить.

— Если ещё остались зубы, — добавил рыжий, его я сразу узнал. — Подкормить надо, подкормить. Здесь червей целое царство: каких только нет форм и расцветок!

— А как поживает «глянец»?

— Это же настоящий гламур! Я подобрал и спас от голода безработных гельминтологов с ещё некоммерческими знаниями, и нам удалось скрестить королевскую аскариду с солитёром и банальным трушным червём. Получилось на славу! Таких обжор ещё не было даже у великой ударницы! — и он запел, вернее, взвыл от радости: — «Рыбачка Соня как-то в мае, причалив к берегу баркас...»

— Тихо, деревня! Рыбу спугнёшь! И кто тебя, олуха, замминистра держал?!

— А вы никак забыли? Ваш же человек.

— А в ЦК?

— Тоже ваш. А вот из ЦК и из нашей всенародной партии я сам вышел до лучших времён. Мало ли что! Билетик-то с портретом Ильича в несгораемом сейфе.

— А что с золотом?

— Мне удалось, мне... А какое золото вас интересует?

— Ну что ты заблеял, как баран? Я не о нашем спрашиваю, а с настоящей пробой.

— С ним заодно всё прибрано к рукам.

— Барбаросик, ну ты и стратег! Неужели всё?

— Ну, не всё, а только то, что принесит барыш.

— Не зря барыги-то у тебя учились! Ты ещё обижался, что с сывками работаешь!

— Я их и готовил к барахольному ширпотребу, а они вишь как развернулись! Скоро и Землю вместе с атмосферой продадут какой-нибудь богатой галактике.

— Да где ж они жить будут?.. Ой, чего это я спрашиваю? Они давно уже на Земле не живут.

— Вот поэтому и не боятся и творят, что хотят! Не знают, что есть ещё места на Земле, где такие номера не пройдут.

— Да, если бы что-то подобное они попытались бы сделать в Италии, на другой же день из них бы сделали макароны, — и Черчел рассмеялся.

— А в Испании? Неужели бы терпели?

— Да ты что, Барбаросик?! Там бы что немедленно бросили на рога разъярённых быков. В Испании обожают корриду! И был бы полный аншлаг. До сих пор не могу понять, как можно всеобщее достояние хапнуть без всякого сопротивления? Феноменальный факт! Хотя и не такое бывало! Ведь был же момент, когда народ прозрел и стал подыматься во весь рост. Но после того, как лгуны свершили своё воровское дело, люди потеряли всякую надежду и снова превратились в отару подстриженных овец. Ученики твои постарались, конопатенький мой!

— Но они и квартиры раздали! Разве это плохо?

— С каких это пор приватизационные бумажки стали квартирами? Барбаросик, жильё строила и раздавала так нелюбимая всеми нами сов-

ковая власть! А ученички твои могут только хапать, причём кругом, а за бумажки брать чистоганом. Совсем оборзели! Не знаю, надолго ли хватит терпения у Всевышнего смотреть на озверевших от жадности мытарей?.. Да, Барбаросик, а как поживают твои содержанки с тихоокеанских островов?

— Зачем с островов? У меня их и здесь хватает. И потом, они уже давно содержат меня и приносят бешеные доходы.

— Молодец! Не намного, но вырос. Ты становишься настоящим экономистом, если не сказать — выдающимся! А про белокурую почему молчишь?

— Про кого?

— Послушай, рыжуля, актёр из тебя некудышный, поэтому советую не играть. Что со светской львицей?

— Она сейчас в высшем свете своя и стала видным общественным деятелем.

— Ты постарался?

— Это тот случай, когда ученица превзошла учителя. Женщина исключительного обаяния. Она меня сразу покорила.

— Что, любовь с первого взгляда?

— Всех бы наложили вместе с островами и столичными апартаментами отдал бы за неё одну!

— Втюрился и уже не отличаешь белого от моего цвета?

— Почему не отличаю? Я всё вижу и поражаюсь её дарованию. Она так изворотлива, что без мыла и вазелина решает любые задачи!

— Да что ты говоришь! Неужели такая скользкая? Скажи, только честно, меня ведь всё равно не обманешь, сколько вбухал денег на её содержание?

— Вы же знаете — ни цента! Она сама безвозмездно залезла в постель.

— А окно кто открыл?

— Всё вы знаете! Да, я открыл.

— Решил почувствовать себя Дон Жуаном?

— Да где уж нам, кобелям? Это вы всё можете! Ну покорила она меня, покорила, а ответного чувства я так и не дождался. Скрепя сердце я принял решение и стал её выгуливать, и она приносила доход... А сейчас к ней не подойти! Я и смотреть боюсь в её сторону. Мало того, что видный деятель, вы же слышали, сколько она берёт за каждый миллиметр своего заезженного тела. Но я готов всё простить ради поэзии и вдохновения!

— Так она твоя муза? Ты, может, и стишки конопатишь в её честь? Забавно, если не сказать смешно! — и Черчел захихикал, как кикимора на болоте, — И ты попался на удочку с крючком, издающим запах губной помады.

— Ну присушила она меня!.. Сплошная тоска, только рыбалка и спасает.

— Да, в рыбачьем деле у тебя прогресс. И всё-таки рыбалка рыбалкой, но мы с тобой отвлеклись, заговорились и забыли, что его нужно закопать до конца.

«Кого закопать?» У меня в ушах что-то щёлкнуло, и сердце остановилось. Глазами завладела тьма и никакого просвета. Только уши слышали какие-то приглушённые удары, похожие на артиллерийские выстрелы. «Всё! Неужели конец? Но я не хочу!.. — и я стал ползти, — Получилось, значит, сердце неслышно, но бьётся», — подумал я и, начиная терять остатки сознания, рванулся вперёд. И опять почувствовал огромное, непреодолимое притяжение. Я с ужасом видел, как превращаюсь в кровавое месиво, как будто тяжесть всей Вселенной легла на меня... И вдруг она исчезла, и я почувствовал себя крошечной песчинкой, поднятой в небо неумолимым и всемогущим смерчем. Но и у смерча не стало хватать сил противостоять неземному тяготению, которое затягивало в себя всё, чему настало беспощадное время. Липкая непроницаемая масса, осклизлая, как глина с могил расстрелянных и замученных, тайком зарытых или просто сброшенных в овраги среди болот на радость стервятникам и воронью, эта масса плотно облегла тело, и хотя я ничего не видел, я чувствовал, как маленький огонёк медленно начинает заполнять душу.

И сразу же вспыхнул ослепительный свет, как будто все звёзды вырвались из объятий Вселенной и собрались в одну, и она стала светить в лицо с расстояния не больше одного метра. И я ощутил, как свет, переполняя душу, полился через край, и как постепенно окровавленная глина сползает с лица, и глаза открылись. Но я ничего не видел. Резкая боль заставила меня их закрыть, но свет всё равно проникал сквозь плотно сжатые ресницы. Когда же, щурясь, я всё же разомкнул их, то увидел стоящие кругом с молчаливым достоинством кресты — каменные, сделанные из дерева, железные и чугунные, покрытые ржавым мхом, простоявшие, возможно, уже не одно столетие. И целая страна могил предстала перед моим взором. Они были разные: аккуратно ухоженные и совсем заброшенные, в бурьяне, где царствовали крапива и репейник. А рядом стояла моя церковь, её купола устремились в небо, а в солнечных лучах отражались облака, безмолвно проплывающие над страной покоя и тишины. Кресты смотрели на меня, в их неживых глазах застыло удивление, они что-то пытались сказать, и лёгкий ветерок доносил звуки далёкого детства. И только могильные плиты обречённо молчали и, зная своё нелёгкое дело, давили всей своей тяжестью на отведённые для них участки земли.

Неожиданно я услышал скрежет и стук, которые преследовали меня всё последнее время. Я обернулся и увидел своих старых знакомых — Барбаросика — в одной руке у него был кнут, а в другой лопата — и Черчела, который, увидев меня, сразу загнусавил:

— Всё-таки выполз! Да, москвичонок, ты, пожалуй, прав. Ещё никогда мамона не залезал так глубоко в человеческие души. Люди окончательно помешались на деньгах. Сумасшедших домов не напасёшься!

Строить новые бесполезно — скоро всё человечество сойдёт с ума. Раньше только гениев называли сумасшедшими, ну и очень больных, конечно. Гениев всегда не хватало, а несчастных душевнобольных было во много раз больше. Иногда случалось так, что гениев становилось чересчур много. Это происходило тогда, когда Всевышний ещё надеялся на покаяние и возрождение человечества. Но даже и тогда истинные гении попадались очень редко. Каждый был штучным и незаменимым. И очень редко, кому удавалось сдать мой экзамен. Я помню только тех, кто его сдал. Вот, например, Моцарт к моему приходу написал сверхгениальный реквием. А Пушкин! Ну, у этого я даже не знаю, что можно отметить. Ничего не скажешь — «Гений и злодейство — две вещи несовместные»! А какая встреча была с Есениным! — и чёрный человек сокрушённо вздохнул. — Как он моментально писал гениальные стихи. Тонкий был человек, отчаянный! Но мне даже и спасибо не сказал... Но я не в обиде. Сам Бог гениям прощает. Вот только так называемая земная власть, у которой в душе только жабы поют, совершенно не понимают царицу искусств поэзию! Несчастные люди, прожив жизнь, не видят и одной сотой того, что видят творцы и художники. И ещё гнетёт меня вина: никак не могу себе простить, что не успел застать живым Николая Рубцова. Ну подождал бы немного! Куда спешить? Все эти гении, как один, почему-то уверены, что им Господь помогает творить. Никто и не спорит, только не надо забывать, что всеми гадостями руковожу я под мудрым руководством Воланда. С кем и с чем боролись бы гении, если бы не было нас? Всё это можно проверить, начиная с самых древних времён... Да, смутные времена пошли, скоро не к кому будет приходить. Разъедает божьих избранников корысть, а меня — непреодолимая тоска. Все бездари на моё место метят, — и, резко повернувшись, заорал: — Порезвимся, потешимся, пока мы с тобой, Барбаросик, имеем какую-то власть... Начинай!

И рыжий защёлкал кнутом возле моего носа, выбрасывая из своего слюнявого рта все окаянные слова:

— Ну как, вспомнил свои саночки?.. Они мне в хозяйстве пригодись... Вижу, что вспомнил. Хочешь по морде получить?.. А-а-а?! — и, сплюнув, выпустил заученную матерную тираду.

— Опять за своё, — изрёк Черчел. — Двух слов без мата связать не можешь, конопатый дебил! Вот лопатой ты хорошо владеешь.

— Да уж, не как вы! Только и умеете — командовать!

— Что?! — и лицо Черчела сморщилось от негодования. — Как ты смеешь так со мной говорить?!

— Извините, вырвалось, я больше буду. Я с вами согласен, смутное время. Вы, как всегда, сформулировали точное определение, — залебезил Барбаросик.

— Рыженький мой, — снисходительно загнусавил Черчел, — в смурное время рождаются смуты и побоища! Ты сказал, что больше не бу-

дешь?! Ладно, что с тебя взять! Наверное, всё ещё бумагу мараешь, стихоплёт?

— Это я — стихоплёт?! Вот послушайте, что я сочинил, — и Барбаросик встал в монументальную позу.

В моём сердце трамвай позвонил и молчит,
А на дне подышает рассвет.
Передумав, за звёздами снова летит
Сумасшедший влюблённый поэт.

Мурка-весна золотая.
Согревает всех солнечный круг,
А кобелиная стая
Ищет породистых сук.

И жеребцы на конюшнях
Рвутся в луга и поля.
Только мешает нам Пушкин
Гением сделать себя.

Раздался вой, едва похожий на смех. Черчел схватился за живот:

— Ой, сейчас превращусь в человека и умру! Ой, держите меня! Я падаю! Это ты сам придумал?

— А кто ж ещё? Я плагиатом не занимаюсь. В печать продажную не рвусь. Родину, обмазав грязью, не продаю. Мне, конечно, до абсурдистов, как до звёзд. У меня ещё мозги на месте, и я себя, как они, гением не провозглашаю. Я же и деревенский, и городской. Между прочим, в союз писателей зовут. Бесплатно! Видите, там ещё остались идеалисты, но и ли-тэлитные мафиози тоже есть. Не зря я и на лошади ездил, и на метро, и даже на самолёте летал. Вот если бы какой-нибудь олигарх меня спонсировал, я бы за него за его счёт в космос слетал! Вот так. Кто лучше жизнь знает?

— Ты бы полетел в космос? — встрепенулся Черчел.

— Запросто!

— Ну знаешь, учитывая твою особую стяжательскую храбрость, прямо скажу, захватить там нечего. Вот в снабжении ты преуспел. Особенно для своего брюха. Я, Барбаросиска, бываю в космосе чуть ли ни каждый день. Но то я! А без проверки самим Всевышним на отсутствие рефлексов оборотня туда никого не пускают. Душа у космонавта должна быть почти идеальной, а у тебя, рыжюля, сам знаешь. Космонавты действительно выдающиеся личности. Один Гагарин с Леоновым чего стоят! А Гречко? Да все они герои. А женщины, эта звёздная тройца — Терешкова, Савицкая и Кондакова! Ну куда тебе, конопатенький? Твой удел — искать на земле себе подобных и испражняться в их душах, если там остались незагаженные места. Каждому своё!

— Да, это так, но я мечтаю сделать моей киске подарочек.

— Это ещё кому? Очередной шалаве?

— Нет, с ними покончено. Они меня раздражают. Моё сердце так и не отпускает муза...

— Ты же недавно жаловался, что эта блондинистая тебя запилила, и ты не знаешь, куда сбежать! А я что говорил, рыженький мой? Радуйся — раз пилит, значит, любит, заботится. Плохо, когда женщина перестаёт пилить, это сразу говорит о безразличии к объекту. Можно быть уверенным, что она уже пилит кого-нибудь другого.

— Вы оказались совершенно правы! Сейчас я согласен — пусть пилит меня днём и ночью. Но увы, она только мило улыбается и говорит: «Вы мой самый настоящий друг». Я пошёл на всё. Я стал однолюбом! Я в полном смятении. Я не знаю, как наполнить её сердце любовью ко мне. Извините, но мне бы хотелось отправить её в полёт, чтобы к её обаянию прибавилась настоящая звёздность!

— Всё вздыхаешь?! Уже пора забыть это белокурое привидение!

— Вы что! Это же мой кумир. Петрарка тоже любил безответно!

— Он был поэтом от Бога! А ты?

— Стараюсь! Ещё немного, и Он меня благословит.

— Ну ты и нахал!

— Но она уже звезда! Все её видят на экране, её знают все звёзды мира, и полёт только подтвердит, что она не такая, как все.

— Ты это серьёзно? Ну ты представь её, твою музу эту, и как ты ей предлагаешь полететь в космос, и как она не боится.

— Вот именно, не боится. Она рискованная женщина!

— Да что ты говоришь! Залезла к тебе в постель — и уже героиня! Рыженький мой, перед тем, как предлагать своему кумиру полёт, не забудь преподнести ей как можно больше памперсов, потому что только от одного предложения у неё начнётся то, что часто бывает после гороха.

— А это, смотря кем она полетит: космопилотом — может быть, и откажется, а туристкой — запросто. Летают же!

— Летают, но это же примитивный балласт, прилипалы с идиотскими амбициями. Ты знаешь, какие деньжищи текут на счёт Гадеса? Вот Воланд и постарался, чтобы они залезли на корабль. А твоё светская львица на это не способна. Ей бы что-нибудь задарма и никакого риска. А перед космонавтами я преклоняюсь: это тебе не деньги в мешок собирать и сорить ими, как пьяному купчишке. Но в героях сейчас ходят хлысты, стилиги и просто ярко выраженные паразиты. А со всеми звёздами я прямо не знаю, что и делать. Если твою задницу ну хотя бы раз в неделю показывать по телевизору, то и она станет звездой. Ну а полететь в космос к настоящим звёздам у неё не хватит духу. Ну как тут будешь уважать это вымирающее человечество?! А ты говоришь — жизнь знаешь! Как слушаешь, на какие поганые стишки пишут песни эти самые композиторы...

— А я их слушать и не хочу, — вставил рыжий.

— Два притопа, три прихлопа, — продолжал Черчел, — уже в каменном веке были. Правда, у колдунов и жрецов это лучше получалось. Им за это давали самые жирные кости поглотить. А наши так называемые музыканты, прежде чем за роаль садиться или в руки гитару брать, послушали бы Моцарта или Баха для самопрофилактики, Чайковского, Бородина, Шостаковича, Свиридова в обязательном порядке. Ну хотя бы перед сном включили бы Дунаевского, раз уж они такие универсалы-песенники, чтобы понять, что такое душа, без которой не может быть живой мелодии, а тем более гармонии! Я со дня сотворения мира знал, что скрипка станет царицей музыки, а поэзия — царицей всего искусства, и что самая величайшая Музыка без Поэзии перестаёт быть божественной. А сейчас только и знают, что удары каменного топора или пустой бутылки по такой же пустой, как барабан, голове. И главное, всё смакуют, всё смакууют, все поварами стали! Ну ладно драматические артисты — это их профессия — лицедействовать. А эти ведь пророками себя преподносят, мучениками, борцами за свободу и справедливость! Праведников называют ханжами! Эти упыри продажной политики не понимают, что в истинно справедливом обществе им с их речами и халдейскими шоу позволяют выступать только в подворотне у собачьей будки. И зря они надеются, что подавляющая часть человечества не заканчивала духовных семинарий и что они вытравили из сознания верующих вещице слова апостола Матфея: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их». Вот ты, москвиченок, знаешь эти слова?

— Знаю и вижу, как псевдореволюционеры заполняют гноем живую кровь нашего разума.

— Да, москвиченок, да! Ну право, смешно, когда они на каждом углу рассказывают, как мною очень нелюбимая советская власть притесняла их, топила с камнем на шее, а они всплывали вместе с дерьмом под каким-нибудь мостом, и как все они начинали в подполье, на конспиративных кухнях, а самые храбрые — в зловонных подвалах под прицелом расстрельных команд, и как даже в Париже их держали за горло и не давали дышать. Одним словом, каторжане, прикованные к тоталитарным гилям, с незаживающими ранами от пыток на свободоловливом сердце! И самое интересное — они живы и здоровы, и все богатенькие, но не как Буратино, потому что знали, где золотишко закопать — не наше — с краплёной пробой, а настоящее, добытое всенародным трудом. Шкуродёры, срывающие человеческую кожу вместе с мясом до самых костей. Редко кто из них помнит, что Бог всё видит. Даже в природе такой метаморфозы не встретишь! Родились, учились бесплатно, были пионерами прилежные отличники вместе с надменными отпрысками большого начальства и партийного руководства, разъезжали по «Артекам», летали за границу со своими тряпичными мыслишками, гонялись за барахлом, и чтоб обязательно с вычурными этикетками! И в комсомол их под дулом автомата

никто не приводил. А уж чтобы в партию проползти, они сами применили всю свою осьминожкой изворотливость. А сейчас, оказывается, партия их плохо кормила, голодными держала, дышать свободой не давала — приходилось втихую развратничать и воровать, — болтами привинчивала к насиженным тёпленьким местам. Завтра власть изменится, и все двурушники, толкая и валя друг друга с ног, побегут по упавшим старухам, женщинам и детям, чуя своим шакальным нюхом, куда вовремя вступить, кому вовремя лизнуть... Фу-у! Даже мне противно, хотя я их и курирую, неистребимое племя! Все они каиновы дети, это я вам говорю — чёрный человек. Я знаю всё с самого зарождения окаянной цивилизации, — и он подмигнул мне своим зелёным глазом. — Видишь, какой я разносторонний и гармоничный. Решил тебя на прощание потешить. А теперь хватит — поиграли честно, пора раскинуть меченые карты. Барбаросик, чего молчишь?

— Так вы слова не даёте сказать. Я вас давно знаю: вы всегда — и нашим и вашим.

— А ты как думал, рыженький мой, разве ты до сих пор не усвоил? Нехорошо! У верёвки два конца. А выбор — всего один. Я имею в виду, беспронгрышный. Усвоил?

— Стараюсь. Но трактат ваш не для слабоумных.

— Правильно, передовое учение сразу не поддаётся познанию. Я вижу, твои веснушки посинели от стыда, что не можешь пока усвоить самого главного.

— Виноват, но буду стараться, — и Барбаросик бросил лопату и, вскинув руку, встал по стойке смирно.

— Руку-то опусти! Пришло новое время. Сейчас показывать наше превосходство над стадами баранов и зажавшихся свиней неуместно. Нужно искать контакты в голове, чтобы там освещались только нам необходимые мысли.

— Зигхайль!

— Заткнись! Тебе только рекламой заведовать.

— Но я всегда готов к боевым действиям!

— Уймись, пока на элитных грядках ещё не вырос очередной Адик, достойный стать вождём рабовладельцев и покровителем душегубов всех мастей. А мой трактат, даже если не поймёшь, ты должен знать назубок. Всё ясно?

— Так точно!

— Если ясно, то что будем делать с этим? — и Черчел мотнул головой в мою сторону.

— Как что? — рыжий явно повеселел. — Это проще жареного лука. А ну пошёл обратно в могилу, вражий сын! Отщепенец, эстет и потенциальный вредитель! Ну лезь, кому говорят, а не то я лопату об тебя обломаю!

— Она ж из титана, — гнусаво буркнул Черчел, — а здесь надо что-нибудь поувесистей, иначе опять ничего не поймёт.

— Лезь, — давась слюной, шипел рыжий.

И тут я почувствовал, что больше терпеть не могу и, преодолевая страх, выдавил из себя:

— Не полезу! Хватит издеваться!

— Ах так?! — и он вытащил из железного ящика на могиле сверкнувший воронёной сталью револьвер. — Лезь, говорю, он с глушителем — кокну и никто не услышит! Хотя покойники и так не слышат... Но кто их знает, может, они притворяются.

— Не кощунствуй, ворошиловский стрелок! — оборвал Черчел, — стрелять, так стрелять — не морочь человеку голову. Если есть, за что — стреляй!

— Есть, есть, за что! Безгрешных не бывает, — и он, направив револьвер на меня, прищурил глаз и стал целиться.

«Всё. Этот, со свинцовыми мозгами, выстрелит». Вокруг всё закружилось и стало удаляться от меня, а перед глазами возникли ступени лестницы, ведущей вниз. И я опять вспомнил Свердловск, когда ещё совсем маленьким крохой смотрел на стену, продырявленную выстрелами. Тогда в Ипатьевский дом водили экскурсии и показывали дырки от пуля, обведённые красными кружками: «Вот эта — от пули, убившей наповал последнего российского императора. А эти покончили со всем его кровавым семейством. Интересно, что цесаревичу Алексею, мечтавшему посидеть на царском троне, чуть не удалось сбежать, но пуля догнала его, и он упал, получив лёгкое ранение. Но здоровенные дядьки не пожалели мальчишку и насмерть закололи штыками».

От тишины и напряжения звенело в ушах. Барбаросик продолжал измываться, его взгляд не предвещал ничего хорошего. «Что же этот рыжий ублюдок не стреляет? И надо же быть таким садистом! Хотел глаза выжечь калёным железом. Вот кто упырь, настоящий упырь!» И перед моими глазами запылал огонь. В его пламени я с ужасом увидел Януша Корчака и его детей. Они уже ничего не видели — глаза их испарились в первые минуты соприкосновения с пылающим жаром. Отполированные пеплом до блеска жаропрочные кирпичи огнедышащей пасти крематория злобеще смотрели на меня. Через трубы этого адского предприятия валил густой чёрный дым. Я, преодолевая ужас, ещё раз заглянул во чрево всё испепеляющего Гадеса. Там уже никого не было, но огонь, беснуясь, разгорался всё сильнее и сильнее, явно ожидая новые жертвы. «Почему столько людей служит Глупости? Сколько их — никто не считал! Зло и Глупость, переходящая в жестокость, — всегда одно и то же», — эти мысли, кружась в голове, не находили ответа.

— А мишень-то задумалась, — тихо сказал Черчел и ещё тише спросил: — Рыженький мой, а револьвер-то действительно заряжен?

— Неужто нет? Боёк на взводе, а лоб его я держу на мушке.

— А может, не надо?

— Позвольте, пожалуйста, не лишайте меня радости, — и лицо рыжего стало похоже на шляпку раздавленного мухомора. — Ну разрешите, — заканючил он, — дайте расслабиться!

— Нет-нет, я не разрешаю. Во-первых, я ещё не натешился, во-вторых, нужно проанализировать наши пробелы в его воспитании. А главное — ты совсем забыл, что мы должны закопать его живым.

Я стоял и не двигался, любопытство подавляло страх. И вдруг опять, уже явственно, я услышал самые настоящие артиллерийские залпы и посмотрел в сторону, откуда раздавалась стрельба.

— Ну, что смотришь? — гнусавил Черчел. — Это стреляют танки и не на учениях, не холостыми.

— Может быть, какой-нибудь парад? — спросил я.

— Да нет, лупят боевыми — бронебойными вперемежку с картечью. Зрелище уникальное: в одном месте одновременно скопилось столько параноиков! Они играют танками и автоматами, как в детстве игрушками. Очаровательное явление! Вот это потеха! Правда, Барбаросик?

— Вы, как всегда, правы.

— В общем так, москвичонок, лучше по-хорошему возвращайся в могилу. Так и быть, тебе, как нашему старому подопытному, дадим привилегию.

— Не скажем Воланду, что ты посмел самовольно вылезти на белый свет, — добавил рыжий.

— Вот это человеческий, гуманнейший подход, — загнусавил Черчел. — Любовь, Барбаросик, творит чудеса. От её первого взгляда даже закоренелый убийца становится благородным рыцарем. Вот только за это ты должен быть благодарен белокурой музе — она пилила тебя во имя любви. Да и я тебя стругаю для пользы дела — сучков в тебе многовато, но это удел всех зануд. Сколько раз был готов тебя срубить, но Воланд не рекомендовал: мол, что с пенька возьмёшь? А так — вроде растёшь понемножку, культуры набираешься, глядишь, и опохмеляться перестанешь, умные книжки читать начнёшь, а там — и дикарей просвещать. Ты согласен, москвичонок?

— Не совсем.

— А я согласен. Если проанализировать — Воланд всегда прав! — заключил Барбаросик.

— Ты слышал, юнгаш? Поэтому немедленно полезай обратно. Мы же тебя почти закопали и денег не взяли — грех на чужом горе наживаться. Мы с Воландом такой подход к делу полностью одобряем. Я бы тебя ещё потерпел, но Его Сверхвеличеству ты надоел.

— И всему белому свету, — присовокупил рыжий, и опять загремели выстрелы. — Во стараются! Во молодцы! Воланд наверняка на радостях закажет столик в самом фешенебельном ресторане.

— Ты думаешь, рыжий, что тебя пригласят?

— С вами, только с вами.

— Молодец, правильно мыслишь. Воланд разрешил мне иметь дюжину помощников и главного подтиралу с неограниченным количеством туалетной бумаги. Всё это, в виде исключения, за мои особые заслуги в области человековедения. Так и быть, я тебя с собой возьму. Воланд и это мне разрешил, чтобы ты всегда и везде сопровождал меня.

— Слава Воланду! Слава Воланду! — запрыгав на одной ноге, вопил рыжий. — Пусть все они друг друга перестреляют — нам меньше работы. Слава Воланду, слава! А ты что молчишь, не славишь самого великодушного, самого богатого, раздающего деньги только богатым?! Высшая справедливость! Потому что они умные, а все — дураки — не хотят трудиться, зарабатывать, заниматься махинациями, учиться изобретательности у аферистов!..

— Что ты мелешь? — одёрнул его Черчел. — Это же демагогия. На всех денег даже у Воланда не хватит, пусть они хоть заработаются! Не важно, кто как работает — важно, кто деньги распределяет. Это не я, это сам Воланд сказал.

— Всё, что вы говорите, правда, — тихо, через силу произнёс я, — ну, бывает, и занесёт. Но по сути вы правы. Только никогда я вам не поверю, что там стреляют танки. Они остановлены на Волоколамском шоссе, на разьезде Дубосеково нашими панфиловцами. Немецкие танки горели, как спички, и вынуждены были отступить — Гудериан со своими недобитыми драконятами драпал так, что гусеницы рвались от страха и перенапряжения. Наш народ не пустил фашистов в Москву.

Рыжий с усмешкой посмотрел на меня, а Черчел снова загнусавил:

— Проснулся! При чём здесь немецкие танки? Это русские танки, самые настоящие русские танки, и на них звёзды, а не рыцарские кресты и не фашистские свастики моего цвета. Русские танки бьют прямой наводкой по Белому дому. Только не подумай, что по тому, который в Вашингтоне! Ты сейчас спросишь, кто же отдал приказ?! Такие мероприятия не могут состояться без визы Его Сверхвеличества, рабовладельца всех эпох и народов, всемирного торговца человеческими душами, распорядителя приятных гадостей, непревзойдённого либерала и корифея демократии и порядка!

— Вы лжёте! Это бред! Я никогда не поверю в это наваждение, в это кровавое ристалище!

— Ну хватит, — рявкнул Черчел, — заткни рот и лезь в могилу.

Рыжий поддакнул:

— Полежай, полежай! Ну что глаза вылупил? Может быть, выколоть их или выжечь калёным железом?

— Сначала убейте, а потом делайте, что хотите!

— А зачем же мы тебя всю жизнь живдом держали, от Воланда прикрывали, рисковали? Мёртвого закопать любой сможет, а вот живого — для этого нужно получить наше особое образование, и, конечно, главной

критерий — полное отсутствие даже признаков совести и безоговорочная готовность прислуживать кому угодно, лишь бы поближе к власти. Вот у рыжухи образцовые показатели. Немногие воспитанники удостоились чести висеть на доске почёта в главном управлении Гадеса. Это же надо придумать — «член ОУКДЛП» — «оборотень — универсальный кандидат для любой партии»! А с тобой у нас получился промах. Как был дураком, так и остался. Совесть свою слушал! Нашёл, кого слушать! Если бы ты жил с открытыми глазами, то ещё в детстве увидел бы, что только члены ОУКДЛП всегда при руководящем деле. Мы на тебя надеялись, всё ждали, что поймёшь: совесть — это иллюзия! Мы же тебя берегли от нашей ударницы, от её хитрости и коварства, от всяких аварий, крушений мостов, от снарядов, пуль, мин, бомб и даже с голоду не дали умереть, и не утонул ты только потому, что мы надеялись увидеть в тебе достойного борца за наши идеи, — тут он обернулся. — А подслушивать нехорошо! Тем более, шпионить! — и он подошёл к решетчатому склепу. — А ну, вылезай! Рыжуля, помоги господину Колченогу. Выходи, выходи, раз уж себя рассекретил.

Из-за решётки склепа появился Благоморов.

— Я твой запах лучше всякого парфюмера чую. Видишь, москвиченок, он остался таким же молодым, каким был во время войны, потому что усвоил, причём безоговорочно, что совесть — это химера! Послушай, Колченог, а почему ты не при параде? Где боевые медали, начиная с «Обороны Москвы» и заканчивая «Взятием Берлина»? У тебя же полный комплект за освобождение и взятие городов Европы и оборону городов-героев! Ты же и после Великой Отечественной участвовал во всех боевых операциях, выполнял сверхсекретные задания, беспрестанно рисковал чужой жизнью, чаще бросая её под шквал свинцового огня. Ничего не скажешь, твои знания тактики ведения боя безупречны!

— Стараюсь! — и Благоморов вскинул руку.

— Отставить! — взвизгнул Черчел, и его чёрные щёки вспыхнули рябоватым огнём. — Практическое воплощение идеи — вот в чём суть, а не в карнавальных безделушках! А что это ты всё время озираешься по сторонам? Ждёшь кого? — и Черчел, пригнувшись, задёргал крючковатым носом.

— Я хотел предупредить, — моргая глазами, оправдывался Колченог, — но не решился.

— Прежде, чем посвящать начальство в свои мысли, не нужно их семь раз примерять, просто они должны быть обтекаемыми, как говорится, и вашим и нашим, а ты в стороне! Так, ты что, тоже не решаешься? — крикнул он в пустоту провала обрушившейся стены старого склепа: — А ну покажись! Я же знаю, что ты там засел со снайперской винтовкой. Давай, давай, выходи, киллер камуфлированный!

Из склепа, чуть не застряв в узком для него проходе, вылез детина с одутловатым лицом. Из-под узкого нависшего лба испуганно смотрели

микроскопические глазки, они озирались вокруг и вздрагивали, как у рака отшельника.

— Ну, здравствуй, дубина стоеросовая! А где же злодейский винторез?

— Замаскирован в бойнице!

— В усыпальнице?

— Там ещё два пулемёта — настоящий дот!

— Это хорошо!

От неожиданной похвалы детина преисполнился решимости и стал торопливо докладывать, какие огневые точки имеются во всех беспокойных зонах свободного мира и где можно встретиться с мурлом, пьяной поножовщиной или стихийной демонстрацией с булыжниками вместо политических требований.

— Наш дубинушка-то, оказывается, пропитан идеологическим противопожарным веществом. Очень хорошо!

— Да, я ему полностью доверяю, — отчеканил рыжий и посмотрел на детину. — Я на тебя, Ерофей, подал ходатайство о награждении.

— Служу свободе! — покраснев, пробасил амбал, лицо его расплылось в улыбке и стало похожим на масляный блин. — И тебе, Благоморов, будет очередной знак отличия.

— Да зачем? На моём орденоносном иконостасе уже и места не осталось, а про подвиги и так все знают. Для меня высшая награда — доверие Воланда!

— Правильно! — ехидно процедил Черчел. — Скромность и почитание вышестоящего. Похвально. А в склепы залезть вам кто, тоже он приказал?

Благоморов и детина молчали, потупившись.

— Только я ведь могу и обидеться. Держать под колпаком старших товарищей, сексотить против меня можно, но для этого нужно стать круглым идиотом!

Благоморов мямлил, пытаясь оправдываться, но его голос сорвался, и сквозь постукивание зубов прорывалось нечленораздельное шипение.

— Он хочет сказать, — заюлил Барбаросик, — что ни о каких докладах с доносами они не замышляли, а просто решили провести учение, проверку навыков маскировки. Но ваш несравненный слух и, в особенности, нюх...

— Знаю, знаю, что они у тебя прошли специальную подготовку, но кто знает, как они используют свои навыки на практике, врагов они выслеживают или вышестоящих коллег, — заключил Черчел и, сплюнув, добавил: — Бог дал собаке уникальный нюх, чтобы она чувствовала любой деклассированный элемент и верно служила своему хозяину.

— Вы, как всегда, феноменально афористичны! — продолжал юлить конопатый. — Среди моих членов ОУКДЛП масса кретинов, и я уже подумываю произвести чистку в наших рядах.

— Давно пора, — с тяжёлым вздохом изрёк Черчел, и веки его глаз набрякли.

— Намёк понят! Проект будет запущен в ближайшее время. А Благоморов у нас не просто действительный, но и почётный член ОУКДЛП. В наших рядах поощряется высочайшее моральное сознание, верность и беспрекословная дисциплина!

Я не выдержал и прямо сказал:

— Какие мораль и сознание могут быть у приспособленцев, перебежчиков и попросту дезертиров?!

— Замолчи! — раздражённо гаркнул Черчел. — Ты так и не поумнел. Мораль давно сожрала моль, и её обглоданный скелет катится на колёсах Гадеса в Хаос! Очень жаль, но вместе с твоей совестью нам придётся зарыть и тебя. Ты думаешь, что это всё действительно бесплатно? Наивный, несмотря на наши выдающиеся успехи, почти весь бюджет Гадеса уходит на его рекламу.

Я съёжился: «Опять эти деньги, богатство, желание властвовать и ради всего этого лгать, предавать, грабить, издеваться над совестью и благородством, затаптывать в грязь целомудрие, выставлять напоказ свою смердящую похоть! Действительно, Содом и Гоморра, по сравнению с Возмездием, что движется нам навстречу, — едва заметные искорки, гаснущие в дыме костра».

— Ну, юнгаш, полезешь добровольно? Могила свежая, мы выкопали для тебя новую.

Неожиданно я почувствовал, как ветер пронзил меня холодом насквозь. «Опять циклон беснуется. Затосковал на Ледовитом океане, вот и прёт сюда, чтобы с людьми пообщаться. Надоели ему белые медведи с их голодными снами об охоте на беззащитных тюленей. Но что это?» Только что палящие лучи солнца стали чернеть и покрываться инеем, обрасстая ледяной корой. «Бред какой-то. Как будто в голове короткое замыкание. Ну точно сдвиг по фазе! Наверное, наркоман, впадающий в кому, видит примерно то же. Нет, конечно, всё это происходит наяву». Ветер так же неожиданно перестал дуть, но центральные ворота кладбища, несколько раз протяжно скрипнув, раскрылись, и я увидел безумно красивую женщину, приближающуюся к нам. Свет, исходящий от её глаз, затмевал всё! Он жёг, но от его ожогов шли умиротворение и покой. Из длинной косы красавицы выглядывали белоликие, похожие на солнышко, ромашки и синеглазые васильки, а в руках у неё была плетёная корзинка.

— Кого я вижу! Миледи, вы с каждым днём становитесь всё моложе и моложе, — восторженно проговорил Черчел.

— Вы разве не видите, кого сейчас хоронят в неограниченном количестве? Давно уже перестали сжигать и сдают крупными партиями. Если бы вы знали, высокочтимый Черчел, как я устала! Спасибо Воланду — отпустил отдохнуть. У меня же уйма переработок! В данный момент мои

личные стилисты покрывают ароматизированной пудрой восковые лица полуживых пижонов. И хотя им ещё не знаком мой запах, наёмники высшего класса доведут дело до ума.

— Мы все слышаны о высочайшем профессионализме ваших подданных, миледи! Но я вижу в вашей корзинке клюкву.

— Да, эти ягоды я своими руками набрала на болоте. Но здесь и брусника, которую собирала по старинке зазубренным совком какая-то блаженная старушка, а потом сама отдала мне. Она даже не знает, что я тогда прошептала: «Пусть поживёт, пока не надоест».

— Миледи, но у вас ещё и черника, моя любимая ягода.

— А её из своей корзинки щедро пересыпал в мою мальчик, такой маленький, а уже все лесные секреты знает. Я ему, конечно, пожелала долгих лет жизни. А вы, мужички, почему на коленях стоите? Старый режим давно отменён. Указы Воланда все должны знать и выполнять. Ну и номенклатура у вас, мистер Черчел!

— Встать, кому говорят!

Колченог с конопатых и детинной вскочили, как ошпаренные, и, выпучив глаза, уставились на даму.

— Ну, что уставились? Не узнали? — снисходительно произнесла миледи. — Не забывайте, что вы мужчины и закройте, пожалуйста, рот. А вкусный язык лучше держать за зубами, дабы не разжигать аппетит моих крылатых помощников.

И тут же появился жужжащий рой остроносых комаров и оранжевых мух с ядовито-зелёными глазами, позади которых кружились наглые слепни и толстоусые верблюдки.

— Выберите что-нибудь одно: или закройте рот наглухо или распахните до затылка, связав губы узлом, — шутливо сказала миледи. — А иначе мои крылатые кровососики начнут с ваших внутренностей. Обычно они начинают своё обжорство с печёнки.

От услышанного у членов ОУКДЛП позеленели губы, и Барбаросик с Колченогом захлопнули свои слюнявые рты. Ерофей, как бы проверяя, на месте ли его внутренности, схватившись за живот, пытался сомкнуть окаменевшие челюсти, но те не хотели ему подчиняться. Рой, набрав высоту, с воем начал пикировать на поседевшего от страха детину.

— Пасть закрой, дубина! — заорал Черчел. — Закрой пасть, если не хочешь стать для них деликатесом! Это тебе не массовые убийства по рыночным ценам!

Ерофей завертелся на месте и едва успел сжать зубы перед самым носом разбойничьей армады. Детина в изнеможении рухнул на колени и упёрся в землю своим прыщавым лбом.

— Опять! — побелев от негодования, рывкнул Черчел. — Встань, чучело!

— Голова закружилась.

— Извините, миледи, вот так и живём.

— А мы с вами встречаемся все реже и реже. А ведь если верить в бессеребряность оголтелых клакеров, когда они аплодируют и, срывая голос, поют осанну, вокруг сплошные гении! А придёшь, и сразу понятно — очередной фабричный брак или фальшивка.

— Вот поэтому я и не прихожу, миледи, и вам приходится работать в гордом одиночестве, не покладая рук.

— Но я не жалею, я привыкла исполнять свой долг, непосильный, порой несправедливый, но долг, — и она, распахнув ресницы до предела, посмотрела на меня бездонными глазами. — А это кто с татуированным кораблём на груди?

— Наш подопытный кандидат. Очень живуч и упрям, как навьюченный осёл, сбежавший из эмирского зверинца.

— А-а, мой старый знакомый! Я его вспомнила, — и миледи, подойдя, обняла меня и прошептала: — Забыл? А мы встречались, и не один раз.

— Нет, я всё помню, — едва дыша, выдал я из себя. — Добро не забывается!

— Это я-то добрая? — и она залилась искрящимся смехом, потом вдруг замолчала, вытерла чёрную слезу и с нечеловеческой тоской произнесла: — Да, я добрая! Моя бы воля — пускала бы в расход только подлецов, — и тут она высветила взглядом все самые тёмные закоулки моей души. — А вы слышали, мистер Черчел, — продолжала она, — что отдельные человеческие экземпляры стали замораживать свои только что умершие мозги? Представляете, они решили, что технология сохранения клеточной плоти так же проста, как приготовление консервов!

— Признаюсь, что не только слышал, но и видел, когда вы удалялись, закончив процедуру. Я нашёл это зрелище весьма увлекательным. Подумать только, горстка недоразвитых чудаков и мечтателей приближают миг торжества их науки над вами! Правда, из них чаще всего и вырастают гении.

— Что ж, будем надеяться и ждать, мистер Черчел, может быть, ещё доведётся встретиться у овра настоящего гения, который незаметно родится и без оглушительных литавр заживёт в сердцах своего народа. Надежду я забираю последней.

— Миледи, последнего гения я просто не имею право пропустить. Это же будет самый трагический момент. Какая метаморфоза произойдёт тогда — человеческий род вновь превратится в голодающее стадо.

— Но подкармливать его всё равно придётся нам, — и миледи опять посмотрела на меня.

— Вы — воплощение мудрости и женской красоты, — подобострастно загнусавил Черчел. — Позвольте поцеловать вам руку и прикоснуться к остию вашей неотразимой косы, — и, раздвинув ромашки и васильки, он приложился щекой к светящейся холодом стали.

— Спасибо, спасибо, очень тронута. Вы напомнили мне о старых добрых временах, доблестных рыцарях и благородных кавалерах. Пойду погу-

ляю среди могил. Они навевают массу приятных воспоминаний, — и, ещё раз взглянув на меня, она сказала: — До скорой встречи, — и медленно пошла, останавливаясь почти у каждого надгробия, читая имена и даты.

Все молчали, глядя ей вслед. Огромные бабочки с чёрной бахромой садились на печальные цветы, стрекозы, догоняя друг друга, обнимались, перелетали ограду кладбища и устремлялись к реке.

— Вот так и живём, юнгашонок. У этой дамочки вместо кожи на костях особая пудра, ну а остальное великолепие — лишь мастерство её парикмахеров и гримёров. Только запашок выдаёт, да пудра иногда осыпается, и все видят пожелтевший череп в чёрных трещинах, а вместо милого взгляда — пустоту осиротевших глазниц, — и он злорадно засмеялся, но, увидев ужас в глазах Колченога и Ерофея, смолк.

— Вы, как всегда правы! — подхватил было конопатый. — Обглоданная до костей, а мнит о себе... — он осёкся и боязливо посмотрел на чёрного человека.

Но Черчел, углубившись в свои мысли, с отсутствующим взглядом продолжал молчать. Наконец он резко повернулся, осмотрел всё вокруг и тихо сказал:

— Но у неё есть неограниченное право казнить или миловать. Правда, Всевышний и её может уничтожить или в лучшем случае выслать в другую галактику, где ещё много планет с недоразвитым населением. А обсуждать миледи, Барбаросик, имею право только я, а не каждый философствующий недоумок. Она одна — орудие в руках высшего правосудия, только она может положить конец жизни, какой бы жалкой или блистательной она ни была, только она одна начинает обратный отсчёт времени до момента падения в Тартар или приобщения к высшему блаженству!

— Всё, больше не могу, — прошептал я и во весь голос закричал: — Господи, прости нас, прости! Ты же всегда говорил, что пока останется хотя бы один праведник на Земле, Ты не будешь нас морить, как тараканов, уничтожать, как крыс, которые первыми бегут с тонущих государств! Человечество очнётся и увидит своё безумие! Господи, ты же знаешь, что где-то на Земле, на каких-нибудь островах осталось ещё немного праведников, которые не способны, как мы, такие цивилизованные и всё знающие, ради такой короткой жизни в богатстве, разврате и славе убить родную мать!..

— Может, хватит, юнгашонок?

— Нет, Черчел! Все должны стремиться к истине и не замазывать её своей личной правдой, порой замешенной на лжи, — и, глядя чёрному человеку в его болотную зелень глаз, преодолевая себя, я уверенно сказал: — Спасибо, вы помогли мне увидеть то, что видят все, но по наивности думают, что их это никогда не коснётся. Теперь я точно знаю, из каких корней растут зубы фашизма. Я возвращаюсь в могилу, только бы не видеть вас и всей вашей изощрённой человеконенавистнической системы. Но не думайте, что так будет вечно!

— Ошибаешься, москвичонок, ошибаешься! Пока человечество не поймёт, что с ним обращаются, как со стадом скотов, — а оно этого не поймёт никогда! — самопровозглашённая элита, эта опухоль вселенского разума, никогда не даст ему поумнеть. И мы этому поможем! Нами уже разработаны схемы, как из бедных, порой умных и талантливых от рождения, но глупых, потому что они бедны, сделать кентавров, у которых сила была бы, как у лошади, а трудолюбие и выносливость крепкими, как панцири древних черепах. Своими песочными мозгами они никогда не поймут своего рабства, а о нас будут думать, что мы их благодетели, работодатели, а не банальные работоторговцы, страшнее тех, которых по ошибке или недоразумению ещё совсем недавно вешали на рёях их частной собственности! Удачный промысел этих предпринимателей начинался, если им выпадало счастье захватить галеру, а затем шхуну, бриг или красавицу парусного флота бригантину, после чего оставалось связать команду руки и бросить за борт на корм белым акулам. Во имя справедливости и свободы у каждого на руках — по одной верёвке, и оба её конца выполняют один приказ. Да-а, что за дикость была тогда! Почтенные и очень богатые граждане за своё же добро болтались на рёях и своими выпученными глазами пугали чаек. Всё зависть, желание порыться в чужих карманах, оклеветать, заклеить пиратами! А сейчас это обыкновенный, стабильный вооружённый капитализм. И только те, кто мешает развиваться его могуществу и исподтишка пытается вставлять палки в колёса нашей власти, будут объявлены вне закона.

— Долой пережитки совковой морали! — вставил рыжий и выругался так, что у Черчела от удивления открылся рот.

— Заткнись! Она здесь ни при чём, а из твоей пасти опять запахло падалью! — Барбаросик сник и замолчал. — Мы никогда больше не допустим реванша!

Я больше не мог слышать этот гнусавый голос и тошнотворную матершину рыжего дебила, и, закрыв глаза и заткнув уши, закричал что есть силы:

— Так можно сойти с ума! Не могу ни слышать, ни видеть всю вашу мерзкую, гнилую элиту! Пусть она захлебнётся своей барабанной славой! Пусть она наконец переварится в своей ненасытной утробе! Что б вы сгинули! Что б вы пропали, смешались с кровавой глиной и грязью, стали червями на нашей Земле! От всего человечества я проклинаю вас перед Богом! — и я открыл глаза, готовый к чему угодно...

Рядом никого не было. Я осторожно посмотрел по сторонам: ни Колченога, ни узколобого, ни рыжего, ни чёрного человека. И только у моих ног ползали черви. Я сделал шаг, и один из них быстро влез под могильную плиту, остальные сплелись клубком, с нескрываемой ненавистью глядя на меня, и только когда я замахнулся на них подвернувшейся под руку палкой, они, оскалив зубастые пасти, с воем голодных гиен скрылись в кладбищенской земле. Я взглянул на небо, мне казалось, что так

оно ещё никогда не светило. Солнечные лучи всюду улыбались заброшенным могилам, бурьяну и цветам, лежащим на убранных чьей-то заботливой рукой замшелых плитах. Лучи светились в поседевших крестах, обречённых быть одинокими до конца. «Почему нельзя вернуться в прошлое? — думал я и увидел себя, бегущим по мокрому полю. — Почему безостановочная жизнь останавливается, не спрашивая нас? Это понимает и знает только Он. Почему в любую погоду неминуема осень, и на зелёных ветках начинает багроветь листва?»

И вот прямо в лицо стал дуть пронизывающий ветер, и в его порывах закружились первые опавшие листья.

«Что это? Смерть или перевоплощение? Неужели мы никогда не коснёмся звёзд, а если коснёмся, то наш несовершенный разум не сможет понять того, что знает только Он, и они начнут падать, — что тогда?» Так я думал, продолжая смотреть на нестареющую, всегда живую красавицу, на её купола с голубыми глазами, на золотые кресты, которые растворялись в небе и становились солнечными лучами. И мне стало уютно и тепло, как в раннем детстве.

Я ещё раз с опаской посмотрел на землю, но червей там не было, и я спокойно пошёл домой.

В памяти всплывали дни, исчезающие во времени. Загремел гром, но молний не было, небо оставалось ясным. Раскаты грома приближались, гоня перед собой огромную тучу. Засверкали молнии, отскакивая от неё и, встав на дыбы, вонзались в землю. Во всёпоглощающем грохоте раздался как всегда гнусавый, но патетический голос Черчела:

— Москвиченок, а ты обнаглел! Разве можно все беспокоить Всевышнего?! Да ещё и проклинать чуть ли не весь человеческий род! Нехорошо, москвиченок, нехорошо. Ну, пускай червям всех мастей туда и дорога — они всё равно размножатся и выползут на поверхность. А меня-то за что? Я же от всей души старался тебя просветить. Какая чёрнящая неблагодарность! Твоё счастье, что я иногда бываю великодушным. Так и быть! Я разрешаю тебе сделать ещё один жизненный прыжок. Я понимаю, что ты не сдержался, вспылел, и я попал под горячую руку. В порыве гнева ты забыл, что я везде и во всём. А главное — к последнему гению перед смертью приду я, а не кто другой. Не забудь, что ты должен всё рассказать людям! Чувствуешь, как попутный ветер дует в мои чёрные паруса?! До встречи, юнгаш! До скорой встречи!

Я замедлил шаг, посмотрел в небо и увидел, как туча набирает скорость.

— Ты лучше под ноги смотри, чтоб не упасть! — кричал Черчел. — И беги, сейчас пойдёт ливень!

Ветер, раскачивая деревья, становился всё сильнее и сильнее. Первые капли нерешительно и осторожно уже касались земли. Я ускорил шаг и побежал. Ветер догнал меня и струями дождя обдал с ног до головы, а дождь, смывающий грязь с травы и деревьев, становился таким же, как и

они, зелёным. И только багровые листья под его потоками становились похожими на осколки упавших звёзд, и в моей памяти возникло стихотворение юности, написанное самому себе на День рождения:

Я сегодня родился под осенние звёзды,
Под гремучие струи зелёных дождей.
Я глотал свои самые первые слёзы,
Эти малые капли великих морей.

Человечество плачет открыто и тайно,
Все моря на земле и горьки потоку.
И, родившись, я плакал совсем не случайно —
Я кричал, что морей всех испить не могу.

Люди, плачьте! Ваш плач — это скрипки,
Это дождь, вымывающий грязь из сердец.
Плач всегда откровенней дежурной улыбки.
Плакать может, как скрипка, один человек.

Мы ревём, разбиваясь о скалы желаний,
Без надежды, мечтая, умеем мы ждать,
Иногда проникая в преддверие тайны,
Начинаем любить, понимать и прощать.

*Загорянка,
апрель 2007 — май 2008 года*

Литературно-художественное издание

Вадим Черняев

**Моя исповедь,
или проба поэзии прозой**

Редактор *?. ?. ???*

Корректор *О. Н. Картамышева*

Компьютерная верстка *И. В. Кондратьевой*

Подписано в печать 18.10.2010.

Формат 60x90/16. Гарнитура «Миниатюра». Усл. печ. л. 16,5. Уч.-изд. л. 17,0.

Печать офсетная. Бумага офсетная. Тираж ??? экз.

Заказ №

Издательство «ФОРУМ»

101990, Москва — Центр, Колпачный пер., д. 9а

Тел./факс: (495) 625-32-07, 625-52-43

E-mail: mail@forum-books.ru